

- **ТРЕВОГИ И ОПАСЕНИЯ** –
дискуссия по итогам израильских выборов
- **НАСЛЕДИЕ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ** –
размышления известного американского историка Р. Пайпса
- **ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ АНАТОЛИЯ ЯКОБСОНА** –
первая публикация дневников замечательного литературоведа
- **ДИТЯ АРБАТА** – **ЕВГЕНИЙ ЕВТУШЕНКО** –
эссе М. Каганской
- **ОКЛИК ИЗ ВЕЧНОСТИ** –
главы из нового романа Е. Бауха

62

22

МИШУСКИ И ПЕРУСАМИ



N° 62



ДВАДЦАТЬ ДВА

*Общественно-политический и литературный журнал
еврейской интеллигенции из СССР в Израиле
Издание общественно-культурного фонда
"МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ"
под покровительством комитета ученых
при общественном совете солидарности с евреями СССР*

Этот номер выпущен благодаря щедрой помощи г-на Фабиана Колкера (Балтимора, США), большого друга советского еврейства.

This issue was published thanks to the generous help of Mr. Fabian Kolker (Baltimore, USA), a great friend of the Soviet Jewry.

62

октябрь-декабрь 1988

СОДЕРЖАНИЕ

ЛИТЕРАТУРА

- 3 *ЕФРЕМ БАУХ*. Оклик (главы из романа)
56 *ИЛЬЯ ВОЙТОВЕЦКИЙ*. Стихи
62 *АЛЕКСАНДР ВЕРНИК*. Живой уголок (стихи)
65 *АННА ИСАКОВА (Гроссман)*. Житие Йоше Каца из Тельш (рассказ)
83 *РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ*. Избавление (рассказ)

ВОСПОМИНАНИЯ

- 87 *ИЗРАИЛЬ МИНЦ*. Тарусские встречи

ИЕРУСАЛИМСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

- 94 *НИНА ВОРОНЕЛЬ*. Тревоги и опасения
105 *АЛЕКСАНДР ЭТЕРМАН*. Религиозная альтернатива
116 *АЛЕКСАНДР ВОРОНЕЛЬ*. Возвращение к творческому иудаизму

РУССКИЙ ВОПРОС

- 124 *РИЧАРД ПАЙПС*. Наследие русской революции
134 *ДАВИД ТАКСЕР*. Поздняя осень империи

КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

- 144 *МАЙЯ КАГАНСКАЯ*. Дитя Арбата

ПОРТРЕТЫ В ПРОФИЛЬ

- 151 *АНАТОЛИЙ ЯКОБСОН*. Из дневников (к десятилетию смерти)

СУДЬБЫ ИДЕИ

- 186 *МИХАИЛ ВАРТБУРГ*. Века в хаосе, миры в столкновениях
(Окончание)

МАСТЕРСКАЯ

- 202 *МАРИЯ БРАГИНСКАЯ*. Мои рисунки

ЛЮДИ И КНИГИ

- 205 *МИХАИЛ ХЕЙФЕЦ*. Синтез Лифшица с Лосевым
209 *А. ПТАШКИН*. Заметки читателя
214 *РОЗА ЛЯСТ*. История и ассоциации

ПО ПОВОДУ...

- 217 ...статьи Бен-Баруха "Тень" (М. Аравна. Ш. Розенберг)
221 ...статьи М. Гробмана "Заметки на полях" (С. Рузер)

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

- 223 *Р. НУДЕЛЬМАН*. Еще раз о поэзии и правде

На последней странице обложки — Мария Брагинская, "Дворник"

В декабре пятидесятого наш класс был охвачен театральной лихорадкой. Учительница русского и литературы Вера Николаевна, которую мы между собой называли Верушкой, любили и боялись, не давала нам продыху. Немолодая, полная, она легко и чуть наискосок, быстрой походкой, неся свое грузное тело, прижав к боку классный журнал, роняя тонкие узкие полоски бумаги, на которых писала разработки тем по грамматике и литературе. Одновременно диктовала, следила за тем, как ученик разбирает у доски предложение, кому-то давала нагоняй, раззевавшемуся улыбкой — бросала: "Вайсман, что вы сияете как блин масляный", — и целую четверть смеялась, когда вызывала Валю Коваль, которая однажды на доске написала "ежь" вместо "еж": "Надо же, — говорила она, задыхаясь от смеха, — только подумать: ежь..." Однажды на ее уроке Юра Гудилин, высокий, молчаливый детина, почему-то именно мне протянул листок, на котором его рукой были начертаны строки:

Пришла зима-красавица,
снег покрыл поля,
и птицы улетели
в далекие края.
— Сам написал, — сказал Юра.

Ефрем Баух

ОКЛИК

(главы из романа)

Написал ли, списал ли, неважно: этот миг можно считать изначальным толчком, от которого пошла рушиться давно копившаяся во мне душевная энергия, рушиться обвалом силы через всю жизнь, чтоб никогда уже не остановиться, на ходу и все наново преображая весь рельеф моей жизни, такой до этого накопительно-растительной. Я шел вприпрыжку домой, бормоча под нос, не ощутив обжигающе-ледяного удара снежка, не заметив удивленно вытянувшихся лиц мальчишек. Не встретив отпора, они опустили руки. Изменения были налицо: я не был ими узнан. Дома я написал на бумаге первые свои строки:

Зима пришла издалека,
нахмуясь, плыли облака
над рыхлою землей...

Я с удивлением взирал на выстроившиеся столбиком строки: какое-то неведомое доселе ощущение, в котором душа напрямую связывалась с графикой написания, соотношением белого поля и черного текста, странным отсветом ложилось на все окружающие предметы и события. Я показал это Вере Николаевне. На следующий день она непререкаемо-строгим голосом, каким обычно объявляла, что будет контрольная, и мурашки бежали по нашим спинам, объявила: "Ребята, гордитесь, в нашем классе родился поэт". Я покраснел, как будто меня поймали с поличным, я готов был провалиться сквозь землю, а она продолжала, настаивая на том, что каждый должен попытаться что-либо сочинить, стихами ли, прозой, ибо до конца четверти мы собираемся выпустить рукописный альманах с витиеватым названием "Юные дарования", которое мгновенно отнесло нас с Андреем к виньеткам и титулам начала века, мы тут же стали прикидывать обложку и заголовки.

Сочинительская эпидемия сотрясала классное пространство. Заодно с альманахом мы решили с ходу сочинить юмористическую стенную газетенку: Андрей нарисовал шаржи на всех учеников, я сочинил стишки, а вместо редколлегии Андрей изобразил себя стоящим с кистью как с копьем, а меня рядом сидящим на скамеечке, болтающим ногами и играющим на мандолине. До начала занятий мы тайком вывесили газетенку на стене класса. Под оглушительный хохот ребят нас тихонько вызвали к новому директору Михаилу Марковичу Постникову, который в вежливой форме учинил нам полный разнос: как это мы посмели без разрешения вывесить газету. Вера Николаевна стала за нас

горой, но я четко ощутил, как легко оказаться погребенным под обвалом, который ты сам вызвал.

А почва продолжала колебаться под ногами: все твердое и установленное стало зыбким, просилось в слово и не давалось. Время как бы одновременно летело ужасающе быстро и тянулось невероятно медленно, перегруженное впечатлениями окружающего мира, который внезапно стал тягуче подробен, увязал на каждом облаке и камне, ракушками облеплял днище каждой мысли и ощущения. Конечно же, я подхватил первую детскую болезнь стихотворцев: эйфория легковесности, подобно ветру-пустогону, несла меня по поверхности, наградила меня, как насморком, манией причастности к цеху поэтов, я забарматывался, Александры Пушкин и Блок внезапно и сразу ко мне приблизились, их строки так просто складывались и были невероятно достигаемы, но с другой стороны сбивал с толку случай, когда однажды в полдень вызвал меня из дома какой-то недопроявленный Асмодей, знакомый по городу, представил мне маленькое похожее на краба существо с жестким черным волосом по имени Марат Зевин, сказав: послушай, как он с ходу сочиняет, фору даст тебе сто очков; и тот осыпал меня фейерверком строк, несущихся онегинским размером, бойко насаженными рифмами, из которых я лишь запомнил "девчатки — перчатки", извергался около получаса и... исчез. Больше я их обоих никогда не видел.

Иногда, очнувшись, как после угара, с тоскливой головной болью, я обнаруживал всю беспомощность и бездарность мной написанного, в то же время сознавая, что никуда и никогда уже не сбежать от этой каторги; в редкие мгновения с горько-сосущей резью "под ложечкой" я внезапно ощущал, как окружающая меня реальность из какого-то скрытого жерла обдавала меня лавиной тайных образов, сопоставлений, намеков, обдавала, как бы насмехаясь, бормоча загадочным языком скрытого, и я видел себя со стороны человеком, оказавшимся под водопадом: он стоит, зажмурясь, растопырив руки, раскрыв рот, пытаюсь уловить хотя бы капли этой движущейся, летящей, радужной, дымящейся, захватывающей дух реальности, но она все мимо, между камней, корней, пальцев — в песок, в почву.

И все же удивительно это чувство целостности, которую дано ощутить только вначале — вместе с печальной благодатью полнейшей неизвестности, когда еще не ищешь читателя, наполнен

саморазвитием, отрешенно и оторопело впиваешь окружающее, быть может, в первый и последний раз явственно чувствуя работу души. И никогда, как вначале, не ощущается недостижимость и гиблость затеянного, хотя с какой-то запыхавшейся самонадеянностью, больше похожей на детский испуг, продолжаешь демонстрировать панибратство с Лермонтовым и Блоком.

Спасение было в том, что я догадывался: истина — в неясных, двусмысленных, сталкивающихся вздохе, нерасчлененных томлениях и тягах. Эта догадка и была творчеством, пока еще лежащим по ту сторону моих усилий, хотя осень пятидесятого, зима, весна и лето пятьдесят первого качали меня поэтическим бредом, который бился за кромками стихов, как паводковые воды за бортом лодки. Сколько душевной энергии надо было потратить, чтобы понять простое: только вещи и события, захваченные тягой времени и пространства, объявляются и обнаруживаются в творчестве; неподвижные — за его пределами.

Не в е щ н о е , а в е щ е е несет в себе творческий дух.

И глаз оттачивался, жадно, даже хищно, как неожиданную тайну обнаруживая, что сады и леса, подобно свайным постройкам, соединяют землю и небо, что снег, фосфоресцирующий под луной, плавно и плавно сливается казалась бы несоединимые, колюче и щетинисто восстающие против покушения на их независимость предметы, пейзажи и характеры, что все в этом мире ползуче и цепко вяжется, как арбузные петли по бахче, за которыми плетешься и петляешь, как слепец за поводырем, и внезапно натыкаешься на арбуз, огромный, как планета, который вырос, всасывая по этим тонким петлям всю сладость земли, воды и солнца.

А пока, стоит лишь высунуть нос за порог, как на тебя всем своим злорадством, сыростью и слякотью набрасывается декабрь пятидесятого.

Сытое чавканье грязи сопровождает нас в ранних промозглых сумерках в школу на репетицию постановки по поэме Некрасова "Декабристки".

Я бегу из дому не только потому, что меня влечет к себе атмосфера репетиций с ее неожиданными и такими живыми нелепостями вроде выстрела, который должен изобразить ударом палки о стол Яшка Рассолов, ухитряющийся даже это делать не вовремя и вызывающий гусиное шипение Веры Николаевны, суфлирующей из зала, завываний Феликса Дворникова, имити-

рующего сибирскую вьюгу, от которых все за сценой надрывают животики, появления наших девушек в роли декабристок с вуалями на манер "Незнакомки" Крамского, набрасывающими на них романтическую дымку, и все, не отдавая себе отчета почему, на миг замолкают, — я бегу из дому, ибо с некоторых пор он стал проходным двором.

Мама, работающая в банке, сдала девицам и женщинам, которые заочно учатся в финтехникуме, на период зимней сессии столовую, а мы втроем ютимся в спальне, и все в доме настужь, проточным порядком, как в потоп. Все наши вещи, хранящие интимность, внезапно оказались как на улице, изменнически ластятся к чужим рукам, передают на ходу. Один буфет хранит верность и надежду на восстановление дома, как островок обетованной земли, никакие лапанья и толчки проходящих чужаков не делают его более тусклым, только мне открывает он свою память, скалясь пастями львов на финансисток, которые жалуются, что ночью пугаются этого оскала, когда полусонные, шатаясь, отправляются на двор, и мороз прохватывает их со всех сторон. Сизые с декабрьской слякоти финансистки вваливаются гурьбой в ранние сумерки, сбрасывают шматье, ходят полуголыми, жарят, шкварят и без конца говорят про мужиков, и дом становится подобен ковчегу, где вовсе не каждой твари по паре, а наоборот, все беспарные, исходят тоской, глушат себя учебой; флюиды греха и вожделения раскачивают его и так осевшие искривленные саманные стены, а я лежу в спальне, то ли уроки делаю, то ли стихи сочиняю, но слышу каждое их слово, как бы среди них, в курсе всех их дел, особенно последнего, весьма неприятного: к одной из них приезжал муж, занавесили им угол простыней, да все зубоскалили, а тут незадача, забеременела она не ко времени, ходит с черными кругами под глазами вдобавок к сизому лицу, все ее жалеют и сообщая травят еще только возникшее существо: что-то она там пьет, то ли хинин, то ли какую-то настойку от знахарки, ходит в парную, пока не помогает, она все плачет. Но стоит ей уйти, как остальные тотчас принимаются промывать ей косточки, и мама, как лунатик, проходит между ними, тихо переругивается с бабкой в спальне, а я ухитряюсь среди всего этого бедлама, закатив глаза к потолку, сочинять нечто возвышенное, абсолютно отключенное от всего, что вокруг...

В двенадцатом часу, после репетиции, пробираюсь под вялые шутки засыпающих финансисток о шатающемся полуночнике и

приглушенный плач беременной в спальню, в кучьей, но свой уголок существования.

Спектакль состоится в новогодний вечер, возбужденные успехом, мы далеко полночь шатаемся по городу, оравой спускаемся к реке, над смерзшейся поверхностью которой небо цельным куском льда с песком Млечного, и мы едим снег, чтобы остудить страсти, он безвкусен, пресен, тает, охлаждая рот, мороз обжигающ и на вкус, как мерзлое железо, к которому прикасаешься языком.

В конце января финансисток выметает, как и не было, но дом продолжает быть ковчегом: теперь в нем селятся пары. Мы переходим в столовую, а спальню занимает Хона, младшая сестра нашей соседки Сони, которой мы продали половину дома. Хона вышла замуж за высокого блондина, русского, старшину-сверхсрочника Сашу Ломшакова. Хона, черноволосая, смазливая, с нежной и свежей кожей лица, совсем не похожа на Соню, которая в молодости явно была красавицей, но зато их роднит то, что обе страшные злюки. Прижатые дверью, из спальни то и дело доносятся сдавленные звуки семейных скандалов, и веселый добродушный Саша, возвращающийся с работы слегка под хмельком, выходит из спальни во двор покурить совершенно обескураженный с потемневшим лицом. Когда же схлестываются обе сестрички, вянут уши и гнутся деревья.

— Мышимейдэстэ, зол дайн ман ваксн ви а цыбалэ* , — кричит Соня к удовольствию торчащих на заборах, ничего не понимающих, но умирающих от любопытства соседей. Затем наступает период примирения, обе сидят в обнимку и плачут: опять та же история. Хона беременна и не хочет иметь ребенка, потому что вообще собирается развестись. Снова в ходу хинин, знахарские настойки, баня. Совсем плохо приходится следующему поколению, рвущемуся в мир: не дают ему ходу, травят на корню.

А за домом уже стоит сплошной грохот ледохода, пальба и треск, и я убегаю от угарного шума скандалов и варева на берег, в грохочущее безлюдье, пристально вглядываюсь в белый хаос: льдины в слепой ярости налезают одну на другую, топят друг друга, грызут, рвутся по течению — куда, зачем? К чему

* *Мышимед (идиш) — выкрест. Мышимейдэстэ — выкрест женского рода. "Зол дайн ман ваксн ви а цыбалэ" (идиш) — чтобы муж твой рос как цыбуля (головой в землю).*

эта бесцельность остервенения и гибельных страстей? Из единственного желания быстрее проскочить, чтоб раствориться, исчезнуть?

Мир полон зеркалами вод. Облака и люди, кусты и лакающие воду собаки отражены в этих зеркалах. Это как бы образы, снящиеся водам, замерзшим или забвенно несомым наклоном земной коры. И проносятся эти воды по течению, словно бы зажмурив глаза, долго неся в памяти облик облака, собаки или человека, отрещенно вглядывающегося в глубины.

С наступлением сумерек водам снится постоянный сон — одни и те же звезды, уносимые течением и не сдвигающиеся с места.

Сны тоже зеркала жизни: кривые или наиболее верные?

В мае Хона окончательно разругалась с мужем, старшиной Сашей, после первомайской гулянки, на которую он пригласил нескольких офицеров, и те до такой степени перепились, что наш малый двор оказался им тесен: они хотели только разнести никогда не отпирившиеся, заросшие кустами ворота и с великой неохотой уступили уговорам Хоны не делать этого; затем один из них, и так едва державшийся на ногах, потерял и вовсе равновесие и, пытаясь найти опору, схватился за жестяную трубу нашей слепленной из самана летней плиты, от чего она мгновенно развалилась и на некоторое время погребла под собой вконец обалдевшего офицера. Никакие объяснения Саши, что, мол, такое бывает, когда гуляют, не помогло. Они съехали от нас в пылу ругани и требований о разводе. Я так и не сумел понять, вытравила Хона будущего жителя мира или решила произвести на свет. Больше я их не видел.

Но тут же в дом въехала другая пара и — кто бы мог подумать — женскую ее половину представляла та самая Зойка, старшая сестра Фриды Ицкович, которую я когда-то пытался подтянуть по математике. Где она подцепила парня, до того приличного, что я так и не запомнил его имени, понять было невозможно.

Во мне всегда жил образ библейской красавицы — Рахели или Шуламит. Но первой красивой еврейкой с библейским отсветом в чертах оказалась Зойка, таскавшаяся с работягами и солдатами. Она страдала астмой, но была полна жизни, и стоило мужу отлучиться, начиная поддразнивать меня, задирая юбку выше колена якобы для того, чтобы поправить подвязку, хрипло смеялась, и в этом хрипе были особый соблазн и греховность.

Мы втроем, с мамой и бабушкой, опять перекочевали в спа-

ленку, а им дали столовую, куда они первым делом заволокли кровать, соперничающую по величине и, вероятно, значимости в их глазах — с буфетом. Библейские львы напрасно скалились: наследницу библейской Лилит* они не пугали, не такое видела.

Мне было семнадцать с половиной, я был глуп и наивен в этих делах, но, вероятно, уже обретался в эротических фантазиях старящихся любительниц молодых отроков, и они из каких-то тайных логов слали намеки и сигналы через жирного с прической под Бальзака парикмахера Шурку, который время от времени стриг меня, сопя мне в лицо, давя своим до мерзости мягким и огромным животом: намеки были столь сальны и порочны, что вызывали перехват дыхания своим соблазном и отвратительностью...

Зойка с мужем были недавно обвенчавшейся парой и весьма рано ложились в свою необъятную кровать, бабушка ничего не слышала, мама, вероятно, делала вид, что ничего не слышит, а я в эти часы уходил из дому шататься по ночному городу с ребятами. Когда же я возвращался, в часу двенадцатом, молодая пара только начинала свою обычную жизнь, зажигала свет, готовила ужин под храп бабушки, доносящийся из спальни, тут они меня захватывали и бросались закармливать, и Зойка, не стесняясь мужа, начинала со мной заигрывать, она двигалась невероятно быстро, хрипло дыша, и голос ее был как из надтреснутой амфоры, ее словно бы несло в ничто, на истирание, в порошок, в разнос, и даже имя Лилит было для нее слишком романтическим.

С утра мы готовились к экзаменам — то у Яшки, то у Андрея, и стоило мне на миг оторваться от учебника, как передо мной в пыли, пронизанной солнечными нитями, всплывала Зойка, и все вместе тайны поэзии, природы и пола в заброшенной, как этой пылью, скуке жизни соединялись в ней. В полдень я с трепетом и страхом шел домой обедать, зная, что она в этот час дома, сама, без мужа, а бабка ей не помеха, я был на грани падения, и она упорно приближала его, чтобы с торжеством доказать правоту своего понимания жизни, вовлечь в воронку срама любого, попавшегося на пути, тем более наивного подростка, она заводила разговоры только об этом, хрипло смеясь и блестя греховно глазами, красными от возбуждения и бессонницы. И каждый раз в критический момент кто-то появлялся: Андрей, мама, Яшка.

* *Лилит — ночная, царица ведьм.*

Наплывала ночь запахом цветов и прохлады, мы шли к реке, освещенные лунным светом. Музыка белым привидением плыла с дальней танцевальной площадки над верхушками погруженных в сон деревьев, луна латунно белела, бросая наискось по реке серебряную дорожку, без конца промываемую течением...

Распаренно дышала танцевальная площадка.

Как лунатики, торчали подростки, поглядывая сквозь щели забора на шаркающие под музыку пары. Где-то в углу площадки, клубясь фигурами и платьями, назревала драка. Скамейки в аллеях еще были пусты и заброшенно пылились в лунном свете...

Это было удивительное лето, последнее в прекрасной и девственной юности перед выходом в мир, чуткое, полное сонной и пульсирующей чистоты и неведенья, и в парке, вокруг танцевальной площадки, пахло гвоздикой, и каменный Сталин был чужим и нестрашным в этом живом, заброшенном, джунглево спутанном мире парка и юности, и черноволосая с завитками на лбу Рая Салмина, точно пиковая дама, сошедшая с игровой карты, и круглолицая русская красавица Клава Маслова привлекали к себе взгляды всей площадки, и вокруг них завихрялись волны мужского обожания и ярости, разряжающейся в драках.

Ночь стояла вся перекошенная в завтра, полная тревоги и незнания: что там ожидает; кусты вдоль аллей топорщились звериной настороженностью и духотой, и столько было вокруг гарантий, что там, в завтра, скуки не будет, так дышало женской стихией; в эту ночь Сашка Ханцыс, который учился в финтехникуме и вместе со мной играл в струнном оркестре Дома пионеров, мельком познакомил меня со своей однокурсницей Валею Зюзиной, которую, конечно же дразнили, окликав Назюзюкиной. Мы сидели втроем на одной из лунных скамеек, Сашка ныл и канючил, обиженно надувал губы, сюсюкал, требуя, чтобы она сказала ему, нравится он ей или нет, она согласно кивала головой, раскачивала удивительными по форме длинными ногами танцорши народного ансамбля при городском Доме культуры, скашивая на меня лилово-горячие белки глаз, как яшкина кобылица.

Как-то само собой случилось, что Сашка исчез, и мы остались вдвоем. Было полночь, стояла тишина и шорох листвы, чьи-то фонарики светящимися шариками шарили в зарослях, как некие посланцы будущего, беря на себя всю тайну, свежесть и аромат этой ночи.

— Фонарики-ярики, — засмеялась Валя, у нее был низкий гор-

танный голос. Мы почти не разговаривали, и тем не менее с момента, когда растворился Сашка и мы оба не заметили его исчезновения, прошло несколько часов, мы ходили по улицам, присаживались на скамейки, опять ходили, и ее тонкое летучее тело, вызывающее во мне мгновенный прилив слабости в кончиках пальцев рук и ног, казалось, ревниво и бесшумно втягивало в свои темные ночные водовороты и в каждую следующую секунду отчаянно и горячо порывалось ко мне в слабых бликах поздней луны, уже цепляющейся за верхушки деревьев, и она поворачивала ко мне лицо движением плывущей кролем, чтобы набрать воздуха, обдать дикостью и жаром горячо скошенных цыганских глаз, слегка удлинненных, как у египтянок, под почти сросшимися бровями, пересекающих удлиненное мягким клином смуглое лицо с неожиданно чувственными губами, изогнуто набухшими, жадно приоткрытыми для глотка воздуха, для тайного зова и вызова, скрытых в тихо засасывающих водах этой так стремительно протекающей ночи; и каждый раз полыхнув на меня поворотом лица, она как бы одновременно взывала о помощи и ускользала в темном потоке, и брызги темноты светящимися росинками пота дымилась по закраинам ее губ; иногда мы прикасались друг к другу руками, слегка, мимолетно, но это было ни к чему, ибо явно ощущалось, что какая-то неприкаянно слонявшаяся в ночи ведьминско-ясновидческая сила внезапно нашла благодатное пристанище в нас двоих и тут уж расшалилась в полную силу, показав всю фальшь и нелепость слов и жестов, ибо, не касаясь друг друга, мы ощущали один другого взглядом, осязанием, обонянием, дыханием, и этого занятия могло бы нам с лихвой хватить до скончания дней; мы были два ночных существа, забвенно несомых течением и не думающих, на какой берег их выбросит; и когда в третьем часу ночи мы очнулись у запертой двери общежития финтехникума, и вахтерша, словно бы повинувшись нашему магнетизму, беззвучно повернула ключ в замке, а я, непроизвольно наклонившись к Вале, коснулся губами ее уха, опять же, как набирают в легкие воздух прозапас, готовясь к глубокому нырку, все это было само собой разумеющимся, и я не шел домой, а плыл, как плывут на спине, лишь краешком глаза отмечая размыто-знакомые ориентиры, чтоб не сбиться с пути, благо супружеская пара включила иллюминацию, готовясь лишь ужинать, так что Зойка тут же отперла мне дверь, с удивлением и даже строгостью спросив:

— Ты где шатался? Постой, да ты случаем не пьян?..

Но я приложил палец к губам, лунатически улыбаясь, как бы беря ее в сообщницы, и, уже по пути понимая, какую я совершил ошибку, внушив ей мысль о сопернице, проскользнул в спальню, где мама с бабушкой мирно досматривали сны.

Отоспавшись, я только через день пошел искать Валу в общежитие, случайно наткнулся на нее у рынка и не узнал: это было другое существо, которое спало на ходу, натываясь на рыночные лотки, мельком покупая, словно внезапно их обнаруживая, яблоки, торопясь мимо, хотя спешить ей было некуда, только губы ее были так же оттопырены, жадно приоткрыты, и она оторопело смотрела на меня, как будто все еще пребывала в тех ночных водах, а я, весь какой-то дневной, незнакомый, суетился рядом.

Я шел за ней вслед, как потерянный, я вспоминал ее, ночную, и мне рисовался облик Клеопатры из пушкинских "Египетских ночей", которая ночью целиком растворяется в любви и сама в это верит, а утром обезглавливает любовников; только эта, спотыкающаяся о прохожих девица совершает это современным способом: просто не узнает своих ночных спутников.

Все было не так. Просто таков был ее характер, выражение ее жизненного присутствия, и только намного позднее я понял, какое невероятное благо несла в мою жизнь эта встреча. Мы были одногодки, но она уже кончала финтехникум и к осени должна была уехать по распределению. Не было ночи в том удивительном июле пятьдесят первого, чтоб мы не встретились, не было темы, которую мы бы не оговорили, но целуясь, мы до боли сжимали друг друга, как будто в следующий миг должны были расстаться навсегда, мы были как двое, потерпевших кораблекрушение, которые из последних сил держатся друг за друга и за предмет, позволяющий быть на плаву, будь то скамейка, луг или ствол дерева, но наперед знающие, что каждая следующая секунда может оказаться роковой, кто-то ослабеет и понесут нас, бесшумно заверчивая и топя, темные ночные воды, понесут в разные стороны, заливая с головой, и никогда уже нам не встретиться.

Никогда меня так не лихорадило, как в том июле, никогда так понятия не зависели от мгновенных смен настроения и не были так взаимоисключающи, и я бормотал ей Лермонтова и Блока, и строки были, как клочки памяти, оставляемые по ночным тропинкам, кустарникам и закоулкам жизни, чтоб когда-

нибудь найти дорогу назад, тут же, вслед за нами, смываемую ревниво крадущимся по нашим следам темным беспамятством времени, и в строках этих таилась вся надежда и тоска будущего, и ком подкатывал к горлу, когда я бормотал: "Ветер принес издалека песни весенней нарек", но мне казалось, что я роняю стихи к месту и не месту.

Зоя была не в духе. Завидев меня, хлопала дверьми, норовила что-то опрокинуть, время от времени, словно неожиданно со мной столкнувшись, говорила:

— С гойкой шляешься?

Мама тоже пыталась меня журить, что слишком поздно возвращаюсь домой, а я глядел на всех на них с улыбкой, кивал головой, соглашаясь, как блаженный, и они понимали, что не с кем говорить. После Вали Зойка выглядела как бы запорошенной летней пылью, краем уха я слышал, что она уже с мужем разводится после месяца совместной жизни: кто-то успел ему втолковать, что за "мецию"* он взял. Опять, как и все до них, они как-то незаметно исчезли из нашего дома вместе с необъятной своей кроватью, и после я изредка встречал ее где-то на обочинах моих шатаний, все также куда-то торопящуюся, хрипло смеющуюся с очередным недопроявленным существом мужского пола, но она словно бы скукожилась, усохла, и я все старался представить себе ее быт, "промысловую" кровать, но в том-то и дело, что ко всему она была еще и безбытна, и вся жизнь ее совершалась походя, и когда лет через пять я встретил ее младшую сестру Фриду, уже замужнюю, и справился о Зое, та пыталась как-то обойти тему, что-то бормотала в ответ, и было понятно, что Зоя в общем жива, но как бы и не существует в нормальном мире, как и соседка наша, дочь сапожника Яшки Софронова, прозванная бабушкой "Валька-махлерка": это были существа, подобные эфемерам, которые оживали из куколок, возбуждаясь лишь в атмосфере мужской грубости, пьянства и сквернословия.

И вот внезапно возникла Валя, само существование которой, замкнуто независимое, снисходительное к окружению, с благоговением принимавшему его за высокомерность, было энергией, порывом, вызовом картонной скучности и скученности домов, клумб и снующих между всем этим статистов: это слабое существо опрокидывало своим естеством всю стену предстоящего ей

* *Меция (иврит, идиш) : находка, дешевка.*

мира, который ей надо было пересечь, как просечь. Значит, не все еще потеряно, — шевелилось в подсознании, — если в этом стискивающем намордниками, наузdnиками, наручниками, глушителями мире могло, неожиданно заставая всех врасплох, двигаться это существо неведомой породы, и я... я знал его, я даже что-то бормотал обо всем этом, я даже осмеливался читать при ней стихи, а на лице ее играла нездешняя улыбка, отчуждение, которое в минуты слепой самоуверенности я принимал за ревность к безумию моей души, захлебывающейся, как мне казалось, поэтическим бредом; но, очнувшись, я с тоской убеждался, что все это лишь моя выдумка, и особенно то, что, обнимаясь, мы были подобны двум, потерпевшим кораблекрушение и боящимся потерять друг друга: целуясь со мной, обдавая меня ароматом и дыханием своей жизни, она была сама по себе, и так же исчезла из видимости моей жизни, как и возникла, окончив финтехникум (глупее учебного заведения для нее никто бы и придумать не мог), и я даже не шевельнулся, как парализованная магнетическим взглядом мушка, чтобы узнать, куда же она уехала, да и вообще откуда она. Кажется, была из Аккермана или Измаила. Вероятно, так и полагалось: завершился еще один урок жизни, и финалом его должна была быть боль, разрыв, тоска, которые в семнадцать лет обладают горькой прелестью, но и по сей день, когда я вспоминаю Валу, лицо ее, повернутое ко мне движением плывущей кролем, странное ощущение не покидает меня: а была ли она вообще в моей жизни, или это лишь порождение моего воображения и желания?..

Мы попрощались с ней ночью. Был сухой ветер, неуютно шумели акации, с пылью летели первые увядшие листья. Она говорила, что приедет через неделю забрать все вещи, тогда уже и даст точный адрес.

Больше мы с ней никогда не встретились.

Накатила осень, вместе с ней десятый последний класс, за ним — неизвестность. Шли долгие нудные дожди, за пеленой которых исчезла Валя, никого мне больше видеть не хотелось, я очень жалел себя, я упивался этой жалостью, первым глубоким разочарованием, и не подозревая, как скоро жизнь обрушится на меня таким обвалом, что чуть и вовсе не погребет, и долго, с трудом выкарабкиваясь из-под ее равнодушных глыб, я буду вспоминать горечь разочарования осени пятьдесят первого, как наисчастливейшее время созревания души, и время это будет казаться мне

далеким, повитым ностальгической дымкой, — а ведь всего-то прошло девять-десять месяцев.

В редко выпадающий среди дождей солнечный день конца сентября я, почти крадучись, чтоб ни единая душа, знакомая ли незнакомая, не нарушила, не расплескала бы моего одиночества, столь лелеемого, спустился к реке, обмелевшей, пустынной, качался на водах лицом к небу, лежа на песке, ловил последние лучи готовящегося к зимней спячке солнца.

Внезапно, как блудного сына (оказывается, он может возвращаться и не один раз), потянуло меня к бабушкиному Танаху, к его пожелтевшим от времени листам под твердой, пропахшей прелью обложкой с тисненным магендавидом. Помню, раскрыл его при свете керосиновой лампы (в те годы подача электричества часто прерывалась) случайно на "Мишлей"* и едва начав складывать буквы, еще не вникая в смысл, остро ощутил сладость собственного разочарования жизнью; но уже в следующий миг смысл читаемого потряс меня, как будто я читал про себя, как будто следил за собой, притаившись за рамой окна или сквозь щели ставен: "...ки бэхалон бэйти бэад ашнаби нишкафти: ваэрэ ваптаим авина вэбаним наар хасар-лев: овер башук эцел пина вэдерех бейта ицад...

...Ки зйн аиш бэвейто алах бэдерех мэрахок: црор акесеф лаках бэядо лэйом акесэ яво вейто..."**

Я вышел во двор, осенняя ночь мгновенно прохватила холодом, низко и тревожно багровел поздний и полный месяц, и за течением строк, написанных почти две тысячи лет назад, мерещились женские лица, и как я ни старался, не мог припомнить ни одной черты Вали, они были дымчаты и неуловимы, но Зойкино лицо было отчетливо, забубенно, захватывающе безбытно, и в ушах не замолкали слова:

"...Дархей шеол бейта йордот эл-хадрей-мавэт..."***

Скука общешкольного комсомольского собрания грозила вы-

* "Мишлей" (иврит) : "Притчи Соломоновы".

** (иврит) : ...Ибо смотрел я в окно дома моего, сквозь решетку мою: и увидел среди неопытных, заметил среди молодых людей юношу, лишенного тонкости сердца: переходившего базар около угла ее, и путь его был к дому ее.

*** "...Дом ее — пути в преисподнюю, нисходящие во внутренние жилища смерти... (Гл. 7, стих 27)

шибить стекла, подобно карбиду, который взрывал чернильницы в шестом классе, наполняя вонью помещение, и я бежал домой, чтобы снова читать "Мишлей". Полдень был полон усталого солнца. Я плавал в мутных быстро бегущих водах Днестра, нырял, пытаюсь рассмотреть что-либо в толще вод, найти подтверждение не дающим покоя словам:

"...Ка маим апоним лапанам — кен лэв-аадам лаадам..."*

Речь шла о водах, зеркально-прозрачных, эти же были темны, охватывали влекущей, засасывающей стихией, нисходящей во внутренние жилища смерти, течением, несущимся к Черному морю со скоростью более четырех километров в час, воды были ласковы и коварны, как женщина, заманивающая в свои сети и выбрасывающая на берег бездыханным, на тот самый берег заколдованный, который мерещился Блоку за вуалью "незнакомки", женщина была неуправляемой стихией, коварным вызовом Богу с того момента, как съела яблоко в раю, сбежать от нее невозможно, вот почему, вероятно, хотя бы отделяют ее барьером в синагоге, как плотиной, чтобы она снова не выкинула что-нибудь и не унизила Вашего присутствия в миг, когда мужчина в молитве сливается с ним. Хотя уже в следующий миг, стоит ему покинуть это духовное поле тяготения, как плотина рушится, и несут его, заверчивая, темные воды.

Никогда после я не был столько один на один с несущими меня водами, и я выходил ниже по течению, и кожа на кончиках пальцев была сморщенной и размякшей от долгого пребывания во влаге, как у утопленника, и призрак легкой засасывающей смерти реял вокруг, и все корневое, к чему я прикасался в эти годы, вело к гибели: осознание собственного рабства — к тюрьме и даже расстрелу прикосновением ствола к затылку; наивность и неведение юности, истолкованные как хитрость и коварство, — туда же; поэзия вообще была похожа на хождение по минному полю, ну а любовь, влечение пола к полу вело к прямому убийству: зародившуюся будущую жизнь пытались извести на корню снадобьями и вязальными спицами.

Я смотрел с пустынного берега в даль и передо мной долго разворачивался пышный огненно-пурпурный закат, похожий одновременно на церемониальный вход через горные высоты в завтра и

* "...Как в воде лицо к лицу, так сердце человека — к человеку..." (Гл. 27, стих 19)

пожар последней катастрофы. Поеживаясь, я думал о том, что ждет меня впереди, словно бы стоял перед выбором: коронаванием или гибелью.

И опять вокруг меня, как ласточки, низко и косо срезающие небо, вились слова Соломоновой мудрости, и в преддверии пятьдесят второго мне мерещился я сам, глупым и голодным, Зойка, соблазняющая весь мир хриплым своим смехом, и вождь, имя которого запрещено было называть в соединении с неповедными мыслями:

"...Тахат шалаш рагза эрец вэ тахат арба ло тухал сээт: тахат-эвед ки имлох вэ навал ки исба-লেখем: тахат снуа ки тиваэл..."*

Глава четвертая

...Поздняя осень пятьдесят первого года усыпляла прорехами полуденной теплыни, грустью обмелевшей реки. Это был как бы запоздалый, но тем более дорогой подарок уходящего года перед наступлением зимней стужи.

Мы учили астрономию. После полудня небо было бездонно-пустым и солнечно мягким. Через низкое, почти вровень с землей, окно андреевой квартиры мы вдвоем выбирались на дремуче заросшую лужайку, обрывающуюся к Днестру. Андрей настраивал свой невзрачный телескопик, привезенный им еще из Франции, сняв очки, близоруко щурясь.

Среди зачумевшего в послеполуденном сне городка, под совершенно пустым небом, я прикинул к телескопику, ошеломленный и притихший: в дневной глубине светлосерой бездны словно бы приклеенный к стеклу объектива, как в детских калейдоскопах, висел круглой ртутной каплей — шарик, и вокруг него, почти вплотную, вертелись четыре меньших шарика, и все это было похоже на запущенный кем-то волчок, оловянную юлу. Казалось, кто-то на невидимой нити подвесил эту игрушку, и она вертится неустанно, как вечный двигатель. Это был Юпитер с четырьмя спутниками.

Я забросил все уроки, благо мы повторяли пройденное в девятом. Я запоздало выяснял свои отношения с небом. Это мне вдруг

* "Под тремя сердится земля, четырех не может носить: раба, когда он делается царем; глупого, когда он досыта ест хлеб; позорную женщину, когда она выходит замуж..." ("Мишлей", гл. 30, стихи 21, 22-23)

показалось самым важным в этот последний школьный год, быть может, потому, что абсолютный мрак неизвестности, стоящий за ним, невозможно было разглядеть даже в телескоп, и неожиданное знание Вселенной давало какую-то несомненно безумную и все же — надежду.

Вообще абсолютный мрак я особенно остро ощущал в яркий солнечный день, в субботу и воскресенье почти не выходя из дома, ничем не занимаясь, с утра до вечера бездумно валяясь в постели, вяло что-то сочиняя, а чаще всего просто следя за движением солнца, которое утром появлялось в спальне бабушки, перебиралось на цыпочках по стене и, сгорая от любопытства, пыталось заглянуть в глубь комнаты, пока не исчезало за коньком крыши, и я представлял себе этот всепожирающий сгусток пламени, светом которого озарена каждая песчинка, отбрасывающая тень, как мелкие камешки на берегу Днестра, в час заката отбрасывающие непомерно длинные косые тени, но стоит этому сгустку пламени исчезнуть, и остается мрак, и значит мрак изначален, и это последняя и наиголеннейшая правда.

Декабрь в тот год был особенно сырым и в то же время морозным. Наледь вокруг водопроводной колонки на улице была огромной и многослойной, как наплывший со свечи стеарин; набирая воду в звенящие цинком на холоду ведра, люди падали, чертыхались, но никто и не пытался ломом расколоть лед: погруженные в зимнюю спячку, они даже и не доходили до этой мысли. От сырости в столовой отвалился слой известки, обнажив какие-то старые потемневшие пласти, трафареты, впитавшие вот уже скоро сто лет жизни нашей семьи, и бабушка вспоминала, глядя на трафарет, как на карту треф, что его наводили в тот год, когда у одной из бабушкиных сестер умер ребенок, и его мертвой ручонкой водили перед глазами слепой тети: считалось, что это может вернуть ей зрение.

На новый год в школьном зале устроили скудный бал, развесили цветные ленты, трещала и скрипела радиола, шаркая, танцевали одни девочки, мальчики шпалерой жались по стенам, Яшка Рассолов из другого конца зала строил мне дикие гримасы, наконец подвел незнакомую девушку, светлые волосы которой были туго оттянуты к затылку в завернутую клубком косу и вздернутый носик с обезоруживающей наивностью светился под серыми, напористо доверчивыми глазами. Ступала она по-кошачьи мяг-

ко, но крепко, и вся исходила какой-то молочной свежестью. Протянула мне руку ладонью кверху: "Маша Радукан".

Оказывается, она тоже была из финтехникума, на два курса младше Вали Зюзиной, которую все с младших курсов боготворили, и отсвет этого лег и на меня: я был для них избранником Вали, в каком-то смысле личность мифическая, и Маша, чей дом соседствовал с домом яшкиного дедушки в плавнях, давно изводила Яшку просьбами познакомить ее со мной. Кажется, я покраснел до корней волос и поспешил окликнуть проходящего мимо Гуревича, учителя истории в шестых-седьмых классах, с которым у нас была странная дружба: началась она с того, что он, узнав о моем увлечении поэзией, заговорил о ней на перемене, потом я пошел его провожать.

Гуревич был холост, жил по бывшей Соборной, ныне улица Сталина, знал уйму стихов наизусть, читал их не то чтобы выразительно, но с большой отдачей. Носил неизменную кубанку с синим верхом и шинель. Низкорослый, желтолицый с печальными бархатно-черными глазами, он просто стервенел, когда начинал говорить о журналистике, хотя сам был внештатным корреспондентом местной газеты "Победа", редакция которой помещалась в полуподвале на углу улиц Софиевской, ныне Советской, и Николаевской, ныне Коммунистической. Проходя мимо нее, я задерживал дыхание, как проходят мимо храма, он же с места в карьер начинал пугать меня: "Журналистика, тьфу ты. Вторая древнейшая профессия. Первая знаешь что? Журналистика, вьюнош, это язва желудка от неправильного питания и постоянного страха: после всего дерьма, что выплеснул на бумагу, кусок хлеба в горло не лезет, разве водка да вино. Они же сплошь алкаши. Язву наживешь, а денег ни копейки: воробы-то они стреляные, да в основном стреляют трешки и пятерки у других. По статистике журналисты меньше всех живут и больше всех боятся, поверь мне, всю жизнь серое мозговое вещество в дерьмо переводить... Журналистика — духовная пища? — спрашивал он сам себя и сам себе отвечал. — Сказать как на духу? Да только порча воздуха... И не от несварения желудка. Это называется медвежья болезнь: от страха".

— Но вы же пишете, — робко говорил я.

— Э... что я... А что я? Тоже болезнь. От одиночества. Куда деваться...

И вправду можно сойти с ума, когда думаешь одно, а пишешь

другое. Это какая-то все разлагающая болезнь, от которой пытаются лечиться вином и водкой. И я убегаю на свидание с Машей, и она заботливо вытирает с моего лица копоть редакционной и типографской кочегарок, а мартовский снег, дымясь, испаряется под закатным солнцем, весенние сумерки стоят недвижимым жемчужно-молочным туманом, точно день и ночь пытаются одолеть друг друга, но каждый остается при своих интересах, и это сводит с ума котов: в полдень они орут, как в полночь.

Март вышибает серные пробки из слуховых каналов пространства: все вокруг становится гулким, полным эха, доводящего до головокружения.

В марте мы прощаемся с детством и отрочеством: с каким-то остервенением играем в школьном дворе в ляngu вместе с малявками, в альчики (кости и хрящи приносят первоклашки). Ковыряюсь в старом барахле у нас дома: нахожу мамину муфту, которую поела моль, подбитые железом деревянные коньки, на которых мы катались после войны, прокатываюсь по склону, к реке, вышвыриваю их далеко, с обрыва.

Волоку с маминой работы мешок с негашеной известью; чуть подсохнет, бабушка разведет ее, будем белить и штукатурить прошлое, отваливающееся от стен. Волоку мешок, бормочу про себя, сочиняю, но так и запоминаю на многие годы строки, которые не записываю:

Здесь прошлое с треском и хрустом грызут,
И зуб о зуб точит их творческий зуд.
Все пишут. Строчат. На машинках стучат,
Не зная минуты на роздых.
Над ними стоит спирто-водочный чад
И пахнет бездарностью воздух...

После уроков наш военрук Сем. Сем. Хаит ведет нас, десятиклассников, строем в военкомат, на комиссию. Длинный, казенный, с обитыми жестью дверьми коридор военкомата по улице Владимирской, недалеко от маминого банка, производит еще более гнетущее впечатление, чем судебное помещение. Стриженные под машинку призывники выглядят забитыми, нагло-беспомощными, слоняются по двору и потихоньку напиваются дешевым вином, которое им кто-то тайком приносит.

Скопом раздеваемся догола в каком-то огромном, похожем

то ли на баню, то ли на тюремную камеру помещения, инстинктивно прикрывая ладонями низ живота.

— Следующий!

Цепочкой по одному входим в следующую камеру, где сплошь сестрички и врачихи в белых халатах деловито, с демонстративным равнодушием каждого осматривают, прослушивают, обстукивают, измеряют, и тоскливо-плотная атмосфера стыда в сотни атмосфер распирает стены и спирает дыхание.

Так же по одному нас вводят в следующую камеру, где за длинным покрытым красным сукном столом заседает военная комиссия — вся в побрякушках орденов, а ты стоишь перед ней абсолютно голый и беспомощный, как только родившийся младенец. Сидящий посередине, стриженный бобриком бесшей полковник — очевидно, сам военком — долго и оценивающе оглядывает тебя, барабаня пальцами по столу в оглушительно-почтительной тишине, и это кажется барабанным боем за миг, когда ты должен взойти на эшафот: хотя, в общем, думаю я про себя, успокойся, какая это все мелодраматическая натяжка: стук пальцев — эшафот, все нынче намного прозаичнее: совершается в тишине сибирских просторов проще и безумней.

И в этот миг, содрогнувшись, замечаю глаза Колточихина, члена горисполкома, который месяц назад вел с нами беседу, с каждым, в учительской, об армии, офицерских училищах, долге гражданина. Глаза водянистые, как у вурдалака, гнилостно-сладкие, полные злорадно-смертельного любопытства, ненасытно-пустые, беспощадно-улыбчивые, вглядывающиеся в зябнувших от стыда, голых и потому абсолютно лишенных какой-либо точки опоры в этом цинично-убийственном мире муштры и террора наивных мальчиков, глаза вурдалака, знающего цену человеческой жизни и в тайной зависти жаждущего насладиться единственным оставшимся ему наслаждением: наблюдать, как разрушается в грязь, в гниль, в бессильный страх наивная цельность и чистота этих мальчиков.

Взгляд Колточихина.

Это стало для меня самым страшным сочетанием слов. Этот взгляд, перехваченный мною в какую-то долю секунды — дольше вглядываться было просто опасно — прожигает всю мою жизнь.

Помню, внезапно ощутил во рту подлинный, подлый, горше полыни, вкус натекающего страха из предстоящей, уже затрагиваемой часовой стрелкой, жизни, стоящей за негнушимися спи-

нами членов комиссии кладбищенской стеной с портретом Сталина, слепо отражающим свет электроламп. А ведь за стеной был солнечный полдень.

...Чудесный май с внезапными грозами, младенчески-шелковистыми травами, мальчишески несущимися ручьями, известково-голубой сиренью, свежо и блекло касающейся наших щек, напрасно топтался за стенами и наглухо закрытыми окнами классов, где мы, в изматывающем чаду напряжения, сдавали экзамены на аттестат зрелости: напрасно бросался нам навстречу волнами озона, щебетом птиц и цветением деревьев, когда мы, обессиленные, выходили из школы; и обескураженно отступал, уступая июньскому зною и пыли.

Гуревич, с которым я случайно столкнулся в разгар экзаменов, удивил меня, рассказав, какие интриги шли вокруг моего имени до начала экзаменов: он просто не хотел меня расстраивать, но теперь, когда экзамены приближались к концу и я явно тянул на медаль, и даже золотую, он все же решил все поведать. Оказывается, еще с восьмого числилась за мной проделка, за которую меня чуть не исключили из школы: в период очередной эпидемии, когда мы безжалостно стреляли друг в друга из резинок скатанными огрызками бумаги или окурками папирос, которые усиленно собирали в подворотнях, я, не желая этого, попал таким окурком в очки нашей учительнице по немецкому, Евгении Львовне, моей дальней родственнице (ее родной брат был женат на моей двоюродной сестре). Оскорбленная родственница более всех требовала моего исключения, но за меня горой встала Вера Николаевна. И вот, через два года, на педсовете, обсуждая всех, кого допускают к экзаменам на аттестат зрелости, извлекли давнюю историю, и завуч, по-лошадиному мягко и бескровно жующий губами Губин, предложил меня к экзаменам не допускать. Верушка опять встала за меня горой. Гуревич, тихо и с удовольствием посмеиваясь, изображал, как все вбирают головы в плечи, когда она начинает говорить своим твердым голосом, никого не имея в виду отдельно, но как бы отчитывая всех.

Я прощаюсь с Гуревичем, я иду домой окольными переулками, слезы наворачиваются на глаза, я твердо знаю, есть у меня в жизни три ангела-хранителя — бабушка, мама и Верушка. А ведь она и словом не обмолвилась, была неизменно строга и даже при-

крикнула на меня во время сочинения за то, что я усиленно вертелся, оглядывая класс. .

Наши письменные работы по литературе и математике, нескольких человек, представленных к медалям, послали в министерство. Наступает полоса ожидания, этакий мертвый сезон, чем-то сильно напоминаящий ту давнюю ночь, когда мы пребывали в нейтральном пространстве, затаив дыхание от страха, — румыны ушли, русские еще не пришли.

Мы продолжаем, как ни в чем не бывало, ходить с утра на речку, а под вечер — в старый парк, но ощущение неизвестности сосет под ложечкой, Маша уезжает куда-то на практику, последний раз провожаю ее в плавни. До ее дома подвозит ее старший брат на полutorке. Мы — в кузове, нас швыряет друг к другу, какие-то предметы катаются под ногами. Допоздна сидим у реки. В полной темноте, в обнимку. Вслушиваемся в шорох бегущих вод, зная, что не быть нам вместе; мы и так никогда особенно не сближались, хотя, вероятно, никогда больше я не встречу более преданного существа. Теперь и вовсе расстанемся, я уеду учиться — в институт ли, в университет, до того, как она вернется с практики.

Наконец, радость, утверждены медали, на выпускном вечере я получаю коробочку и аттестат с золотым обрезом, все возбуждены. В зале — танцы, но мы уединяемся группой, мальчики и девочки, в нашем темном классе, сбежав даже от родителей, вспоминаем школьные годы, в этот момент ощущаемые как опора и защита, которые мы теряем. Верушка и мама отыскивают меня, стыдят: вы что, дикари какие-то, в такой торжественный час забиваться в щели?

Июньская лунная ночь серебристо струящимся зонтом стоит над школьным двором, он пуст, он гулко отзывается на наши голоса.

Разбредается братия: Яшка Рассолов — в авиатехническое военное училище. Дуська Рязанов — в артиллерийское, Люда — в Ленинградский политех, я уже твердо решил — в Одесский, на мехфак, отделение станки и инструменты. Знающие евреи советуют в один голос: нужна твердая специальность, инженер, к примеру, а писать можно будет в свободное время.

Ранним утренним поездом, с мамой, впервые еду в Одессу, росистая свежесть зелени, просвеченная восходящим солнцем, волнами накатывает в окна вагонов, зашвыривая пригорошнями

говор баб и мужиков, сидящих на груженных телегах у шлагбаумов, тарыхтение машин, мычание коров. Поезд, выгибаясь дугой, с ходу пролетает станцию Кучурганы: значит, это не плод моего воображения, станция Кучурганы, повисшая на длинных стропях дыма, вздымающегося взрывами бомб в солнечный день войны, так и врезавшаяся в память пугающе-гибельным видением и не воспринимаемая в иной реальности, но вот же она, а за ней и Раздельная, вот и пригороды Одессы с взлетным полем за деревьями и стрекозиными крыльями самолетиков, долго тянущимся кладбищем, пролетающими перекрестками улиц.

От невзрачного вокзала, рядом с которым на глазах вырастает новый, едем трамваем, позванивающим металлически под сенью разлапистых деревьев, сквозь густую листву которых с трудом пробивается солнце, усеивая всю улицу веселыми пятнами. На улице Чижикова, в старом колодезобразном дворе мама отыскивает квартиру нашей родственницы, более шестидесяти лет живущей в Одессе, тети Мени. Голубиный помет, которым пропахли двор и лестничная клетка, подметен к стенам, и запах его, врываясь через окно в заваленную рухлядью квартиру, смешивается с устойчивым запахом старости, и эта невыносимая смесь облаком стоит над старичком, мужем тети Мени, едва дышащим, со слезящимися глазами, в кипе, качающимся над молитвенником. Наглые голуби тут же садятся на подоконник, гадят, я пытаюсь их отогнать, они лениво взлетают, роняя перья. Ощущение дряхлости и скудной жизни въедается в поры вместе с пылью, повисшей над двором солнечной взвесью.

Поспешно прощаемся с тетей, старичок нас вообще не замечает.

До открытия приемной комиссии времени много. Снова едем на трамвае в сторону Большого Фонтана: вагончик бежит по степи, сквозь бурьяны, мимо редких островков деревьев.

Остановка посреди степи.

Я уже знаю: темносинее, необъятное, еще невидимое, но дышащее за бугром в километре от нас — это море.

Залегшее за бугром, как бы вовсе отсутствующее, оно цепко держит в своем магнетическом поле все окружающее пространство, придавая странно вслушивающуюся сосредоточенность всему — от неба до малой кочки: все они, включая облака, деревья, камни, подобно раковинам, полны его молчанием, рокотом, гулом. И я это вижу, слышу впервые в жизни, и чувство, с которым я пересе-

каю этот километр, ощущая бьющееся сердце, непередаваемо: я бегу, я еще не верю.

С бугра — вразлет, до самых краев земли — море, и я стою, на миг обернувшись замерзшей на берегу раковиной.

Потом — Политехнический, сдача документов, получение свидетельства о том, что я принят: начало занятий — 1 сентября.

Со ступенек Политехнического — огромный акваторий одесского порта: строения, склады, пакгаузы, громоздящиеся оползнем со склона, налезавшие на причалы; отчаливающий пассажирский лайнер, кажущийся не таким уже огромным с высоты, и внезапный — басом — непомерно громкий его сигнал, не вяжущийся с его величиной, сотрясающий окрестность, открывающий для меня по-новому озвучиваемое пространство жизни.

Глава пятая

...День тридцать первого августа пятьдесят второго выпадал на воскресенье. За несколько дней до этого надо было сняться с воинского учета перед отъездом в Одессу. Понедельник — день тяжелый, чем военкомат не шутит, и я решил пойти во вторник, двадцать шестого.

Спал я на свежем воздухе, в узком, как нора, шалаше, пристроенном самодельно к дряхлому нашему забору, и первое предутреннее, едва уловимое движение ветерка с реки поверх охладившейся за ночь суши будило меня: словно кто-то осторожно шарил в еще зеленых, но уже теряющих мягкость листьях. В сырой свежести раннего часа вокруг малой травинки, замершей перед моими глазами, тьма ночи начинала выдыхаться, терять свою силу и аромат, звезды выцветали и блекли. В плавнях начиналась перекличка петухов. Я шел по спящему, почти пустому и потому такому беззащитному городку: ранний час обострял чувство прощания. Я старался ступать помягче, чтобы стук шагов не прогонял своим безжизненным равнодушием это чувство.

Первые розовые проблески зари я увидел в широком прогале между аллеями старого парка. Птицы в листве прочищали со сна свои горла, и щебечущий мусор сыпался с деревьев.

Скамейка, на которой мы сживали с Валея, была мокрой от росы. Грубо выкрашенные под бронзу то ли гипсовые, то ли каменные сапоги вождя (Ллоцмана, Командора, Впередсмотрящего,

имя которого изо всех сил стараешься не держать в уме в сложных манипуляциях математики подсознания) топтали зарю. Эта опасная метафора, на миг выскользнувшая из-под контроля сознания, была тут же проглочена страхом и внезапным, как выстрел, кольнувшим грудь видением темного коридора военкомата.

В коридоре в этот первый час рабочего дня было пусто. Я постучал в дверь.

За столом сидел майор Козляковский, длинный и голенастый, как его фамилия, со страдальческим выражением на вечно пепельном лице мелкого садиста и пакостника. О свирепости его ходили легенды. У окна стоял незнакомый мне подполковник со старым бабьим лицом и такими бескровными губами, что, казалось, лицевое тесто просто рассекалось отверстием хилого рта.

— Чего надо? — спросил Козляковский, уставившись в стену.

— Сняться с учета... в связи с отъездом на учебу... — я положил осторожно на стол приписное свидетельство и справку о зачислении в институт.

— Выйди, — сказал Козляковский, не отрывая взгляда от стены.

Испытывая глубоко затаившееся омерзение, я вышел, как выходят из палаты тяжело больного, и тихо прикрыл железную дверь.

Прошло более десяти минут. Я впервые в жизни снимался вообще с какого-то “учета” и потому не знал, сколько это должно продолжаться.

Вдруг дверь резко распахнулась, и Козляковский вышел на своих полусогнутых, вставленных в козловые, вероятно, сапоги, глядя поверх меня в серую стену коридора, резанул с гнусавинкой в голос:

— Зайди!

Подполковник сидел за столом, в фуражке.

— Стой, как положено, — заорал Козляковский, — распустили вас в школе...

Подполковник рассматривал мои документы:

— Паспорт с собой?

Я подал паспорт.

— Мы направляем вас в летное военное училище, — заговорил подполковник, шлепая губами, как человек, у которого отсутствуют передние зубы. Краем уха я уже слышал о внезапных разнарядках, спускаемых в военкоматы из училищ: вот и влип со своими расчетами — вторник, утренний час. За решетками окна весело

клубилось августовское солнце, еще более подчеркивая мою беспомощность, и сапоги Козляковского, то ли козловые, то ли хромовые, бронзовея на глазах, топтали световую полоску на казенном полу.

— Но я же принят в институт... И у меня... медаль...

— Медалист!.. Брезгуешь военным училищем? Забыл про долг призывника перед родиной?.. Задрал нос? — заорал Козляковский, и лицо его стало еще более страдальческим, сморщившись как от сильной зубной боли, он почти плакал и временами гнусаво блеял. — Подполковник окружного военного комиссариата с ним разговаривает, а он... медаль, институт...

За восемнадцать лет жизни никто еще на меня так не орал. Внутри что-то оборвалось, как от удара ниже пояса. Гнусавый голос хлестал, как плеть по обнаженной печени.

— Но в училище... это... добровольно, — обрел я слабое дыхание после удара.

— Доброволец! — взвизгнул Козляковский. — Ишь, свободы захотел? Ученый?.. А ты знаешь, что есть закон: после окончания средней школы берут в армию с восемнадцатилетия?.. Будешь выпендриваться, забреем в два счета.

— Где ваш отец, этот... Исак? — брезгливо прошлепал губами подполковник, не отрывая взгляда от первой странички паспорта.

— Был тяжело ранен... под Сталинградом. Умер в госпитале.

— Так вы что, тоже боитесь умереть?.. Все вы?..

Впервые в жизни так отчетливо и в мерзко-публичном месте вспыхнуло на моем лбу клеймо.

— Даю два дня на размышление. Выметайся! — заорал Козляковский.

— Паспорт можно взять?

— Оставь паспорт, — он почти зашелся в истерике, — пошел вон.

Я вышел, пошатываясь, на улицу. Все двоилось в глазах.

Охранник вызвал маму из банка, который был всего в полуквартале от военкомата.

— Что случилось? — испуганно спросила мама.

Она тут же, как я и предполагал, побежала за советом к главному бухгалтеру банка Вайнтраубу, старому лису, крупному мужчине с огромным животом, ранней лысиной и ястребиным

носом, слышшим бабником среди женской колонии служащих банка.

Я вернулся в старый парк. Скамейка была на месте. Птицы в листве продолжали чистить клювы, сыпля с деревьев чириканьем и мелким пометом. Но все напрочь изменилось, отсеченное слепой стеной каземата-военкомата, и в этот миг не было даже щели, через которую можно было проскользнуть, вывернуться в беззаботность утренних часов, школьных лет, отроческой жизни.

Я тупо уставился в каменные с облупившейся бронзовой краской сапоги на низком пьедестале: гнусавый визг Козляковского стоял в ушах, заглушая птичий щебет.

По совету Вайнтрауба надо срочно завтра, первым утренним поездом ехать в Кишинев, в республиканский военкомат.

Я наотрез отказался спать в доме, забрался в шалаш. Всю ночь мне снились сапоги Командора, каменными подошвами давящие на грудь, наступающие на горло.

Самым ранним был поезд из Рени через Кишинев на Унгены; мы вошли в плацкартный вагон, из расцветной свежести — в спертый с сивушным запахом воздух, скопившийся в купе от нечистого дыхания спящих, несвежей одежды, заношенной обуви; мама села на краешек полки, я стоял в коридоре, у окна вагона, без всякого интереса следя, как слабое отражение моего лица накладывается на пролетающие с металлическим лязгом полустанки, насыпи, луговые пролежни, сады, мостики, лески, обрывы, только и видя затаившийся в уголках глаз испуг.

Кишиневский вокзал, увиденный мной впервые, был весь в каких-то деревянных щитах, настилах, рвах: то ли доразрушали старый, то ли доделывали новый. Мы пошли пешком, через какую-то захлавленную площадь, которую пытались превратить в сквер, мимо серых закопченных стен с колючей проволокой поверх, горами металла, скрюченных рельс — все это скопом, согласно вывеске, должно было представлять завод имени Котовского. Мы поднимались по узко петляющей, в глубоких промоинах по склону холма, улице Ленина. В действующей церкви, на пересечении улиц Свечной и Щорса, шла утренняя служба, старухи с нищенской терпеливостью высиживали паперть, глядя подслеповатыми в бельмах глазами на приземистое, выкрашенное в казенно-желтый цвет, с длинными рядами окон здание республиканского военкомата, уходящее двумя

сторонами треугольника по Свечной и Киевской, с парадной дверью на пересечении этих сторон.

Весь похолодев, с привкусом жженой резины во рту (позже это будет повторяться каждый раз, когда буду оказываться в присутственном месте), ожидая человеческого окрика или лая, отворил тяжелую дверь. Мама шла за мной тенью, но вид у нее был более решительный и бывалый. В небольшом вестибюле за неким подобием прилавка сидел молоденький лейтенант. Не гаркнул, не выверился, вежливо спросил в чем дело. Я начал сбивчиво объяснять, мама меня поправляла.

— Извините, вы кем ему будете? — спросил лейтенант. — Матерью?.. Посидите здесь, я все понял... Сын ваш пойдет со мной.

В длинном, с десятками дверей по обе стороны, коридоре сновали военные, гражданские, девушки с папками, кипами бумаг, лейтенант же объяснял, что к военному-полковнику-Корсуну попасть невозможно, ведет он меня к заместителю-подполковнику-Бугрову и чтобы я не рассказывал тому так сбивчиво.

Лейтенант исчез за одной из дверей. Я сел на скамью у стены, собираясь терпеливо ждать. Передо мной на стене висел красочный плакат с портретами героев Советского Союза, времени на изучение его было у меня достаточно, да и на удивление тоже: опять ощутил, как заболело клеймо на лбу. Из трех героев-евреев, о подвигах которых я читал в книгах и статьях, двое на плакате были белорусами — легендарный морской пехотинец, погибший на Малой земле, дважды герой Советского Союза Цезарь Куников, и не менее легендарный, и тоже дважды, контрадмирал Фисанович, третий — Машкауцан — на плакате выступал молдаваном.

— Заходите, — сказал лейтенант.

Я весь сжался, бочком проскользнул в кабинет, где за столом сидел подполковник с явно располагающей к себе внешностью, жестом указал на стул:

— Ну, так что случилось, молодой человек?

Я начал опять свою печальную байку, стараясь быть спокойнее и сдержаннее, хотя давалось мне это с большим трудом.

— Документы у вас какие-нибудь есть с собой?

— Нет. Майор все забрал... Даже паспорт.

— Паспорт? — удивился подполковник. — Ну и ну... Ладно. Все понял. Знаю, о чем речь. Мы дали указание всем военкома-

там снимать с учета тех, кто поступил в ВУЗы. Возвращайтесь. Все будет в порядке.

— Товарищ подполковник, извините... Я не встану с этого стула, пока вы не дадите письменное подтверждение того, что сказали. Вы не знаете, этот майор... Простите, товарищ майор... Козляковский...

— Так и не встанете? — удивленно и вместе с тем внимательно-насмешливо переспросил подполковник, некоторое время вглядываясь в меня. — Ну ладно, так и быть.

Энергичным росчерком написал на листке несколько слов, расписался.

Бережно, как воду в горсти, чтоб не расплескать, взял я листок:

— Разрешите идти?

— Уже и разрешите. Вы еще не военный.

За одно мгновение я пробкой вылетел через коридор, через двери — на улицу, мама едва попевала за мной, в эти секунды не было в мире более симпатичных существ, чем старухи, сидящие на церковной паперти...

К Козляковскому я пошел на следующее утро, в четверг, двадцать восьмого. Он сидел один в кабинете, поглядел на меня отсутствующим взглядом, как будто и не зная, с кем имеет дело:

— Чего надо?

Молча, без слов, положил перед ним записку подполковника Бугрова.

— Выйди!

На этот раз я был спокоен. Озирая стены, коридоры, плакаты, бачок с водой и кружкой на цепи, я с холодной ненавистью ощущал, как можно, внезапно остервенев, все это поджечь и разнести.

— Зайди!

Козляковский сунул мне приписное свидетельство с печатью о снятии с учета, справку о зачислении в институт.

— А паспорт.

— Какой паспорт?

— Вы его у меня забрали, — впервые прямо и с открытой враждебностью я выдержал его страдальчески-свирепый взгляд.

— Выйди!

Вероятно, в состоянии истерики он забывает, что творит. За дверь стучало: он переворачивал ящики.

Наконец вышел и, не глядя, сунул мне паспорт.

Казалось бы, все благополучно завершилось. Но неуловимое ощущение тревоги, ожидание подвоха заставляло меня вздрагивать, бояться до времени складывать вещи, с опаской и неверием принимать утреннюю сырость следующего дня.

Мама тоже нервничала, затеяла до обеда перебранку с бабушкой, я кружился по двору, не зная, куда деться от их бубнящих голосов, и тут увидел, как вдалеке, на улице, возникло незнакомое существо, катящее на велосипеде и явно в нашу сторону, я не знал, кто это, но начал молить, не ведая кого, чтобы существо это проехало мимо, и оно и вправду проехало, и я глубоко вздохнул, и услышал стук в калитку: за ним стояло существо и протягивало мне то ли письмо экспрессом, то ли телеграмму усохшей старческой рукой человечка, развозящего срочную почту; впервые на официальном бланке или конверте значилось мое имя, отпечатанное на пишущей машинке, я развернул и прочел:

“Вы отчислены из Одесского политехнического института в связи с обнаружением ошибок в вашем заявлении и автобиографии. Вопрос о присуждении вам медали будет обсуждаться в вышестоящих инстанциях.

29.8.52. 8.00.

Секретарь приемной комиссии К о з л ю ч е н к о”.

Тело стало ватным, пот заливал лицо, бубнящие голоса мамы и бабушки били в висок обморочной абракадаброй: “Дыргейст-мир-ды-юрн-цопст-мир-ди-блыт-гист-мир-ныт-лейбн,махст-мейх-мишиги-их-хою-фарлойрн-майн-гонцы-лейбн” *..

Бессмысленность жизни, расплзающаяся на глазах в такой солнечный покойный день, вот что было в этом листке, телеграмме, письме, не от любимой, не от обожаемого поэта — от всех темных и тупых сил, не ставящих тебя, твою молодость, твои порывы ни в грош, глумящихся над тобой и с жадным злорадством подглядывающих за твоим шевелением страдальчески белыми глазами вурдалаков и бешеных собак, козлоногих леших — Колточихина-Козляковского-Козлюченко...

Я вошел в дом. Стало тихо.

Через полчаса мы уже тряслись с мамой в кабине грузовика до Тирасполя: завтра ведь была суббота, короткий день, а понедель-

* “Ты-укорачиваешь-мои-годы-пьешь-мою-кровь-не-даешь-мне-жить-своишь-меня-с-ума-я-потеряла-всю-мою-жизнь”... (идиш)

ник — начало занятий, все было предусмотрено с дьявольской изощренностью.

Мы стоим за зданием Тираспольского театра, мы голосуем у обочины дороги на Одессу под безмятежно синим небом божественной бессарабской осени с ровной сухой желтизной дальних кукурузных полей, в губительной праздничности солнца, в тишине и пыли, поднимаемой колесами пронсящих машин и стоящей комом в горле, тишине, в любой миг могущей обернуться пикирующим свистом фугасных бомб, как это и было одиннадцать лет назад, здесь, в Тирасполе, и пыльная листва деревьев вдоль обочины нависает над нами, сдавливая грудь ядовитой зеленью.

Наконец, отъезжаем на грузовике, на груде подсолнухов и кукурузы, испуганные и притихшие в заливающей с избытком пространство губительной праздничности солнца..

Вечером сидим под обгаженной мухами лампочкой, светящейся сквозь зелень листьев, во дворе дома бабушкиной племянницы тети Эти, сестры тети Мени, на углу улиц Кузнечной и Тираспольской, в центре Одессы, и сын Эти, колченогий от рождения инвалид Миша, заведующий клубом какой-то фабрики, с вечно застывшим в уголках глаз страхом, бубнит мне испуганно-назидательно: — Бойся, ой, как бойся их...

Наутро, как на место казни, отправляемся в Политехнический. Субботний день, народу мало, тем более заметны какие-то растерянные мальчишки, бродящие с родителями по скверу напротив института. В считанные минуты знакомимся, узнаем: двенадцать или пятнадцать человек отчислили из института, и все — евреи, и все — с медалями, золотыми, серебряными, и всем посланы одни и те же письма-телеграммы, только фамилии затем вписаны чернилом (а я ведь этого и не заметил). И что я, из провинции, со своей мамой-вдовой и нищенским существованием, тут и сын полковника милиции с дальнего Севера, папаша которого летит еще в самолете, и сын какого-то профессора из Киева. Все уже записались к секретарю Козлюченко, а в понедельник — на прием к директору института профессору Добровольскому, о котором с тошнотворным однообразием рассказывают все ту же байку, как, стоя в писсуаре института, он демократично здоровается со студентами, отнимая руку от ширинки; все собираются в Москву, на прием к председателю президиума Верховного совета Швернику. Кто-то уже побывал у Козлюченко, ползут слухи, слабая надежда сменяется еще более глубоким отчаянием, действует на нервы дебе-

лая, крашенная под блондинку жена полковника милиции с дальнего Севера, с уст которой не сходит имя Шверника, как будто она, как минимум, училась с ним в одном классе.

Приходит и наша очередь к Козлюченко. "Гыкающий" мужичок с лапотным лицом, наскоро облагороженный галстуком и костюмом, с откровенной насмешкой несет околесицу, покручивая в пальцах какую-то вещицу, явно напоминающую чем-то кастет, который несомненно более подходит для нашего "разговору".

Спрашиваю:

— Можно увидеть мои ошибки?

Какие-то девицы, мужчины куда-то уходят, приходят, суетятся, поглядывая на меня с брезгливым любопытством.

Наконец откуда-то вынырнула папка, с нею затевают какую-то суетливую игру: она ли, не она, нет — она, да не она же; игра грубая, издевательская, да они этого и не скрывают. Сижу беспомощно, молчу, вкус жженной резины во рту не проходит. Какая-то мягкая бумажка порхает из рук в руки, ложится перед Козлюченко: мое заявление, узнаю свой почерк. Видно, как вокруг него колдовали да вертелись с карандашом, ручкой, резинкой. Чья-то мерзкая харя, вытянув трубочкой губы, дует шепотом в козлиное ухо Козлюченко.

— Гы, — говорит он, — гыляди... кхм... те, гылядите. Почему у вас посля фамилии, пэрэд инициалами стоит точка? — "ч" он приносит без мягкого знака.

Вот, суки, даже не постеснялись поставить точку другими чернилами, видно без всякой экспертизы. Харя не отлипает от козлюченкова уха.

— Гы... гыляди...те, гылядите, по русской орфографии так нэ пишут, ну, ну, — ему еще трудно объяснить, — к примэру, вот, "рэктору инстытута" значить, да?.. Так не "от гражданына Козлюченка заявление", да?.. "От" — це тяжка ошибка, поняв? Пишуть, значит, без "от", ну так: "гражданына Козлюченка заявление", поняв? — и специалист по русской лингвистике с облегчением откидывается на спинку кресла, капли пота выступили у него на лбу, глаза сверлят меня с откровенной ненавистью. "Ну и настырный ций жид", — верно, думает он.

— А где автобиография? — спрашиваю.

— Уф, — вырывается у него, — це искаты надо.

— Разве все документы не в одной папке? — наивно спрашиваю я.

Мерзкая харя просто срослась с козлюченковым ухом.

— Так вона ж у специалиста. Вы записывались к профессору Добровольскому? Вот вин вам и скажете.

Козлюченко быстро встает и выходит из комнаты. Харя тут же прячет мое заявление. Ничего не поделаешь, если это называлось аудиенцией, то она закончена...

Бесконечное воскресенье продолжается тихой истерией, мама не отстает от меня ни на шаг, не пускает купаться в море, боится, что утоплюсь.

“Чудачка, — говорю, — да не стоят все эти мерзавцы скопом, чтоб ради них расставаться с жизнью”, — а на душе скребут кошки, и омерзительны все проходящие мимо, визжащие, хрюкающие смехом. Режут по живому мясу курсанты военно-музыкального училища, чей зеленый забор напротив дома тети Эти: целый день трубят, громко, скверно, фальшиво.

В понедельник с утра Политех гудит от голосов, смеха, топота, студенты и студентки, шумные и загорелые, забивают все проходы, а мы, жалкая кучка, жмемся у дверей профессора Добровольского. Даже дебилая знакомая Шверника, чей муж все еще продолжает лететь с дальнего Севера, сникла и присмирела.

По лестницам Политехнического горохом сыплются шаги множества ног, а я ощущаю себя горошиной, отброшенной, закатившейся в щелку под всеми этими крутыми, как дыбы, лестницами и помещениями, загромождающими пространство жизни.

Только во второй половине дня, уже заплесневев от ожидания, вхожу, наконец, в огромный кабинет, где у самых окон за не менее огромным столом сидит старый беловолосый огромный мужчина с повадками дряхлого льва и списанного из прошлой жизни интеллигента. Он идет мне навстречу, подает огромную мягкую ладонь, что-то благодушно бубнит под нос.

Оказывается, он не имеет никакого отношения к приемной комиссии, никакого понятия, о чем идет речь, более того, он возмущен.

— Но ваш Козля... Козлю...

— Понял: нечто из семейства козлиных.

— Простите?

— Я вас внимательно слушаю.

— Он сказал, что вы мне покажете, какие у меня ошибки в автобиографии.

— Ошибки? Какой бред. Что здесь, филологическая богадель-

ня? И кто вас поучал русской орфографии — Орфей-граф-Козлю-Козлевич с "гылядите"? Увольте, это не для меня...

Я ведь вошел к нему шестым или седьмым: неужели он и тем говорил нечто подобное? Вот уж вправду какой-то бред, Может, выходящие скрыли что-либо от меня:

— Так есть еще надежда...

— Мой вам совет: езжайте в Москву. Тут явно какое-то недо-разумение...

— Но я же потеряю столько занятий...

Теперь его черед глядеть на меня, как на безумного:

— О каких занятиях может идти речь? Я говорю, в Москву езжайте, в министерство высшего образования. Стукните по столу Столетову-Прокошкину.

— Кто это, Столетов-Прокошкин?

— Первый — министр, второй — начальник отдела политехнического обучения... Лицо у вас такое славянское, и национальность соответственно...

Гляжу на него во все глаза: издевается, что ли, надо мной, или с наглой наивностью старого вышколенного хитреца пытается скрыть сильный антисемитский запашок того, что с нами произошло?! И все это под прикрытием польского вальяжного аристократизма в смеси с русским простецким панибратством: это же надо — стукнуть по столу министра; кто меня в министерство-то пустит. В этот момент ясно понимаю и на ходу стараюсь привыкнуть к этой мысли: надо быстрее забрать документы, медаль действительна два года, но за этим маячит Козляковский, который забреет в два счета, да что эти козлы, вот лев-иллюзионист играет со мной, мышонком...

— В письме сказано, что вопрос о присуждении мне медали будет разбираться в вышестоящих инстанциях...

— Пугают.

— Так если я попрошу документы, мне их отдадут?

— Только пожелайте... Вмиг...

Рука его, более честная, чем изощренный в борьбе за существование ум, потянулась к телефону, замерла на полпути, забарабанила: кажется, он понял, что я понял, даже как-то смутился.

Боже мой, как все понятия жизни перевернулись в считанные часы: в святая святых науки козлоподобное ничтожество вкупе со знаменитым ученым, в ком страх убил остатки совести, гнали с двух сторон в загон щенка, только высунувшегося в жизнь.

Где они до сих пор таились, из каких щелей так сразу и со всех сторон поналезла вся эта нечисть — тараканы, козлы, мышиные хари — как в белой горячке, дурном сне, вызванные к жизни пылающим на моем лбу клеймом?

— Извините, — сказал я и вышел из этого огромного кабинета через одну приемную, другую, третью: казалось, не выбраться на свежий воздух из бесконечных, убивающих суконной скукой присутственных мест — судов, канцелярий, военкоматов, секретариатов, в которых за последние дни я насиделся больше, чем за всю предыдущую жизнь, изнывая и погибая десять раз на дню в этих камерах с запахом тяжелых кожаных диванов, с бумагами, с уныло тараторящими пишущими машинками — подстать уныло-бесполом лицам секретарш; моя щенячья беззащитность, наивная и глупая молодость раздувала раздражением ноздри этих старых усохших самок, вероятно, в стадии климакса, да и всех дряхлых церберов высшего образования, давно отдавших в руки необразованным, но наглым борзым и гончим, — и каждый норовил ткнуть щенка ногой в бок.

Документы можно было забрать лишь после обеда. Мы шли с мамой по улицам, спасительно хлестал дождь, но пространство жизни было водянистым, вместе со мной пускало пузыри, и любая афиша, странная человеческая фигура, сам Дюк Ришелье над знаменитой приморской лестницей, чугунные пушки у памятника Пушкина — были соломинкой утопающему.

Выглянуло солнце. Мама была опять в боевом настроении, всерьез собиралась ехать в Москву, стукнуть по столу Столетову-Прокошкину, чуть ли не ворваться к ним, как в годы войны ворвалась в кабинет председателя сельсовета, волоча за собой упирающегося бычка. Она присоединилась к нескольким возбужденно жестикулирующим мамам у подъезда института, я же спустился к морю...

Вот кому было легче: прорва работ — качать щепки и бутылки у берега, корабли на рейде, бить ленивым, но сильным языком волн в причалы, играть с бумом, и вообще — чихать на весь мир. Мрачный дух бессилия, к которому душа только привыкла, был сродни неверному свету солнца сквозь тучи, поверх моря, кишащего суетой порта.

Опять меня окликнула мама, разыскивающая меня, испуганная.

Чугунная улитка задней лестницы в каких-то темных задвор-

ках Политехнического, которая скорее ощущалась, как сверло, ввинчивающееся мне в затылок, вела в подземные помещения, где меня должны были вздеть на дыбы: вернуть бумажку с позолоченным обрезом, в которую вошли десять лет моей жизни, вмиг обесценить позолоченную бляху, которую бабушка потом хранила на груди и которая потом затерялась после ее смерти в переездах и закоулках последующих десятилетий жизни.

Неизъяснимый пугающе-веселый абсурд, начавшийся с “гыканья” Козлюченко и обращения меня в славянина Добровольским, продолжался: никогда до этого, да и после, я не видел сразу такого количества милиционеров, рядами синих и белых мундиров оцепивших вокзал: оказывается, мы попали в самый разгар открытия нового вокзального здания. Ощущение было, что милицию согнали из всех одесских щелей — в пешем и конном строю. Кошмар белой горячки с синими прожилками гнал меня из Одессы, которой даже нельзя было послать холеру на голову, ибо в ней только о холере и говорили.

Все лезли в вагон скопом, и я, впервые повисший в безвременье, неприкаянный, не знающий, что впереди, грустно ощущал этот новый опыт жизни: уже не будет казаться, что сцепщик, ударяющий по вагонным буксам, станционное здание, увитое виноградом, — благожелательны к тебе, делают все, чтобы стать частью твоего жадного интереса к жизни; наоборот — они были враждебны и отталкивающи.

Где-то за Кучурганями косою полосой проплакал дождь, оставив слезы на вагонных стеклах, но внутри меня все окаменело, и в глазах — за открытыми ли, закрытыми веками — стоял, не исчезая, мрачный коридор и приемный Политехнического, сливаясь в некое одноглазое чудище, подобное Полифему, которое с нескрываемой радостью и облегчением отдавало мне документы, и этот образ накладывался на все разнообразие, казалось, пытающейся меня отвлечь природы, летящей за окном, втолковывающей, что только в ней одной мое успокоение на ближайшее время.

Поезд качало моей лихорадочной опустошенностью; бланк с позолоченным обрезом и сдвоенным профилем сямских близнецов Лениносталина казался никчемной бумажкой; горизонт вместе со мной тоскливо и горячечно озирает серые бессолнечные неуходящие остатки дня. Все истинное — зеленые своды деревьев, чистый пруд, игрушечное село — казалось нарочито вставленным

в этот безысходный простор и мир, чтобы лишь подчеркнуть его тоскливую сущность и dokonать меня, хотя мгновениями мне казалось, что эти деревья, пруд, село протягивали мне руку помощи, захлестываемые безбрежной опустошенностью, прорывались ко мне, раскрывая объятия, – рощи, отдельные деревья, редкие кресты у полотна, чучела на огородах, разбросавшие руки в стороны: все это летело мне навстречу, все это, возникнув издалека, несло объятия и намек на соучастие, но уже с приближением было понятно, что это фальшь, и они проносились мимо меня равнодушной иллюзией вечного объятия, и все вокруг стучало, отдавая железом и бездушием – стаканы, двери, рамы, станции, полустанки, сцепления, колеса, даже лица соседей по купе, которые, казалось, с трудом размыкались устами, и каждый со своей повестью жизни, осевшей в морщинах, одеждах, жестах, лексиконе – крестьян, горожан, босяков, командировочных, среди которых с угрюмой решительностью, непонятной никому из окружающих, сидела моя мама, и я, рядом, со своей только начинающейся трагической повестью, и все были молчаливы и замкнуты в себе, и обнаруживалось, как все вокруг скудно и скорбно, и скарб едущих и весь их вид были, как после наводнения, потопа, неурожая, засухи, ливня – слинявшими, стертыми, серыми, с невыветривающейся усталостью в чертах.

Все эти последние страшные дни я с одной стороны стеснялся присутствия матери, а с другой никогда не был с ней так близок, быть может, по чувству страдания, которое было ей привычно, а в мою жизнь впервые так внезапно обрушилось, и по той уже сверхбанальной и все же мистической причине, связанной не с моей тупостью, виной, грехом, а лишь с непонятной силой отверженности, заложенной в слове “еврей”: такие мгновения приводят к вере, и весь годами вдалбливаемый диалектический материализм рушится, как глупость самоуверенного схоласта или уже самого себя перехитрившего софиста.

В последующие месяцы моего падения в яму одиночества и волчьей стужи я понял, что это недолгое, печальное и необычное сближение мое с мамой было как бы последним всплеском связи ребенка с матерью перед его окончательным уходом в темный мир: сдержанность в наших отношениях была тем более удивительна в сравнении с бабушкой, с которой мы словно жили в одной шкуре, ругались, грызлись, не могли друг без друга...

Я был подобен эху, шатающемуся без адресата, неизвестно кем

пущенному и не могущему никуда приткнуться. Днем, таясь, я уезжал куда-нибудь за город, в лес, поле, пробовал искать себя, прошлого, у знакомых деревьев с трухлявыми дуплами, в зарослях у реки, в заревых бликах, горящих на оконницах домов предместья, но везде я был вычеркнут, отброшен, отслоен, не прописан, не поставлен на учет: шло стадо, пыля, щетинясь козлиными рогами, до тошноты воняло Козляковским и Козлюченко. Винный запах стоял над скудными крестьянскими дворами Гиски и Хомутяновки: вино давили из виноградных выжимок, дули это багрово-бордовое бродило, и туберкулезный румянец стоял на истощенных крестьянских лицах, дули, чтобы забить тоску темного существования, забыться, — в воздухе недвижно висел кислый вкус хмеля, до оскомины на зубах, среди скошенных высохших трав в скошенных домишках селезнями кричали селезенки алкоголиков, на сизых носах склеротически выступали жилы, — и вся прелесть осени — цикады, звезды, лунная течь, запах бурьяна и пыли, прибитой дождем, — все это было не к месту, как чудный сон или бред, видящийся раненому на поле боя, сшибленному жизнью в облике каменного Командора из старого парка, который я усиленно избегал, даже ночью.

В собственном доме я скрывался от всех окружающих залогов и зависимостей — от учебы, армии, работы, я не мог прикоснуться к бумаге, страх угнетал меня, с ним я засыпал и просыпался, затравленно смотрел из-за угла на каждого милиционера: в собственном доме я был, как сбежавший с каторги в глухом лесу, боящийся выглянуть в соседнюю лавку, везде меня поджидали с расспросами, как с ружьями в засаде.

В школе, по слухам, враги Веры Николаевны во все трубы трубили о моем банкротстве, а я физически ощущал, как обростаю медвежьей шерстью, лежу в берлоге в ожидании письма-ответа на наше письмо Столетову-Прокошкину, сосу лапу в беспрерывной спячке. Спячка была единственной защитой, которую я мог противопоставить снедающему меня страху: нужно быть очень несчастным, чтоб столько спать в юности. Я стал ночной птицей, бродил во тьме, я жил ночью и жаждал, чтобы она не прекращалась, и дождь, единственный и верный союзник, размывал мои следы; как дикарь, прячущийся от людей, я выглядывал из переулков на иллюминированную к ноябрьским праздникам главную улицу, где свободно прогуливались знакомые мне лица, такие теперь со стороны отчужденные, враждебные, со стран-

но звучащими именами — Октавиан Незальзов и Света Кельменчук, Шурик Самбурский и Леня Литвинско-Клецкий с вечно зеленым лицом отверженного женским полом страдальца, и я уже заранее знал, каким вопросом прозвучит раскрывшийся рот каждого, едва лишь он увидит меня.

В собственном доме все старались меня обходить и обхаживать. Стояла тишина, как в доме тяжело больного. Тишина была осязаемой: могла быть бесформенной, как страх, могла внезапно обрести облик милиционера или какого-либо гонца из военкомата, могла обернуться повесткой на арест.

Мама по ночам плакала. Бабушка запирала меня, уходя в магазин. Радио было выключено: все, что там говорили и пели, было нестерпимой, приносящей боль фальшью.

В те мгновения я и думать не хотел, да и не мог, что все, происходящее со мной в это время, когда ничего не происходит, и есть опыт жизни, откладывающийся на будущее, чтобы через тридцать семь лет всплыть чётким содержанием, окраской, очерком и шрамом начала шестидесятых годов, безвременья юности.

...Письмо из Москвы гласило: "...Как явствует из ответа Политехнического института, вы не были приняты, так как в вашем заявлении и автобиографии обнаружено восемь орфографических и двенадцать синтаксических ошибок".

В эти дни появился просвет: какие-то люди, по понятным причинам желающие остаться неизвестными, решили мне помочь. Речь шла о том, что есть работа в молдавской средней школе в Каушанах, а в тамошнем военкомате вроде бы не будут меня трогать до весны, хотя на сто процентов не обещают.

Табуны туч, как стадо скота, толклись у колодца на станции Каушаны; рельсы, берущие разбег в сторону, тут же обрывались в бурьяне и хламе, ржавели поруганным порывом в пространство; утро было тусклым, пыльным; воробьи скандалили в кустах, на деревьях вокруг очередного памятника вождю, и, без стыда, не боясь статей, облегались на серый камень его статей: опять эти "жиды" (кличка воробьев) являли скандальный разгул свободы в безвременье, в затмении, в обморочно-оглушенной тьме осени пятьдесят второго.

Посетив мрачную, окрашенную в серо-казематный цвет молдавскую среднюю школу и ее директора, математика Гитлина, коротконогого, с шеей грузчика-еврея, с громким шумом гло-

тающего слюну, который брал меня учителем русского языка, я шел по улице, продолжая отвлекать себя природой, как заговаривают зубную боль, и в таком беспамятном остоленении зашел в военкомат. Молчаливый майор со странной фамилией Неподпоясов без расспросов поставил в мое приписное свидетельство печать. За другим столом, заливаясь румянцем, сидел толстый, гладкощекий, без признаков растительности на лице, лейтенант по фамилии Авдеев и женским голоском залиvisto заливал кому-то по телефону.

На душе отлегло.

Старуха Прилуцкая, живущая со своей молодой, страдающей ожирением и астмой сестрой Броней, к которой я пришел с рекомендательной запиской от общих знакомых, отвела мне угол в столовой ее покосившегося, уже много лет сползающего с холма домика. Топчан был покрыт домотканым ковриком, над которым висели радиоточка и часы с цепью и гирей.

Я раскладывал свой скудный скарб, находя в любом кармане заложенные бабушкой лоскутки красной материи "от сглаза"; старуха Прилуцкая чистила рыбу, и та, еще живая, дергала жабрами, жалобно глядела на меня печальными рыбьими глазами.

В райкоме комсомола, в куцах непроветриваемых комнатах, лепящихся к какому-то магазину, первый секретарь Посларь, низкорослый недоверчивый гагауз с оливковым, словно бы расписанным тушью, лицом турка, долго рассматривал мой билет, затем вызвал второго секретаря, веселого разгильдяя с выцветшими бровями, любящего выпить русака Володю Гудумака, с которым мы потом подружились, и сказал: "Будет у тебя внештатным инструктором".

— Лады, — раскрыл до ушей в улыбке рот Володя Гудумака, — пошли со мной.

Посларь не спускал с меня подозрительного взгляда, пока я не закрыл за собой дверь.

— Неплохой мужик, — позже говорил Володя, — только чокнутый на бдительности...

Ученики мои, молдаване из окрестных деревень, многие старше меня, были по-крестьянски старательны в учебе; один из них, Петру Караре, позже стал известным поэтом-сатириком, хорошо познавшим вкус этого горького хлеба, другой, высокий, как каланча, Ион Унгурану из села Опач — актером и режиссером в Москве.

Каждую субботу до полудня, не успевал прозвенеть звонок, я выскакивал из школы, как ошпаренный, и, мелькнув под тоскливо-низкими притолоками домика Прилуцкой, бежал на дорогу искать попутную домой. Дни в середине декабря стояли слякотно раскисшие, потерявшие голову во мгле, неизвестно кому принадлежащей — утру или вечеру, со слабым снегом, так и не долетающим до земли. Иногда выдавался день сухой и морозно-звонкий, тревога, невидимо разлитая вокруг, давящая на перепонки, как в горах, внезапно оголялась, воздушные пробки выстреливали из ушных каналов, и я вдруг, как блеск сабли над моей шеей, на этот раз просвистевшей мимо, остолбенев, видел на саманной стене каушанского закоулка небрежно затертую надпись углем — “Жиды, убирайтесь в Палестину!” Я протирал глаза, даже в моем бедственном положении это казалось дурным сном, навеянным бабушкиными рассказами о погромах: начертанные на полубвалившейся стенке, слепленной из глины и навоза, в затерянной щели мира, эти слова выростали в моих глазах мгновенным и грозным перевертышем Валтасаровой надписи на стене: “мене, текел” — “ты сосчитан и найден легким... ты взвешен и найден легким” — и я с какой-то отчаянной радостью вскакивал в кузов попутной машины, выносящей меня из паутиной мерзости каушанских переулков в буджакскую степь, звонко задыхающимся чистым воздухом отбрасываемую на юг, к Шабо, Очакову, Кагулу и далее к лиманам и морю, мимо грузовика мелькали рваные шатры какого-то скудного, зазевавшегося на зиму цыганского табора, мимолетный звон уздечки и всхрап коня были, как мгновенно брызнувшая из-под ледяной корки струя чистой воды и успокоения, край винограда и конокрада еще таил в себе подспудные импульсы пушкинской воли и покоя, и за странным обликом Алеко, вдали, дымка морозного солнца заверчивалась бродильным духом дальних Палестин и Халдей; оголенные виноградники, голенастые сады, нищета, вся пестрота окружающей независимо-прекрасной жизни, мгновенно сворачивающаяся в раковину при виде милиционера, военного, козляковских-козлюченко, здесь необузданно вырывалась на свободу, и, схватившись за бортик кузова позади кабины, стоя во весь рост, с наждачно горевшим от морозного ветра лицом, подбрасываемый кочками дороги, я что-то орал и пел, читал стихи, и все это отлетало в пространство, становилось частью его никем не оспариваемой безграничной свободы,

в прошлом бледно маячили школьные дни с уроками, экзаменами, мигренью, мелко проплывая и отдавая вкусом разгрызаемого мела.

Так, на ходу, на морозном ветру и свежести, я с ходу сочинил стихотворение к новому году о том, как в поезде, в пути, случайные спутники встречают этот новый год, и в нем, среди обычных, не вызывающих подозрения строк, подобно той струе изпод ледяной корки, впитавшей весь хаос чувств этой бешеной поездки в кузове попутного грузовика, надписи на стене валтасарова пира и похмелья, вырывалась строфа о тамаде, как будто из иного мира, иных высот, иного времени, и я испуганно повторял ее побелевшими от холода губами:

И вином своим утешен,
Пролетая сквозь года,
Г р е ш н о в н е ш е н,
С п е ш н о в з в е ш е н,
Н е ж н о в з б е ш е н
Тамада...

Я бежал по улицам домой, торопясь все записать. Письмо в мой адрес незнакомым почерком на миг обожгло мне пальцы, но это было письмо от коллеги по несчастью Винограя, ему было чем со мной поделиться: по его мнению, я зря тогда поторопился забрать документы; оставшаяся группа родителей продолжала ходить по инстанциям, некоторые, в том числе и он, были все же восстановлены, а выгнали нас, потому что надо было срочно принять группу студентов из стран народной демократии, но еще не поздно, и мне, по его мнению, следует добиваться справедливости; было еще письмо от одноклассника Мити Кучеренко, который отчаянно звал меня к себе, в училище гражданской авиации в Сасово, где и вовсе только конкурс аттестатов, но все это мне казалось таким незначительным и мелким рядом с вырвавшимся из подсознания строками вместе с мгновенным обжигающим выбросом пламени таящегося в глубинах духа; верно, к лучшему, думал я, все, что произошло: какого черта вообще несло меня на механический факультет, да еще на станки и инструменты, есть ли что-либо, более мне противопоказанное?

Первые недели января пятьдесят третьего были какие-то особенно мрачные: ощущение неясной, но острой враждебности вокруг, обрывки темных, угрожающих разговоров, которые долетали до меня из-за соседних столов в чайной, и все об евреях,

из покрытых усами ртов каких-то субчиков в полушубках, по-волчьи щелкающих челюстями, омерзение, которое вызывал во мне директор школы Гитлин, когда он, весь вспотев от, вероятно, всосанной с молоком местечковой жадности, шумно втягивая слюну, считал засаленные кредитки моей нищенской зарплаты, с которой он еще брал какую-то толику (я подписывался в ведомости за сумму, несколько большую, чем получал) — все это преследовало меня, сдавливало горло днем и ночью.

Тринадцатого января пятьдесят третьего, в день моего девятнадцатилетия, я получил подарок: сообщение газеты "Правда" о том, что "раскрыта террористическая группа, ставившая своей целью, путем вредительского лечения, сократить жизнь активным деятелям Советского Союза".

Преступники признались в том, что убили Жданова и Щербакова, собирались "вывести из строя" маршалов Говорова и Василевского. Следствие установило, что "врачи-убийцы действовали по заданию еврейской буржуазно-националистической организации "Джойнт", осуществлявшей в Советском Союзе широкую шпионскую, террористическую и иную подрывную деятельность".

Призрак погрома наливается реальностью, признаки его витают в воздухе. По всей стране сажают врачей-евреев. В Бендерах взяли наших знакомых — доктора Манделя, Касапа, Имаса, мама опять сжигает старые фотографии, бабушка запихивает в любую щель моей одежды красные лоскутки материи, секретарь каушанского райкома комсомола Посларь все чаще посылает меня в глухие деревеньки "подымать", как он говорит, комсомольцев на весеннюю посевную кампанию, а также проверять занятия в сельских школах, и я как-то даже рад, и я иду пешком по грязи, по насту, с вечера в ночь по глухой с волчьими огоньками степи семь километров до села Заим, и по дороге ни одной живой души, завывает поземка, где-то неподалеку явственно бродят волки, заброшенно щелкает сигнальное устройство на железнодорожном переезде, а мне абсолютно все равно, как бывает перед замерзанием, и так я добираюсь до села, и в "клубе", больше похожем на хлев, несущую какую-то ахиною спешно согнанным, засыпающим на ходу, воняющим навозом парням и девкам. Переночевав на топчане, в каком-то углу под иконой, иду дальше, и на буджакских холмах, над селом, где в школе мне предстоит присутствовать на уроке, стыннут недвижно черные крылья ветряных мельниц в зимнем пустом тумане поверх черных в еще непробудившейся ночи снегов; неожиданно заскри-

пев под порывом холодного ветра, крылья начинают вращаться, вхолостую, среди тощей голодной зимы, и это зрелище так соответствует настрою моей души...

Учителем математики на уроке оказывается мой знакомый, бывший муж нашей соседки Веры Морозовой Виля Моргенштерн, из обрусевших потомков немецких колонизаторов, спившийся и опустившийся, "любовь" которого к евреям хорошо мне известна. Сейчас он заискивает передо мной, и это вдвойне омерзительно. Говорит он что-то невообразимое, только присутствие незнакомого человека сдерживает детей, иначе ему бы просто сели на голову. В отчете я попытаюсь все это, насколько можно, смягчить, но в соответствии с атмосферой этих дней он, ставший откровенным дерьмом ариец, считает, что я, жид легавый, должен ему просто петь дифирамбы со страху и, встретив меня в Каушанах недели через две, выверивается на меня, оскалив свою ослабевшую в поколениях волчью пасть.

Иду дальше по раскисшей дороге, черными горелыми хлопьями кружатся ветряные мельницы на удаляющихся холмах, солнце предвещает пургу, но долгая ходьба и безлюдье успокаивают; минуя русское старообрядческое село Григоровку, еще мне топать километров семь до Бакчалии: там комсомольцами управляет огонь-девка Надя Ветрич, будь осторожен, предупреждал меня второй секретарь Володя Гудумак.

Усталый, голодный, как пес, разыскиваю ее на молочной ферме, с трудом выдерживая выданные мне в райкоме кирзовые сапоги из хваленной грибачевской смеси навоза с грязью; еще не видя ее, слышу хриплый, режущий, как наждак, женский голос, сыплющий отборным матом: в сумерках появляется существо, закутанное в сто одежек, сует мне в ладонь руку, шершавую и потрескавшуюся, заводит в какой-то хлев, сбрасывает в три поворота шаль, и я балдею: настоящая красавица, черноволосая, черноглазая с округло-мягким, молочной нежности, лицом и тонко изогнутыми, словно бы начертанными китайской кистью, губами.

Увидев меня при свете, она тоже вдруг смущается, громко смеется, говорит по-русски с акцентом, но довольно правильно и, как я вижу, изо всех сил стараюсь не осквернить свои удивительные губы матерным словом, берет меня за руку, не переставая тараторить, и жар ее молодого тела ощущается на расстоянии.

— Завтра, завтра... всех соберем... Ты, вижу, мужик справный (первый раз в жизни меня называют мужиком)... Ни к черту мужик не годный, когда усталый и голодный... Идем ко мне, я накормлю и напою, я ведь молочница... Знаешь песенку: хорошо тому живется, кто с молочницей живет, молочка всегда напьется... Эй, привет, старая ведьма, думнеззу мэте * , — окликает она какую-то усохшую бабу со следами былой красоты на лице, изборожденном глубокими морщинами, идущую нам навстречу по тропинке, — тоже молочница, видал, до чего доводит ваш брат, мужик, молоко из бабы выпьет, а ее выбросит, как горшок-кринку с под кровати... У меня они все во где, — она сжимает кулак и произвольно стискивает другой рукой мои пальцы.

Ей можно поверить.

Заводит к себе в дом. Какие-то недопроявленные лица, мелькающие в нем, с ее появлением совсем исчезают, испуганно прячась по обочинам. В горнице, где мне предстоит переночевать, чисто, полно домотканых в цветную полоску ковриков и подушек, заявляется и она, в расшитой сорочке, и вправду какой-то дикий колючий цветок среди всей этой грязи, приносит брынзу, хлеб домашней выпечки, лук, молодое вино. Пытаюсь втолковать ей, что вина еще никогда не пил, не люблю и не могу, это срывает ее наповал.

— Ради меня, — говорит она, — хоть глоточек.

Выпиваю полстакана и сразу начинает шуметь в голове, все вокруг блаженно кружится, пытаюсь что-то сказать, но губы лишь распускаются в глупой улыбке. Остальное помню сквозь туман: укладывает меня, как младенца, укрывает, касается шершавой ладонью моего лица, говорит:

— Какой ты еще молоденький...

После собрания ведет она меня в правление: оттуда грузовик едет в Каушаны. Усердно месим грязь. Стараюсь не отстать от нее. В каком-то закоулке она вдруг останавливается. Налетаю на нее. Резко притягивает мою голову, целует в губы. Не успеваю опомниться, ее и след простыл. Вот дурная девка.

Спустя неделю Прилуцкая мне говорит:

— Вот, привезли тебе, смотри, свежую брынзу, сыр, яйца... Какая-то молдаванка... А файер **... Красивая... Ой-ой, расскажу

* ...в бога мать! (молд.)

** Огонь. (Идиш)

твоей маме...

Время от времени я обнаруживаю опять и опять дары молочницы. В райкоме смеются: вскрыл девке голову.

Так я ее больше ни разу и не увидел. Только однажды оказался в райкоме, когда она позвонила, мне силой втиснули в руки трубку, но она так слова не выдавила, только и слышно было, как вокруг нее смеются ее подруги, да и я стоял с трубкой в руке красный, как рак: дело в том, что среди присутствующих была Лиля Ремез, девушка из еврейской семьи с румяным лицом и глазами овечки, испуганная комсомольская активистка, страх которой в эти дни был мне понятен, и я даже дважды провожал ее поздней ночью с каких-то убивающих скукой мероприятий, где мы обязаны были присутствовать, в наголо выстуженной ночи из-за туч все пыталась и не могла выскользнуть луна, мы стояли у ее дома, неуклюже обнявшись, в толстых наших одеждах, но это скорее было объятие двух существ, ощущающих свое сиротство в мире: только ей единственной я излил душу, только она знала, что со мной произошло. Она умела слушать. Овечьи глаза ее были печальны, даже когда она смеялась.

Говоря по телефону, вернее, помалкивая с Ветрич, я видел себя со стороны глазами Лили, я вообще в эти дни часто вздрагивал, внезапно представляя, как видят меня со стороны, особенно после того, как однажды забрался в поздний ренийский поезд, чтоб ехать до Бендер после посещения какой-то обеспамятевшей в болотах и бездорожье деревеньки, забрался в залепленных грязью сапогах, весь в поту от долгой ходьбы до станции, и вдруг очутился рядом с девицей, которая вынырнула из натопленной темноты вагонного коридора на каблучках, обошла меня с грациозностью лани, а быть может, пантеры, села в углу, около окна, поглядев на меня отчужденно-внимательным взглядом, и я вздрогнул от мысли: каким я должен отражаться в ее глазах такой, какой есть, вынырнувший из хлябей и хлевов, — нежно и боязливо в зрачках лани, хищно и агрессивно — в зрачках пантеры, или наоборот, ибо ланям грезятся сильные, а пантерам боязливые, и вдруг понял, что все мои мысли, как самоуспокоение, попытка негодными средствами соединить несоединимое — грациозную девицу и меня, вот уже полгода как погружающегося в навоз, несмотря на то, что официально я значусь не более и не менее преподавателем русского языка и литературы в молдавской школе.

Девушка исчезла вместе с поездом, словно бы стертая лапой тьмы с доски ночи, и, оставшись на пустом перроне, я вдруг ощутил страшную опустошенность: я ведь абсолютно не знал, что ждет меня завтра и, судя по предчувствиям и реальности, ничего хорошего.

Странно мне было думать, лежа в привычной с детства постели под покосившейся стеной родного дома, что всего каких-то несколько часов назад я брел по беспамятным волчьим местам, уже по-звериному привыкший ориентироваться в непроглядной, насто-роженной и опасной тьме, а затем — высоко поверх насыпи — небесным видением скользнула девица, и, как зверь, вылезший из навоза и беспамятства и увидевший это чудо, я сгреб девицу за-гребущими лапами тьмы и унес в сон, который тут же обернулся кош-марами и тревогой, сворой тварей — козлов, мышей и тараканов — преследующих меня с моей добычей, и я вскочил в знакомой постели с бьющимся сердцем и страшным подозрением; я вдруг кожей и захолонувшим дыханием ощутил: все, что со мной прои-зошло в последние месяцы — не сон, не вымысел, а дело нешуточное, и от этого просто так не отвер-теться.

Вот, что было ново и страшно: раньше всегда был закоулок, изгиб, по которому можно было отвертеться. Теперь же все было доотказа заверчено через мой позвоночник, ставший частью винто-вой лестницы в темных закоулках Политеха, продолжающей свер-лом своим буравить набегающие дни.

Оглядываясь назад через десятилетия, думаю, что та ночь была донным часом моей жизни, стиснувшем своими мертвыми нераз-гибающимися пальцами мое горло, и никто не мог мне помочь, хотя рядом спали мама и бабушка, и можно считать чудом, что я вырвался из этих мертвых объятий и не потерял рассудок.

Помню, какое-то время после этого я пребывал как бы в оце-пенении: работал, машинально поглощал пищу в чайной, подымал-ся в лесок на скалистый горб, торчащий посреди степи над Кауша-нами, безучастно часами не отрывал взгляда из окна в домике Прилуцкой, прикованный к зрелищу: два мужичка в низине суети-лись вокруг одинокого старого дерева, махали топориками, пытаясь его вырубить, и непонятно было, чем оно им мешало в этой гладкой и плоской уныло тянущейся в даль низине; мужич-ки кузнечиками прыгали вокруг ствола, топорики отскакивали

от корней, дерево печально и щедро роняло экзекуторам на головы остатки прошлогодних листьев, обрывки ветвей.

Грунт был исчервлен ходами, сух, как черствая запеканка. Прилуцкая терла хрен, он торкался в терку.

Начало марта нахлынуло неожиданной не ко времени оттепелью, решетчатые отверстия в торцах мостовых, канализационные глотки захлебывались грязными потоками, несущимися с захлестом вдоль торцов, я простыл, с температурой тридцать семь и восемь лежал в углу под радиоточкой и ходиками с гирей, внезапно насторожился: голос Левитана усилил и без того сильный озноб в теле: Сталина хватил удар — это я сразу понял из нудного наукообразного медицинского заключения, которое читалось грозным с легким трагическим надрывом голосом, знакомым каждому существу в заледеневшем пространстве одной шестой земного шара. Самое странное и смешное, отчетливо на всю жизнь запомнившееся, что у отца народов и у меня в этот миг была одна и та же температура.

Озноб прошел. Такие встряски лечат посильнее всяких лекарств. Несмотря на отговаривания Прилуцкой, я встал, оделся потеплее, терпеливо дождался автобуса: такое событие можно пережить в полной мере только в родном углу и среди самых близких.

Было пятое марта пятьдесят третьего года, евреи тайком ели пуримские "озней аман"*. Полуденный город, весь в тающих снегах, полный звонкой капели, был пуст. Я абсолютно выздоровел, я брел по пустынным гулко-солнечным улицам под звуки мрачной пятой симфонии Бетховена, лившейся из репродукторов: природа вместе с музыкой просто исходила слезами, но были это слезы горя или радости — решалось в человеческой душе.

В газетах антисемиты распоясались вовсю.

...Ужас и отвращение становились хроническими. Дыхание погрёма подступало и охватывало весенним плотным туманом, пахнущим углем, намокшей одеждой, жженой резиной, вонью из подворотен, запахом гниющих досен преподавателей в учительской, которые опять и опять говорят о евреях, о евреях, главным образом, о врачах, опять же евреях, которые уж на что святую профессию — и ту превратили в преступную. И забившись в угол, печально улыбаясь, поглядывает на меня беспомощно

* "Уши Аммана" — треугольные пирожки, пекущиеся на Пурим. (Иврит)

преподавательница французского, зачумленная жизнью и своими учениками еврейка Сарра Львовна, а шумно глотающий слюну Гитлин, несмотря на тяжелую поступь грузчика, бесшумно проскальзывает в свой директорский кабинет и тихо отсиживается там до конца занятий, боясь даже давать указания уборщицам.

...Было четвертое апреля: опять надо было вставать затемно, преодолевая отвращение, топтать по грязи до улицы Суворова, голосовать попутную, рискуя каждый раз быть обрызганным с ног до головы; день обещал быть особенно мерзким — ни солнце, ни дождь, а какая-то замерзшая в воздухе липкая морось. Подняв воротник пальто, привалившись к борту кузова, примыкающего к кабине, согнувшись в три погибели, тряся я по кочкам, и поездка на этот раз была какой-то особенно долгой и изматывающей.

Войдя в учительскую, я не понимаю, что происходит: Сарра Львовна, несчастная Сарра Львовна сидит посреди с беспомощно-наглой улыбкой, такой чуждой ее измученному лицу, держа на вытянутых в пространство руках газету, а вся преподавательская шатия-братия, какая-то невероятно почерневшая, пригнулась вдоль столов, уткнув носы в бумаги, похожая на страшнó нашкодившую школьную братву или захваченных на месте преступления уголовников.

— Вы читали? — говорит мне Сарра Львовна.

Ничего не понимая, беру все ту же, будь она неладна, “Правду” и залпом прочитываю:

“...Проверка показала, что обвинения, выдвинутые против перечисленных лиц, являются ложными, а документальные данные, на которые опирались работники следствия, — несостоятельными. Установлено, что показания арестованных, якобы подтверждающие выдвинутые против них обвинения, получены работниками следственной части бывшего Министерства Государственной Безопасности путем применения недопустимых и строжайше запрещенных советскими законами приемов следствия”...

По списку фамилий понимаю, что все оставшиеся еще в живых врачи освобождены.

Чувствую, как опять мертвые неразгибающиеся пальцы стиснули мое горло; шатия осторожно, исподтишка, словно бы ожидая заслуженного удара, поглядывает на меня.

— Ах, суки, — только и смог выдавить я, глядя на их мерзко-униженные рожи, осторожно, как взрывчатку, кладу газету на

стол, медленно, очень медленно иду к двери, чувствуя, что все еще никак не могу вздохнуть, тихо прикрываю ее, и вдруг бросаюсь наружу.

Я бегу, как очумелый, хотя мне страшно нехватает воздуха, я расстегиваю и разрываю на ходу все, что на мне, огромный камень, так явственно ощутимый в груди, давит изнутри на горло, слезы текут по лицу, не переставая, я бегу, пугая прохожих, ибо так бегут лишь на пожар, бросаться под колеса поезда, потеряв рассудок; все копившееся во мне унижением, страхом, козлюченко-добровольски-козляковское, валтасарова надпись на стене в мерзкой паутине каушанских переулков, фельетон крокодила Вас. Ардаматского, прыгающий в руках двуногой твари, вдохновенно ощущающей себя центром скопления таких же тварей, исходящих бешеной слюной в жажде кромсать себе подобного лишь за то, что он еврей — все взорвалось во мне в единый миг с сообщением о кровавом навете; ведь их безвинность косвенно была и моей безвинностью; сдавленные звуки, похожие на плач, вырываются из горла; в сумеречном состоянии не замечая, как очутился на открытой старой полуторке; я стою во весь рост, захлебываясь холодным ветром, скребущим лицо, как наждак, не вытирая слез; это приступ, один из тех редких сотрясающих все существо приступов, который и после того, как все внутри выжгло и выплакалось, еще в силах выжать слезу.

В эту безумную поездку я застудил гайморовые полости, и долгие годы потом мучали меня сильные головные боли, связанные с гайморитом.

Природа, как и время, залечивала раны.

Я завершал свое учительство, снимался со всех учетов, кроме военного, прощался с Посларем и Гудумаком, Прилуцкая всплакнула на прощанье, Гитлин, с невероятным шумом пуская и глотая слюну, отсчитывал мне мою последнюю зарплату вместе с отпускными, и, казалось, он падает в обморок с каждой уплывающей из его рук кредиткой. Небрежно засунув пачку денег в боковой карман пальто, я вольно гулял по Каушанам, последний раз посещая памятные места, шатался по лесу, — и стоял он, захолонув, никого не боящийся, заросший по брови, как леший, прошлым, наплевательски глядящий на мелкую икриную суету людей, он-то все помнил: говорили, где-то здесь немцы расстреливали евреев, русские кого-то зарывали, спешно увозили — чи-то ставни еще

хранили щели, в которые обезумевший человеческий глаз все это видел.

Дома сносило страхом, а лесу — все нипочем.

Сошли вешние воды. Сухой шорох засохших с осени трав, шалаш мой в нашем дворе, пожухший, как Стожары в небе, земля, дымящаяся на солнце, встречали меня, и все еще не верилось, что голые кусты сирени когда-нибудь смогут оклематься и начать исходить лиловой пеной свежести и влаги, пробуждения и надежд.

Но наступало утро, и распутившаяся словно бы спросонок сирень казалась обалдевшей, пьяной, с охачкой-шапкой набекрень.

Май был летуч и легок.

Еще душило приторной сладостью цветение лип, но тополиный пух, носящийся в воздухе тихим безумием после страшного погрома, невидимо длящегося вот уже более полугода, когда, кажется, потрошат окровавленными ножами тысячи скудных еврейских перин в поисках сводящих с ума несметных богатств, уже оседал, забивая щели, уносясь дождевыми потоками; и все, оставшиеся в живых после погрома, выползали погреться на солнышко: врачи, вернувшиеся из застенков с черными кругами вокруг глаз от пережитых ужасов, герои мерзких фельетонов, которым, конечно же, извинения не принесли, еврейские мальчишки, не принятые в институты, которые, боясь потерять год, хлынули, особенно из Черновиц, в бендерский гидромелиоративный техникум, а теперь подумывали, куда податься.

Яша Копанский, на три года раньше меня закончивший нашу школу и всегда мне покровительствовавший, ныне секретарь комсомольской организации историко-филологического факультета Кишиневского университета, пытался сделать все, чтобы меня приняли, красочно расписывая начальству мои таланты, чтобы ореол этих описаний затмил в их глазах все же нестираемое клеймо на моем лбу. Решено было: подаю на геологический. Волчья яма прошедших месяцев жизни все же не вышибла из меня романтических надежд и, казалось, никакая иная профессия столь не близка к поэзии, как геология.

В поезде на Кишинев было немного пассажиров. Белые волны каких-то цветов вдоль перронов Бульбоки, яблоневого сада и виноградники, несущиеся вдоль полотна, заливали вагон волнами безмятежной свежести, и все были в нее погружены настолько, что не слышно было человеческой речи.

Я шел вверх, по улице Бендерской, мимо достраивающегося стадиона на бывшей Сенной площади, к общежитиям университета. Миновав скверик с клумбами цветов перед входом, я вошел в вестибюль, откуда на верхние этажи вела тяжелая, каменная, с лепными украшениями лестница. Яшу мне следовало дожидаться в вестибюле, но было еще очень рано и я заглянул в буфет, за прилавком которого, в углу, возилась буфетчица. Я попросил халвы и бутылку "крем-сода", но она даже не отреагировала на мой голос. Я повторил просьбу.

— Да замолчи ты, — вдруг зло окрысилась она, — не слышишь, что ли?

Тут лишь я заметил, что на прилавке стоит обращенный тарелиной кверху репродуктор, откуда неслись бубнящие, столь привычные для уха звуки. Я напряг слух, ловя отдельные слова, столбенея все больше и больше:

"...Берия... враг народа, шпион, прислужник мирового империализма..."

В буфет вошел мужчина в форме МВД купить сигарет.

— Ну, — сказал он, обращаясь ко мне, — что скажешь? Лаврентий-то наш Палач, а?

— Лаврентий Палыч? — выдавил я, удивляясь, как язык мой в присутствии тюремщика вслух проворачивает это имя.

— Ну да, изменник, враг народа, собака... Так-то...

Слова это были или какие-то смещения земной коры, произнесенные устами раба, топчущего вчерашнего своего кумира, но ничего вокруг не пошатнулось, не рухнуло.

Документы в приемной комиссии принял парень с порченным глазом по фамилии Скуртул. Яша пожал мне руку, хотя сомнения все еще одолевали меня.

Я вышел из желтого здания первого корпуса на полукруг широкого парадного крыльца, перед которым в тени зелени был небольшой круглый фонтан, бьющий слабой сверкающей на солнце струей воды, и вдруг — с невероятной остротой, какая бывает, вероятно, раз в жизни — ощутил, как в зрительную мою память навсегда врезается и этот фонтан вместе с листвой деревьев, и масса парней и девушек, по уверенным лицам которых видно, что они уже давние студенты, и за всем этим — незнакомая, манящая, предстоящая мне, если Богу будет угодно, жизнь, полная молодости, скрытой прелести и чувственности, и все это подобно музыке, неслышно растекающейся от падающей во все стороны струями

водяной арфы фонтана, музыке, полной надежд и обещаний, звучащей такой простой, но сотрясающей всего меня истиной, что коли уж родился, жизнь дана тебе, как подарок.

Клеймо на лбу продолжало слабо ныть, как бывает к плохой погоде.

“Мы были молоды” — в этой магической фразе вся правда тех лет.

Страх не исчезал, ибо существовал иной, безотрывно следящий за тобой мир: искусно отделенный от твоего мира твоей же жадной не знать о нем — тот мир был этим и всемогущим, насмешлив, демоничен, хотя и соткан из самой что ни на есть мрази, человеческих отбросов, провокаций и угроз.

Но вот в такой солнечно-эллинический, такой удивительный день рухнул с трона главный идол того гнусного мира, стал тем, кем и был на самом деле — обыкновенным человеческим дерьмом, подонком, который, вероятно, получит пулю в затылок в одном из им же изобретенных для тысяч других коридоров смерти.

И ты дождался этого.

Еще не успевший вступить в жизнь, уже трижды битый и топтанный, я шел по улице, повторяя про себя тючевские строки, такие высокие, повисшие вечным звучанием на Олимпе и, казалось бы, абсолютно не касающиеся меня:

Блажен, кто посетил сей мир

В его минуты роковые:

Его призывали всеблагие

Как собеседника на пир...

Американскому научно-исследовательскому институту
“ДЕЛЬФИК”

для подготовки обзорных монографий по научному и техническому прогрессу в различных областях

т р е б у ю т с я

недавние эмигранты из СССР (с надежной научной и профессиональной характеристикой).

Работа оплачивается.

“Куррикулум вита” направлять по адресу:

Delphic Associates, INC., 7700 Leesburg Pike, Suite N° 250, Falls Church, VA 22043. USA.

СТИХИ

* * *

Есть высший смысл в таинственности сути,
В суровой неизбежности конца,
В том, что всегда нас беспристрастно судит
Незримый Суд, нам не открыв лица.
Нас не смутит ни отзвуком, ни тенью,
Не держит он наизготове меч.
Нам выбор дан от самого рожденья,
И этим мы не вправе пренебречь.
Мы ж тщи мся вечность разменять на годы
И заменить поступками дела,
Божественность — законами природы,
Поэзию — бессмысленностью оды
И обогреть не души, а тела.
Не мечут Судьи возмущенных молний,
Не шлют депеш, срывая провода.
Сменяются века, событий полны.
Они же, неподкупны и безмолвны,
Взирают в небеса, на твердь и волны —
И с нами их святая Правота.

* * *

В предутренний, короткий крайне,
Час угасанья звезд и лун
Меня еще не обокрали,
Еще никто не обманул,
Ни с чьим я не столкнулся гневом.
Распахнут, словно белый лист,
Перед людьми и перед небом
Еще я абсолютно чист.
Все принципы мои и кредо

Еще во власти внешних сил.
Я никого еще не предал
И никому не изменил.
Еще все спят. Земля кружится.
Когда ж взметнется солнца диск,
Чему положено свершиться —
Должно случиться и страстись.
Промчится день в трудах-заботах,
Созреет хлеб, растают льды,
И мы вернемся — кто с работы,
Кто со свиданья, кто с гульбы,
Из дальних странствий, с магистралей —
В село, в столицу ли, в аул.
Глядь: а кого-то обокрали,
Кого-то кто-то обманул.
Вокруг моих знакомых лица.
Но в друг под маскою лица
Прорежется оскал убийцы
Или ухмылка подлца.
Все это, к сожаленью, будет.
Бдит в ожиданье воронье.
Пока ж все спят. Пусть не разбудит
Их подозрение мое.
Все спящие благословенны.
Пред ними — даль. Над ними — высь.
Они — безгрешны.
О, мгновенье
Прекрасное, остановись!

ДОМА

1. Биркет-Рам

Недействующий кратер,
Мерцанье талых вод,
Помост, сторожка, катер,
Рыбак и небосвод.

А в отдалении чинно
Глядят со всех сторон

Скалистые вершины,
Заснеженный Хермон.
Дорог крутые ленты
Летят то вверх, то вниз.
Здесь мифы и легенды
С былым переплелись.
Убийцы и пророки
Здесь находили кров,
И горных рек потоки
Текли, смывая кровь.
В борьбе противу скверны
Сходились — рать на рать
Неверные неверных
За веру убивать.
Века катили мимо
Событий колесо,
Решая судьбы мира —
Истории лицо.
Когда ж стихали войны,
Струилось по горам
Степенно и спокойно
Дыханье Биркет-Рам:
Недействующий кратер,
Мерцанье талых вод,
Помост, сторожка, катер,
Рыбак и небосвод.

2. Эйн-Авдат

Здесь нет шоссе. Здесь каменистый тракт.
Машина скачет, бьется об уступы.
И, словно ритмам сатанинским в такт,
Глухую дробь отстукивают зубы.
Ни деревце не встретится, ни куст —
Лишь камни да песок в степи бесплодной.
Зигзагами стремительными спуск
Уводит вниз, в жаровню преисподней.
Еще зигзаг, еще один бросок.
Встает отвесность, подступает близко.

И вдруг дорога, щебень и песок
Кончатся под сенью тамариска.
А дальше, меж сбегających стен,
Ущелье, словно в доброй старой сказке:
Там лягушонок, спрятавшийся в тень,
Сидит за камнем на зеленой ряске.
Вода и зелень, зелень и вода.
Паренье птиц в голубизне высокой.
И серны, приходящие сюда,
Чтобы попить и пощипать осоку.
Они проходят в нескольких шагах.
Движенья грациозны и не быстры.
Они не знают, что такое страх,
Не ведают, как гроыхает выстрел.
Они глядят, как человек присел,
Прищурился, со лба откинул челку,
Как взвел затвор, как взял их на прицел,
Вдох задержал и аппаратом щелкнул.
Они сюда приходят поглядеть
(Как мы — в музей на редкие полотна) ,
На чудом сохранившихся людей —
Людей, не убивающих животных.

ТВОРЦЫ

Дыханье лет, как своры гончих,
Все ближе слышу у плеча,
И все бросаю, не закончив,
А часто — даже не начав.

Я как-нибудь перезимую,
Не дотянувшись до вершин.
— Но вот ведь Шуберт: он Восьмую
Так до сих пор не завершил! —

И Провиденье промолчало —
Впервые на моем веку.

А мне — такое бы начало! —
Хотя бы первую строку!

Пройтись по клавишам потертым,
А после: в зале при свечах
Его вступительным аккордом —
Одной бы ноткой — прозвучать!

Мне б только миг его горений,
Мгновенный всплеск его огня...
Звучит Симфония. И Гений
С гравюры смотрит на меня.

* * *

Мне нравится писать стихи,
Блуждать в словесных лабиринтах,
Как будто бы искать в степи
Одну заветную тропинку.
Пытаюсь я проникнуть в звук.
Чуть поворачивая фразу,
Я обнаруживаю вдруг
Срез для гранения алмаза.
В перестановках слов и строк,
В их кажущемся беспорядке
Вдруг нахожу порядок кладки —
И он внезапно нов и строг.

А впрочем — это ложный след:
Терзать себя в пустой надежде! —
Стихи готовы были прежде,
Чем появиться им на свет.
Стихи — не плод мирских тревог,
Людских терзаний и горенья:
В один из первых дней творенья
Их вместе с миром создал Бог.
Они, как воздух, как вода,
Как хмель — безумствуют и бродят,
Они везде, они всегда:
В мужчинах, в женщинах, в природе.

И есть на ком-то высший знак.
И лишь на нем одном. И — точка.
Придет однажды Пастернак
И нам подарит эти строчки.
Он их возьмет из кутерьмы,
Из дыма, из навозных грядок —
Возьмет оттуда, где и мы
Бродили многократно рядом.
Он их подарит нам, как сад
Дает нектар — пахуч и сладок —
Или как дарит водопад
Каскад потоков, брызг и радуг.
Он их оставит на земле,
Как вечный зов души и тела...
"Свеча горела на столе".
И — словно вздох:
"Свеча горела"...

А я сижу, пишу стихи,
Мечусь в словесных лабиринтах
И все ищу свою тропинку
В давно исхоженной степи.

И. Войтовецкий (р. в 1937 г.) — инженер, в Израиле с 1971 г., печатался в журналах "Сион", "Посев" и др; живет в Беэр-Шеве.

НОВЫЕ КНИГИ В ИЗРАИЛЕ

Роман Марка Зайчика "Сделано в СССР" можно заказать по адресу: М. Зайчик, ул. Кашани 17/5. Мизрах Тальпиот. Иерусалим, цена в мягком переплете 19 шек., в твердом — 24 шек.

Заказы на книгу Михаила Агурского и Маргариты Шкловской "Максим Горький. Из литературного наследия. (Горький и еврейский вопрос)" направлять по адресу: Р. О. В. 7422, Jerusalem 91073.

ЖИВОЙ УГОЛОК

Чиновник

Все и вся угрюмое ничто,
вздор, провинциальный анекдот.
Скажем, у чиновника пальто
ни один босяк не умыкнет.

Не напишут повесть по нему,
буква А не удлинит строку.
Разве девка пляжная в Крыму
за трояк потрафит дураку.

В Ленинград вернется он, в архив.
Без печали, памяти и зла.
Ни один неслыханный порыв
биография ему не принесла.

Умер он. Морковка, ничего,
черновик, бездарная строка!
Так давайте ж выпьем за него —
очень жаль морковку-дурака.

сентябрь 1987

Домашний зверь

На Востоке я так долго живу,
что мне кажется — не наяву,
не взаправду, а понарошке.
Только присутствие кошки
успокаивает меня как-то.
Кошка в доме является фактом:

то налейте ей молока
(замечаете, вы живете, пока
она пьет) , то ей двери
отворите или, скажем, окно.
Словом, домашние звери
мне по сердцу давно.

май 1988

Синица

"И она не поет..."

Жак Превер

На столе моем книжка лежит "Максимка",
на стене моей Таньки висит картинка,
на кровати моей проживает тело,
а вот чье оно — это не ваше дело.

Этих слов наигранная минорность
(может быть потому, что хамсин не норд-ост)
навевает скорее тоску, чем скуку.
Вот синица в руке. И синица не радует руку.

Расходилась словами рука.
(Но как низко она летает!)
Только высь потолка —
и прыжок не спасает.

Этих слов не набат
нашептала отнюдь не муза —
твой рассеянный взгляд
и в слезах письмо из Союза.

Не заладилось ввысь —
мне привычней домашний словник.
Кот мой злобен, как рысь,
и красив, как герой-любовник.

Он царит над столом,
он синицу сейчас прикончит.
Оставляю стило,
потому что писать не хочет.

август 1988

Муравей
(апология)

Вот муравей на грифельных ногах,
вот муравей — чудовище стальное,
в ком тело гладкое торчит над головою,
как жерло сладкое в восторженных очах
У комсомолки, что еще вчера
по пьянке заловили мусора.

Но я о муравье — а он грядет!
Вот он застыл, вот он чего-то тащит.
Что может быть возвышенной и слаще,
чем муравья крылатого полет!

Его усы, его высокий лоб,
вся матовость его, его огромность!
Он вольтерьянец, он, конечно, сноб —
что перед ним хваленая духовность
людской породы — скверная игра:
все пьянки, комсомолки, мусора.

А. Верник — поэт, автор книги стихов "Биография".

ЖИТИЕ ЙОШЕ КАЦА ИЗ ТЕЛЬШ

Старый Йоше приоткрыл глаза и вслушался в темноту. Не было света в глазах старика, а в комнате веселилось зимнее солнце. Йоше ощущал его тепло, и темнота казалась приятной. Утреннюю темноту любил Йоше, а холодную, ночную не выносил. Была она, ночная темнота, слишком долгой, и ползали в ней скользкие, липкие, плохие мысли.

— Баська! — булькнуло у губ. — Баська! — свистнуло за кадыком. — Баська! — вырвалось, наконец, наружу.

От напряжения вспыхнула заснувшая было боль в паху, стала жечь и саднить, вспухать стала, как нарыв. За дверью запищали, застонали половицы. Бесформенное пятно возникло в дальнем углу, стало приближаться. Как они радовались, когда родили дочь, как радовались! Трех сыновей дала ему Фрида, и он, Йоше был горд, весело копался в мокрых пеленках, пьяный от счастья и от водки, правил подводой, на которой сидел важный мозель, лучший мозель в Шавлях, самый быстрый... Как он поднимал их, его сыновей, этот мозель — сзади, за пеленки, как солдатиков, выставлял на обозрение, и женщины ахали, а мужчины смеялись при виде торчащего из-под кружевной рубашечки чубчика, обмотанного чистой тряпичей в капельках крови. Но Фрида хотела дочь, и Бог, наконец, дал дочь, напоследок. Йоше не копался в пеленках, не пил, не запрягал коня, не ехал за мозлем. Стоял в ногах кровати, глядел молча на тугой сверток, и было в нем... как перед приходом субботы, как в саду перед закатом солнца, как дождь в пруду, летний дождь на тихой воде — так было в нем. Хорошо помнил Йоше, как все было, и с каждым днем помнил все лучше. Чем меньше оставалось в нем ежедневной мути, тем чище становилась память...

Назвали девочку Басей, по Фридиной матери назвали, так было хорошо, правильно — сиротой росла Фрида, но все же... все же надо было назвать Бася-Мирьям, так надо было. Вот ведь — нет его матери, давно нет, и имени после нее не осталось... А тогда она была жива, но не было ее для Баськи, не было для мальчиков, не было для Йоше, а для Фриды и подавно! Все из-за денег, из-за почета, а кому достались те деньги? И почет никому не достался! Ах, приятно вспомнить, приятно и страшно, совсем как тогда...

Повели Йоше свататься к богатеям Страхам. Так родители решили, а ему было все равно, тогда еще было совсем все равно. Сидел он, важный, надутый, в обитом малиновым плюшем кресле, напротив самого Страха сидел, и Страх с ним, с молокососом, ласково разговаривал, всякие майсы рассказывал... И вдруг зажал сердце, крутануло, будто вырвать его хотели с мясом... Такая девушка вошла, такая... С подносом она вошла, и с улыбкой, а в глазах горел огонь, во всех жилах горел, в каждой извилине. Страх даже головой не покивал, будто никто и не заходил. Потом узнал — Фрида ее зовут, бедная приживалка она у Страхов, дальняя родственница... А ему вывели из задних комнат перину, большую, белую, полную пуха Рейзл, дочь Страхов вывели, и он, Йоше, ее не взял. Сейчас и то трудно понять — как он осмелился, как получилось у него! Фрида стояла перед глазами, стояла и не уходила, как наваждение. Отец... ну, хорошо, он человек крутой был, бывший балагула... нет, не деньги Страха нужны были ему, денег у Каца было, пожалуй, побольше, чем у самих Страхов; почет, ковед — вот что нужно было отцу, место в синагоге, за праздничным столом, дверь в дом Страхов и в другие уважаемые дома мог открыть ему Йоше — и не захотел. Не захотел! Теперь от той, отцовской обиды, сжалось сердце — ай, нехорошо получилось, нехорошо. Всю жизнь старика, все его надежды, все скинул тогда, как крошки со скатерти... А мать... ну ей разве не было больно?! Уже видела себя в модном платье и в шляпе... тогда носили такие смешные шляпы — зонта не надо было... в обществе мадам Страх, мадам Резник, мадам Сударски... Да, теперь он понимал их, а тогда не мог понять. Ставни в их доме были закрыты, когда вел он Фриду, молодую свою жену, по главной улице Шавлей к дилижансу. Все окна были раскрыты настежь, из всех окон высовывались, только в их доме, и в доме Страхов...

С пустого места они начинали, почти с пустого. Берке Кац, хозяин извоза в Тельшах, помог. Буйный дядя Берке, кто мог бы подумать! Своих детей у него не было, поэтому... а, может быть, потому, что отец его в дом не пускал, стыдился. Сейчас не узнать, почему, отчего. В честь дяди назвали первого сына. Берке его на коленях держал перед мозлем... а потом какое гулянье устроил балагула! Какое гулянье! Но Фрида и старого пьяницу к рукам прибрала, по-хорошему, по-умному. Она все могла, его Фрида! Какой дом она ему вела, какой дом! Ночью приезжали, бывало, заказчики издалика — ночью полный стол. могла вы-

ставить Фрида. Рыба такая, и рыба другая, и пироги, и мясо, и айнгемахц! Лучшие айнгемахц в Тельшах. А когда какой-нибудь праздник подходил — к кому бежали женщины за помощью? К Фриде они бежали. И приглашали их в лучшие дома, хотя не так уж они были богаты. Но и не бедны, нет, не бедны. “Мебельная мастерская Каца, по заграничным образцам”! Из далекого Мемеля приезжали, из самого Ковно, отовсюду. Фрида и счета вела, и за работниками следила, заказы принимала, советовала... Все она могла, все умела! Трех сыновей дала ему — трех мастеров. Нет, Фрида хотела иначе: одного послать учиться на врача, второго — на инженера, третьего — на счетовода. “А дело кто будет продолжать?!” — злился Йоше. “Зачем его продолжать? — смеялась Фрида, — будем работать, пока силы есть, а потом сдадим в аренду и будем кататься, как гвиры, — месяц у Берале в Ковне, месяц у Мойшале в Гродне, два месяца у Довале”. Ну, а насчет Баськи беспокоиться было нечего: такое приданое соберет ей Йоше, что возьмет бедного — тот не пожалеет, захочет богатого — никто не поморщится!

Так думали они, так рассчитывали, а вышло — иначе. Вот спрашивают — кого считать счастливым? По-разному люди отвечают. А Йоше бы сказал — счастливый человек, кто свои халеймеснаяву видит. Помешал он снам своих родителей осуществиться, Бог и ему не дал порадоваться. Так получается, так... Пришли страшные слухи, страшные времена, тревожные сны. Вышел он как-то на крыльцо до света, принюхался к запаху восходящих из грязи трав, тихо было во дворе, даже куры не трепыхались, еле ползли по небу облака... А из-за леса, из-за станции, издалека, гул доносился — не ветер, не гром, не летний дождь. Вышла вслед за ним Фрида, вынесла тяжелые узлы, сложила подле резных перил. — Ехать надо, Йоше, запрягай коня! — Куда ехать, Фрейдале, куда? — Спасать детей надо. — А это все, это все — своими руками, камень к камню, день ко дню, грош к грошу?! — Спасать детей надо, Йоше, запрягай коня!

Долго ехали, катились в волне таких же, как они ...катились, голодали, глотали дорожную пыль. Вынесло их на берег... грязных, разутых, раздетых. Язык чужой, люди чужие, порядки чужие, какие порядки, не приведи Господь! Много раз думал тогда — зря послушался женщину, хуже нигде быть не может. Потом оказалось — может! Вот только Фрида не дожидала — ушла, унесла с собой обиду, упреки его унесла. А! Виноват он перед

ней, кругом виноват. Ему ее беречь надо было, пуще всех беречь — а он ее работать послал, в совхоз послал... Ушла она как-то в обед — и не вернулась. Потом говорили — бандиты, чуваши, Бог знает! Боялся Йоше по тем временам, в местах тех, — боялся голос поднять. Страшной смертью умерла Фрида. Вернуть ее — не вернешь, а дети сиротами остаться могут. Убьют и его — что будет с детьми? Смолчал Йоше, похоронил, как гойку, кадиш некому было читать, крест только отказался ставить, простой камень навалил, под простым камнем лежит Фрида. И остался с детьми. Мальчики вышли в люди, мальчиков он, с Божьей помощью, вытаскивал, а Баську — не смог. Подбрасывал ее в чужие гнезда — не принималась она, не вытягивалась, не хорошела. Так и осталась бесформенным комком, бессмысленным, бездумным. Надо было свить новое гнездо, надо было начать заново — не смог он, не тянуло его к женщинам, попробовал раз, попробовал другой — опозорился. Ушла Фрида и забрала с собой всю силу из его чресел, по уши в позоре лежал он, женщины уходили, а без них не было дома. Сыновей кое-как вырастил, а перед Баськой остался виноват. Это ты, Баська? Одевайся, причешись. Время пришло, нельзя больше откладывать. Замуж пойдешь, купим тебе мужа, за хромого Семена пойдешь, торопиться надо. Ухожу я... Со мной нельзя, хорошо бы, а нельзя... время не вышло... не вой, не ори... Якову позвони... номер я тебе скажу... повтори... не так, не верно... подойди к нему, ногами ...слышишь? Ой, горе мое, нельзя тебе одной оставаться...

Хороший торг вел Яков, длительный, подробный. Хорошо торговался Яков, правильно, солидно. Семен в углу сидел, чуял его Йоше, слышал, как тот пузыри пускает, губу оттягивает. Не будет детей у Баськи — хорошо, кому за ними ухаживать? Не мужчина Семен — и не надо, главное — будет у нее свой угол, свой тюфяк, своя забота... Прибавил Йоше к цене, которую назначил. Ничего, еще и осталось — на похороны, на камень.

Ушел Яков, забрал с собой Семена и Баську, в загс повел. Хупы не будет — не надо хупы... теперь другие времена. Хотел было вызвать сыновей — и раздумал. Не по ним Семен, не по ним Баська, опозорит мальчиков. Разве такая сестра им положена, такой шурина, такой свояченица? Как-то там еще будет, в загсе, запишут ли их, Семена и Баську? Раньше надо было это сделать, опоздал он, ой, опоздал!

Услышал вдруг звон посуды, Баськин смех, чужие голоса. Яков

сел на кровать, брызгал слюной, рассказывал, как удалось подмазать в загсе, и сразу их расписали, отец умирает, он им сказал, отец умирает, надо спешить. Йоше согласно кивал головой — молодец, Яков, хорошо сделал, все хорошо провернул.

Ушли гости. Йоше прислушивался к звукам за дверью, не сдержался, закашлял. Прибежала Баська, парная, пахучая. “Что тебе, тате?” Ничего. Что вы делаете там, дети? “В орехи играем”. В орехи? Хорошо. Хорошо, что в орехи...

Тянулось время. У Йоше все — ночь. Стало сосать под ложечкой. Поесть бы. Не хотел отрывать Баську, да и кто его знает — может, и впрямь ночь? Баська пришла сама, села на кровать — запищали, прогнулись пружины. Привычно просунула руку под затылок, влила в рот ложку горячего варева. Торопилась. И он торопился глотать. “Тате, Семен говорит, надо вас в мастерскую”. Хорошо, в мастерскую. Окна там нет, а зачем ему окно? У него всегда ночь. Запах лака, дерева, краски, хорошо. Только топчан старый, твердый. Ничего, ему уже недолго. Спокойно в мастерской. Тихо. “Тате, Семен говорит, надо вызвать доктора”. Зачем? Что может доктор? Помирать надо. Семен говорит? Хорошо, вызови доктора, Баська, мужа надо слушать. Он теперь тут хозяин.

Докторша, наверное, тонюсенькая, не заслоняет собой свет. Ручка холодная, твердая, щекотно от ее руки. И больно, ой, как больно. “Мочу надо спустить, — говорит докторша, — спустим мочу, и будет хорошо”. Зачем возиться? Ребоно шел олям не брезгует, земля не брезгует... не надо. “Умрете, папаша, если мочу не спустим, умрете!” Умру, конечно. Время пришло умирать. Ушла докторша, ушла, слава Богу! Нет, снова пришла, привела кого-то. Стали раздевать, стали щупать, Бог мой, за что щупали! Стали что-то холодное в него тыкать. Ой, больно, готеню, ой, больно! Вдруг Баська заорала, заверещала — кровь, кровь, блут! Куда-то побежали, что-то делалось вокруг, что-то затевалось. Услышал вдруг голос Мойшале, Мишеньки, Михаила, голос сына услышал. Начальнический голос, привык командовать Мишенька, заводом командует! “Безобразие, — кричит Мишенька, — антисанитарщина! Почему не в больнице, почему не гос-пи-та-ли-зи-рова-ли?!” — “Я хотела... я...”, — оправдывается докторша, слезы в голосе, совсем ребенок! Боже мой, теперь врачи — дети, дети — врачи. Не кричи, Миша, она хотела... в больницу... я отказался... зачем в больницу... умирать дома лучше... в своей постели... “Постель! — бушует Миша, — почему в вонючей столярке, почему?! И кто

этот Семен, и что тут делается?!” Муж он Баськин теперь, муж. А в столярку я сам попросился. Здесь хорошо пахнет, клеем пахнет, деревом, лаком. Видеть — все равно не вижу, лежу, нюхаю... “В больницу! — кричит Мойшале, — не в районную, в республиканскую! Я сам буду звонить в минздрав! Где телефон? Телефон где!” Нет телефона, Мойшале, кому тут нужен телефон?! С кем разговаривать? На улице телефон, в будке. Ушел Мойшале. Вернулся. Ураган вокруг него. Буря. Хороший сын, хороший. Вот пришел, сразу пришел. Кто его позвал, кто ему сообщил? Семен, должно быть. Вот и Семен хороший. Кто он? Чужой человек, а позаботился, пошел звонить. Даст Бог, хорошо будет Баське... Машина подъехала... Шум, гам... Бегут, бегут — что все так бегает, что стряслось?! Помирать пора, смешные они, какие смешные! Вот вкатили что-то в комнату, одеяло сдернули. Готеню, женщины в комнате, Баська, врачиха! Что они делают? Ой, готеню, ой, любимый, что это, что это?! Хлопнула дверь в ногах, заревел мотор, затрясло, закачало. Чей голос впереди? Мойшале! Мойшале с ним едет! Какой хороший сын, ай, какой хороший! Тяжело было его растить. Времена были тяжелые. В школу ходить далеко, холодно. Одежды нет, ботинок нет. На себе носил его Йоше — семь километров туда, семь обратно. Потом уже подвода появилась. Две зимы носил. Смеялись пацуки, гойские дети, как смеялись над Мойшале, проходу ему не давали. Не хотел ребенок идти в школу, всю дорогу бил отца в спину, за шею кусал даже. Не сдался Йоше. А весной смастерил сыну сандалии из дерева и ремней от тфилин. Хорошие были ремешки, крепкие, в Ковне их покупал. А Мойшале — плачет, все равно в школу идти не хочет. Приходит домой опухший, в синяках. Бьют его пацуки, издеваются. Взял Йоше сына в лес, мешок с опилками на дерево повесил — бей, мальчик, бей, работай кулаками, защищаться надо, выжить надо. А потом стали они друг друга колотить — не плачь, сынок, вставай, эти синяки не в счет. Не один день так прошел, не два — повеселел сынок, окреп, без синяков стал возвращаться. А как-то взял его с собой Йоше в поездку. Возчиком в совхозе тогда работал. Поехали в райцентр. Пока Йоше разгружал и нагружал, набежали гойчики, стали язык показывать, плевать, слова обидные выкрикивали. Не стерпел Мойшале, сжал кулачки и пошел на обидчиков. Йоше краем глаза следил, не вмешивался. Побил гойчиков Мойшале — трое их было, все плачут, носы утирают, в крови носы. Молодец, Мой-

шале! Вдруг — огромный гой, бугай! Схватил палку, идет на ребенка, гора — не человек, “жид” — орет и идет... Затихла улица, смотрят мужики, не вмешиваются. Убьет ведь ребенка зверюга, убьет! Схватил Йоше кнут, раскрутил в воздухе, — и по ногам, по ногам. Упал гой, ревет, руками землю рвет. Очнулись мужики, побросали телеги, пошли молча на Йоше, много их было. “На телегу! — крикнул сыну, — прыгай на телегу!” Не понимают мужики маме-лошен, слава Богу, не понимают. Хлестнул коня, бросил вожжи в телегу, полетел конь, вывез ребенка. А Йоше полежал до вечера, очухался, дополз до дороги, подобрали его. Вроде, один из тех мужиков и подобрал. Отошел, только видеть хуже стал. Сначала думал — ослеп на правый глаз, но Бог дал, вернулось зрение. До того — как у птицы были у него глаза, в Шавлях даже на пожарную вышку посылали — доглядеть, откуда дым. Так хорошо уже не видел он, да ведь не пожарник он, столяр, краснодеревщик...

Остановилась машина. Опять стук, шум-гам, толкают, трясут, что-то холодное в бок воткнули. Ой, готеню, за что это мне? Нет, Мойша... Мишенька, все в порядке, все хорошо, спасибо тебе, сынок. “В отдельную палату!” — он кричит. Как они ему отвечают! Как гвиру, как мехубаду, как положено, отвечают! Большой начальник, Мойшале, не дает себя бить, не дает...

Боже, готеню, день сейчас, или ночь? Как знать? Как знать? Кушать не дают, пить не дают. В руку иголка вколота, болит рука. Поменяли иголку. Профессор пришел, раскричался: почему не сказал, почему не доглядели? Воспаление в руке от иголки. Кто может знать, когда жаловаться, когда нет? Кто знает — когда должно болеть, а когда не должно? Зачем кричать на сестричку — хорошая девочка, целый день крутится, туда, сюда... И что это за работа! Мыть, и чистить, и подмывать, и убирать! Ангелом надо быть, чтобы таким делом заниматься. Не кричи, господин профессор, она хотела вытащить иголку, я сам не позволил. Зачем собой людей занимать, от дела отвлекать? Тут молодые лежат — их лечить надо, а мне, господин профессор, умирать пора, позвали уже меня, отпусти, Бога ради... Похлопал по плечу, по одеялу похлопал, ушел. День сейчас или ночь? Баська с Семеном дома, она сама сюда дорогу не найдет, и не надо ей, на люди ее не надо, Мишенька здесь бывает...

Уехал Мишенька, в командировку уехал. Перевели Йоше из отдельной палаты в общую. Лучше в общей, веселее. Чего не на-

слушаешься! Сколько цорес на свете, живешь сам с собой, не знаешь... Опять пришел профессор — щупал, сердился, ругался. Оперировать, говорит, надо. Готеню, неужели и это надо? Зачем, готеню, зачем? Сына вызовут. Какого сына? В командировке Мишенька, не надо ему мешать, не надо. Большой человек, Мойшале, занят он, зачем беспокоить? Ой, чей это голос, маменю, чей голос?! Довале! Довале пришел! Приехал Довале! Дмитрий Исаевич — они его называют. Ой, Довале, Дмитрий Исаевич, сколько не виделись! Доктор Кац, профессор ухо-горло-нос! А такой худенький был, такой слабенький, всегда больной. Учителей держал ему частных, сколько учителей! Шкатулочки научился делать, разные шкатулочки из дерева с картинками из разных пород. По ночам делал, сдавал в комбинат, за шкатулочки эти выучил его. Помогли ему, в хороший дом взяли мальчика, к Песе Субботник он попал. Песа его-таки на ноги поставила, спасибо ей, хоть она Йоше в дом не впускала — плохо от него пахнет, говорила. Не правда это, мылся Йоше каждый день, стирал себе, в грязном не ходил. Ревновала Пешале. Своих детей у них не было, Довале за сына стал. Хорошо, Йоше в дом к Субботникам не ходил, но Довале своего все равно каждый день видел. Ждал утром в садике возле школы, иногда только рукой махал, а если один шел мальчик, без друзей, подзывал его, расспрашивал, немножко денег давал, конфетки, орешки. Такой тихий был мальчик, такой вежливый. Костюмчик на нем чистенький, рубашечка выглаженная, ботиночки блестят, портфельчик как новенький. Хорошо за ним Пешале смотрела, не хуже родной матери. Так бы и вырос Довале у Субботников, не зная горя, но горе, оно всегда приходит туда, где его совсем не ждут. Все было у Субботников — деньги, дом, почет, даже сына на склоне лет дал им Бог, а потом отнял, все отнял, а за что — никто не может догадаться. Может, было за что, должно было быть. Начал сохнуть Мендл Субботник, руки высохли, ноги, стал похож на огородное пугало, трястись начал, а потом совсем его парализовало. Ко всем профессорам они бегали, деньги на профессоров ушли, на лекарства, на курорты. И Йоше, чем мог, старался помочь, немножко денег дал, потом кольцо Фридино продал, всю войну держал, голодал и не продавал, а тут продал. Не помогло, не принял ребоно шел олям его жертву. Вернулся Довале домой. Только какой это дом после Субботников! Развалюха старая. Плохо стал учиться мальчик, интерес потерял. Коробочки помогли, учителей держал Йоше,

помогли учителя. С медалью закончил Довале, в институт поступил. Исполнилась Фридина мечта — один сын инженер, другой — врач. Раз в месяц, всегда в пятницу, ездил Йоше к сыну, в Минск ездил. Еду возил, одежду от добрых людей, денег сколько мог собрать. Тогда уже совсем плохо видеть стал, и на шкатулочки мода прошла. Назад ехать в субботу не мог, ночевал в сквериках, на вокзале спал, потом познакомился с евреем, киоск на вокзале держал еврей. Стал пускать в киоск спать, под прилавком, под газетами, чтоб милиционер не заметил. Ой, смешно вспомнить, как он хотел в уборную, как назло — ночью хотел, а киоск закрыт! Посоветовал ему еврей: не пить посоветовал. Держал Йоше пост раз в месяц, как на Судный день, как в Йомкипур... Что, Довале, что, сынок? Зачем меня оперировать? Старый я, хочю умереть. Вот одно — кадиш кто по мне прочтет? Может, ты прочтешь, Довале? Не надо в синагоге, ребоно шел олям отовсюду услышит, есть старый хазан в Минске, он тебя научит. Нет, нет, это я пошутил, Довале, зачем кадиш? Ребоно шел олям сам прочтет. Как детки, как жена? Слава Богу, слава Богу. Руфь тоже была не из наших, а лучшей жены во всем хумеше нет. Спасибо, Довале, спасибо, что приехал. Не надо оперировать, зачем? Ну, если ты считаешь... ты — большой человек, знаменитый профессор... если ты считаешь...

Болят, все болят, больше болят, хуже, дышать трудно, губы деревянные, пересохли губы, во рту каша... Готеню, с ума я сошел, какая каша! Кто это, кто смочил губы ...вода, вода, ...холодная вода ...сестричка ...нет, табаком пахнет, хороший табак, такой в магазинах продают ...дорогой табак ...кто это может быть? Нет! Такого быть не может! Берале! Старший мой! Берале! Борис Исаевич! Нет! Я, наверное, совсем сплю. В Москве Берале ...большой скрипач ...по радио передают! Старший сын, самый хороший, самый дорогой. Когда Фриды не стало, он рядом встал. Варил, за Довале следил, Баську кормил... Учиться только не хотел, не хотел в школу ходить. Далеко была школа. Мишеньку на себе тасил, а Берале, Бореньку — не мог, большой уже был Берале... Сам по книжкам выучился. Книжки покупал ему Йоше в райцентре. Тогда и воровать научился, первый и последний раз в жизни. Возил мешки из совхоза в райцентр, в лесочке останавливался, пустой мешок из-под сиденья выбирал, понемножку в него из каждого полного мешка перекаладывал, а взамен — камушек, земли горсточку, что попадет. Один мешок в каждую

поездку продавал — картошку, или цемент, или брюкву, что вез, с чем его послали. Никто не заметил. А, может, заметили, да пожалели вдовца с малыми детьми, не донесли, ребоно шел олам вмешался, не донесли. На деньги покупал книжки, тетрадки покупал. Боренька все по дому делал и учился — сам, потихоньку. А как-то раз торговал Йоше картошкой в райцентре — из лишнего мешка, конечно. И подходит к нему дама, важная дама, оборванная, худая, но важная, как ребецн. Сразу видно — не из простых, не из бедняков. А в руках у нее — скрипочка в футляре. Скрипочку на картошку выменять хочет. Кому в глуши той холодной нужна была скрипочка ...зачем ему самому скрипочка... но пожалел даму, выменял. Привез домой, положил, пусть будет, кто знает ...пусть. А потом приезжает как-то, коня распрягает и слышит: дребезжит, ноет скрипочка. Боренька стоит у холодной печки, кофта Фридина на нем, веревкой перепоясанная, скрипочку в живот воткнул, водит смычком и никого не слышит, не видит никого. Сначала мучение было слушать, а потом стала музыка получаться. Какая-никакая, но — музыка. У сельсовета тарелка висела, музыку по ней передавали, новости с фронта. К новостям все сходились, а музыку слушать только Боренька бегал. Постоит-постоит, и бегом домой. Скрипочку в живот воткнет, смычком замахнется — и давай ...пробует, пробует ...музыку, которую слышал, в скрипочке ищет. Как-то заявила в их деревню гастроль. Дамочка с аккордеоном, фокусник и скрипач. Толстый, большой, в шубу закутанный. Собрался народ, протопили в сельсовете. Йоше внутрь не попал, на улице остался, а Боренька протиснулся, влез-таки. Вдруг выбежал — и бегом, и бегом. Куда ты, Боренька? Рукой махнул. Не успели отхлопать — возвращается Берале и скрипочку подмышкой несет. Тот толстяк в шубе от фокусов, видно, устал, вышел на крыльцо, папиросу курит, настоящую, "Казбек" курит. А Боренька под крыльцом стоит, скрипочку обнимает. Толстяк после папироски в хорошее настроение вошел, улыбнулся, пальцем поманил. Боренька медленно-медленно, но подошел. Все казалось — еще шаг, назад побежит... нет, подошел, совсем близко подошел. "Играешь?" — спросил толстяк. Кивнул Боренька. Уши горят, глаза зажмурил, видно, как ходят ребра под Фридиной кофтой. "Сыграй!" — велел толстяк. На холоде, на улице, Боже мой, зачем позор такой ребенку, зачем? Выпростал Боренька скрипочку, в живот упер, согнулся весь и заиграл. Сначала тихо играл, с пере-

боями, а потом забылся. Слушал приезжий, бровями играл, отшатывался, пригибался, будто седьмое чудо света перед ним стоит, а он глазам поверить не может. “Кто учил?” Никто не учил, по радио учился, сам учился. Схватил толстый Бореньку за плечи, прижал к животу — где живешь, кто родители? Вышел Йоше вперед. Сморщился толстый, будто ему горечь в рот попала, будто червяка проглотил. Потом поправился, даже улыбку изобразил. “Идемте, папаша, поговорить надо”. Долго сидели в грязной избе, чай сварил ему Йоше, хороший чай, крепкий. Много чего говорил приезжий ...талант, сказал ...у Берале талант редкий ...пропадет талант. Надо учить, срочно надо. Еще немного — руку не поставит. Еще немного — поздно будет. Испугался Йоше — что делать, где учить, на что? Такая беда, такое горе, кому сказать, с кем посоветоваться?! Ужом крутился толстый, ходил по избе, на улицу выходил, возвращался — потом вдруг швырнул шапку на стол, еще чаю попросил. “Заберу! — сказал. — С собой заберу. У меня жить будет. Нельзя такому таланту пропасть, нельзя!” Всю ночь не спал Йоше, ходил по дому, по улице ходил, в сарае сидел, думал. Как отдать ребенка в чужие руки ...кто его знает, приезжего ...каково будет Бореньке у чужих людей? Далеко везти хотел толстяк Берале, а кругом война. Нет, не может он отпустить Берале. А талант?.. Пропадет ведь талант... война пройдет — поздно будет ...что он скажет тогда ребенку, как объяснит? Так плохо, и так не хорошо, была бы Фрида жива, она бы что-нибудь придумала, а Йоше не умел, ничего в голову не приходило. Рано утром постучал в дверь толстяк: “Ну?” И Боренька стоит, слезы в глазах, скрипочку к груди прижал. “Отпусти, тате!” Отпустил. Собрал узелок в дорогу, адреса зашил — и этот, нынешний, и шавельский, даже адрес своих родителей записал на всякий случай, все адреса записал, какие помнил. Толстяк обещал писать, и Берале обещал. Не пришли письма. Может быть, плохой он адрес дал, по-русски не знал Йоше, ошибся, наверное.

Прошла война, кончилась, начали приезжие разъезжаться. И он поехал. Сначала в райцентр, потом в большой город перебрался. Потом в другой большой город. И всюду ходил радио слушать. Стоял и слушал. Вдруг имя толстяка услышал. “Откуда передача, откуда?” Люди шарахаются, плечом пожимают, пальцем около уха крутят. Одна дама пожалела, объяснила. Поехал Йоше в тот город, в Москву поехал. Детей в скверике на вокзале оставил, велел с места не двигаться, за вещами следить. Дворничиха тол-

стая садик подметала. Просил и ее, со слезами в глазах просил последить за детьми. А сам поехал радио искать. Смеялись люди, смеялись, а он от них не отставал. Старичок один пожалел, отложил газетку, стал расспрашивать. Вдруг оказалось — на идиш понимает старичок. Ребоно шел олям помог, что и говорить! Слушал старичок рассказ, внимательно слушал, газеткой по колену похлопывал. Потом встал, стукнул Йоше газеткой по плечу, повел за собой. С автобуса на автобус ...деньги, которые на поездку выбрал, кончились, в гатках все его деньги спрятаны, поди выбери в автобусе! Поймал его контролер. Готеню! — старичок слазит, а Йоше перед контролером стоит. Рванулся изо всех сил, людей растолкал, дверь руками раздвинул... много силы в Йошных руках... на ходу спрыгнул. Ах, какую боль в лодыжке он почувствовал, седьмое небо увидал, семь ступеней шеола, но не дал себе остановиться, поковылял за старичком. А тот даже и не подумал остановиться, еще головой качает — как это без билета... стыдно, реб ид, стыдно... Не стерпел Йоше, стыд совсем потерял, а, может, боль ему в голову ударила — спустил штаны у всех на глазах, в подштаники полез, вытащил пакетик, деньги вытащил, сунул старичку — вот! не безбилетник он, не нищий. Старичок ручками взмахнул, будто кур разгонял — кыш, кыш! Отвернулся и чуть не бегом побежал. Йоше за ним, нога горячая, тяжелая, боль в ушах стучит. Пришли к большому дому с колоннами. Окна высокие, как в Большой Синагоге, полы каменные, все блестит... Надо на лестницу подняться — широкая лестница, шире Шавельского променада, из белого камня, перила с позолотой — а нога не идет, опухла нога, болит, разрывает сапог. Заплакал от обиды, а старичок рукой махнул, побежал вверх. Долго стоял Йоше, держался за поручень, ногу уговаривал — иди, проклятая, иди! Уговорил, наконец, пополз со ступеньки на ступеньку. Так занят был проклятой ногой, что не заметил, как старичок навстречу ему спускается, а с ним — Боже милый, ребоно шел олам! — толстяк в костюме, штиблеты блестят, а лицо такое, будто снова яблочным червяком подавился. Но ничего, улыбку распустил, руку протянул, потом за спиной платком вытер. Хорошо, сказал, Берале занимается, большие надежды подает. Пригласил к себе в дом назавтра, после обеда, — сегодня Боренька на даче, завтра как раз вернется. Старичок адрес толстяка записал аккуратно, правильно, хороший старичок, пусть зачтется ему доброе дело. Только в гости к толстяку не попал

Йоше — отвезли его в больницу, гипс наложили, сломана нога оказалась. Вечером потихонечку слез с койки, проковылял коридором, вниз спустился. Болела нога, а сердце еще больше болело. Добрался до скверика — сам не понял, как: по памяти, по нюху, у ребено шел олам помощи просил — нашел скверик, а детей нет. Нет детей. И дворничихи толстой нет. Темно. Собаки бегают. Ой, что с ним было, что было! Как пьяный, как метуреф бегал по вокзалу, кричал, выл. Нашлись дети, под утро нашлись, в милиции на вокзале сидели, даже накормили их там. Сидит Баська на скамейке и кусок соленой трейфы мусолит. А Йоше даже та солонина прекрасной показалась! Только недолго он радовался — потребовали документы, а документы оказались неважные. Совсем плохие документы. Он им адрес толстяка показывал, просил, как просил! Не помогло. Посадили их на поезд, до Вильны за билеты заплачено, денег на новые билеты нет. Что он мог поделаться, что?! Доехали до Вильны, доехали до Шавель — что говорить, нелегкая была поездка, Баська заболела, Довале тоже соплями заливался, Мишенька кашлял, как старик — кхэ, кхэ. А Йоше ни спать, ни есть не мог, все думал — не повидал сына, не повидал Берале, ждет ребенок, папу ждет! Приехали в Шавли, домой приехали, слава Богу, а в доме — живут! Литвин, пьяница, бывший батрак, которого они с Фридой пожалели, взяли в мастерскую, хотя ни на что он не был годен, только доски таскал... Ах, Боже мой, готеню, твоя воля — добрая воля... но до сих пор пенится в горле злая боль — Ядзя, придурочная, шлюха, грязнуля, в Фридином платье, швыряет на стол пасхальную посуду, грязную, оббитую — ах, готеню, готеню... И батрак паршивый, какие слова он кричал, какие слова! Выдержал, все вытерпел Йоше, ради детей, не ради себя. Соседей прежних не осталось. Во всех домах, в оставленных домах, топились печи и варилась еда, и он сам видел, вот этими глазами, которые тогда еще видели совсем неплохо, как во дворе раби Шимона, такого мудрого, такого ученого раби Шимона, маленький байстрюк колот орехи синагогальным подсвечником. Старинный подсвечник, такой старинный, что страшно подумать, из каких времен он пришел. А, что вспоминать — не стало и самого раби Шимона, кто говорит — убили его, кто говорит — сожгли. Боже, готеню, сожгли человека, мудрого, старого, почтенного человека сожгли, как полено, как прошлогоднюю сухую траву. Пытался Йоше понять, как могло случиться такое, и не понял. Не надо этого понимать,

человеческому разуму положен свой предел. Но оставаться в Шавлях не захотел. Хотя нашлись на той же улице добрые гои, детей взяли к себе, выходили и держали, пока он устраивался, пока за ними не приехал. А Бореньку так и не повидал. Письма ему писали — Мишенька писал, и Довале, когда писать хорошо научился. Посылочки посылал ему, всякую мелочь посылал. Пришло письмо — ни в чем не нуждаюсь, готовлюсь к конкурсу. Потом еще одно письмо пришло — второе место на конкурсе получил Берале! Как радовался Йоше, как радовался! За сына радовался, и за себя радовался. Все эти годы грызло его сомнение — хорошо ли сделал, что отпустил ребенка? Получалось — правильно он поступил. Если подумать — не зря ведь именно ему предложила скрипочку важная дама, неспроста именно в их далекую деревню приехала гастроль... Все было задумано, и будь он, Йоше, поумнее — тогда еще мог бы увидеть, что ведет его мальчика Божья воля... Ну, так или иначе, время радоваться, и время собирать плоды...

А теперь Берале тут, возле него, сидит на кровати, курит трубочку... Давно узнал Йоше, что Боренька трубку курит, еще когда он приехал с гастролью. На всех тумбах афиши расклеили — "Борис Котов". Почему "Котов"? А, Бог знает. Берале так захотел, ну, пусть так и будет. Йоше одну афишу сорвал, плохо была приклеена афиша. И место такое... нехорошее место... не могло повредить Берале, что он снял ее оттуда. Сорвал, повесил на стенку в комнате, на самое видное место повесил, сидел напротив на табурете — плакал, смотрел — и плакал. Не узнавал и узнавал. На Фриду стал похож Боренька. Пошел Йоше в филармонию за билетом. Просил, кланчил, но про то, что сын ему, родной сын Борис Котов, про это никому не рассказал. Нашел в филармонии еврея, чем-то заведовал там еврей. "Что это вас, реб ид, — спрашивает, — вдруг на музыку потянуло?" — "Недер, — объяснил ему Йоше, — недер я дал". Когда речь идет об обете, еврей еврея должен понять. Достал ему тот еврей билет. Только подумать, совсем не было билетов на Боренькин концерт, все билеты раскупили, а до концерта еще целая неделя! Повезло с билетом. Тут как раз начало месяца, Довале навещать пора. Довале в хорошем настроении был, посадил отца за стол, чай заварил... Каникулы начались, разъехались все студенты, а Довале зачем ехать, его общежитие по сравнению с отчим домом — царские хоромы. Даже ночевать оставил его у себя Довале, пустая комната, никого нет, посидеть

можно, поговорить. Рассказал ему Йоше про гастроль, билет показал. Расстроился Довале, погрузился, к брату потянулся. Как хорошо, что достал билет Йоше, какое счастье! Отдал билет Довале, вместе домой поехали, начали готовиться. Баську решили припрятать. Зачем Бореньке ее видеть, зачем расстраиваться! Отвезли Баську к одной старушке, добрая старушка, всегда за Баськой следила, когда Йоше надо было отлучиться. Ну, пришел большой день! На вокзал решил не идти. Счастье, что Довале на месте оказался, он и пошел встречать. Нехорошо это — большие люди придут Бореньку встречать, и вдруг Йоше станет там крутиться на виду у всех, нехорошо, некрасиво получится. Стеснительно. А Довале, слава Богу, подходящий брат, не опозорит. Так и вышло. Хорошо вышло. Довале и в гостиницу с Боренькой поехал, не расставались братья, за руки держались. Йоше своими глазами видел, у гостиницы стоял. Где магазин молочный на углу, там он стоял. Стоит человек у молочного магазина и стоит, кто может придраться? Вот подошла машина, и вот вылезли они, такие красивые, хорошо одетые, Довале с Боренькой. За руки держатся, и все время друг друга оглаживают, в глаза друг другу смотрят... Плакал Йоше, от счастья плакал, стоял у витрины молочного магазина и плакал. Продавщица вышла: "Отец, украли у тебя что? Кошелек украли?" Кивнул, согласился — кошелек украли. "Много денег в кошельке?" Все, — всхлипнул, — все, какие есть. Всплеснула продавщица руками, назад в магазин побежала, вышла вскоре, кулек ему в руки сунула. "Вот, отец, сыра немного, масла, творога. Не плачь, отец!" Молодая еще продавщица. Вот ведь какие хорошие люди бывают! Пошел домой, а там напарено, нажарено, накуплено, зачем ему сыр, зачем творог? Так оно идет — когда есть, становится больше, а когда ничего нет — ничего и не прибывает. Ругал себя потом за эти мысли, ой как ругал. Наказал его кадош баруху за них, как наказал! Не пришел к нему Берале, устал после концерта, в ресторане они с Довале поужинали, а утром уехал Боренька, срочно ему было. Привет передал, деньги, жакет шерстяной, новый жакет, с этикеткой. Не злится, значит, на него сын, не обижается. Устал, конечно, устал... и концерт, и поездка, и с братом впервые встретился. Довале спать не ложился, все рассказывал, все рассказывал... и все — капля в море, слова, а до сути, до сути не докопался Довале: как ему, Бореньке, живется, какой он внутри себя? Сиротой рос Боренька. Кто ему Йоше? Чужой чело-

век. Что сделал для него, чем оправдал отцовство? Ничем. Ничего не сделал для сына, подбросил, как кукушонка в чужое гнездо, даже не навестил! Сколько лет прошло — мог, должен был навестить. А что боялся большого города, поездки боялся, напортить Бореньке боялся, опозорить сына боялся — не оправдание это, не оправдание! Ребенком ведь сына отпустил, совсем еще мальчиком. Вдруг ему одиноко было, вдруг голодно, вдруг холодно? Может быть, поплакать хотел, может быть, пожаловаться — а некому! Сиротой сына оставил, и не было ему оправдания.

И вот Берале здесь, рядом, трубочку свою курит. Когда рассказал Довале, что Боренька курит трубочку, вспомнил Йоше одного литвина в Тельшах. Другом ему когда-то Пранас был, деньги на свадебные расходы одолжил. Долг тот давно вернул Йоше, желанным гостем в их доме Пранас бывал. Но после войны не виделись они. Не хотел знать Йоше, боялся спрашивать. Родители погибли, все погибли, а как и что — не стал интересоваться. И вдруг решил ехать. Знаменитый трубочник Пранас был, еще до войны за его трубками издалека знатоки приезжали. Жив оказался Пранас, в том же домике жил, чужих вещей не заметил у него Йоше. Все стены в полках, на полках трубки, разные. Всю ночь говорили. Многие ему Пранас рассказал, многое объяснил. Не любили старого Каца в Тельшах, не за что было его любить. Но и не тронули. Не соседи — немцы вывезли, немцы все добро и забрали. Поверил Пранасу, почему не верить? А трубочки для Бореньки лично выбирал Пранас, дул в них, раскуривал, морщился, выбрал, наконец. Три трубочки выбрал, денег не взял, обиделся даже. Как благодарил его Берале! Целое письмо написал, и несколько строчек на идиш. Помнил еще, надо же! В хедер ведь уже ходил Берале перед войной, хвалил его меламед. Ах, Берале, Берале, как надо чтобы кто-нибудь читал кадиш! Ты старший, и грамоте еврейской обучен, но разве можно тебя об этом просить?! Другие теперь времена, новые... Каждый служит ребоно шел олям по-своему: один играет, другой лечит, третий строит. Это Ему угодно, это хорошо. Покинул ребоно шел олам синагоги, они и сгорели, не осталось их, а которые есть — запущены. Да и кто там Ему служит? Старики, вроде Йоше. Ничего себе компания для того, кто б'мерумим, ничего себе! Нет, не нужна Ему, Господу, такая компания, никакая ему не нужна. А, может быть, все-таки нужна? Может быть, обижен кадош баруху на то, что опустели синагоги, погас огонь в пятничной печи, свежей ха-

лы нет на субботнем столе? Опять же — кого винить, с кого требовать? С молодых нельзя. Не виновны они, ничего им Йоше не смог передать, ничему не смог научить. Не хотел палкой любовь ни к себе, ни к своим порядкам выбивать. А если бы хотел, так что? Вот его отец на побои не скупился, а что выиграл? Помирились бы они, конечно, если б не война, к тому уже дело шло. На пурим, как раз перед несчастьем, послала Фрида в Тельши человека, шелахмонес послала. Приняли родители гостинцы, подробно про всех спрашивали... Ну, так что? Что это доказывает? Нет, не может Господь на детей зло держать, не виноваты дети. Его, Йоше, надо было учить, его наставлять! Не справился со своей жизнью Йоше, ничего детям не оставил...

Всхлипнул, не удержался. "Больно, отец? Сестру позвать? Укол?" Нет, не может ребено шел олам сердиться на него, каких детей ему дал, каких сыновей! Нет, сыночка, нет, Берале, все хорошо. Уходить мне пора, зря вы меня при себе держите, не пускаете. Вот, если бы кто-нибудь эту иголочку вытащил, а? Идти пора, не хочу задерживаться. Всех повидал, со всеми попрощался, пора мне. Перед тобой больше, чем перед всеми был виноват, простилось и это, все простилось, готов я. Нет, нет, не трогай иголку, не надо! На твоей совести это останется, нельзя. Я уже сам как-нибудь, с Божьей помощью... Иди, сынок, иди, не надо меня целовать, еще заразишься чем-нибудь, не приведи Господь...

— Да ломай ты! Снизу, снизу просунь — и на себя! — У, криволапый, давай я снизу, а ты плечом! — Вонь, вонь-то какая! Товарищ милиционер, вы отойдите, а я с налету! Мать твою, ах, черт! Ну вот... кто первый? — Милиция первая. — Платок, платок дайте! Где он? — Там, в углу... на кровати... — Окна, окна откройте! — Тьфу сколько живу, такой гадости не видал. Лица-то уж нет, сгнило совсем... и перепачкано чем-то. — Каша это, ей-Богу, каша!.. — Да уберите вы эту debilку! — Он, видать, помер давно, а она покойнику — кашу! — У-у-ф... Не мельтеши, Костя! Лучше идиотку убери ...фу, Господи! — В простыню, в простыню его заворачивайте! Нету?! Тряпка вот на двери! — И с другой стороны откройте! Все открыть, все окна! — Я брезент видел в прихожей. — Прибит! — Так сорвите его к чертовой матери! — Завернули? Ну, несите в машину... — Что, Костя, полегчало тебе? Иди, покомандуй тут... я схожу... на воздух выйду. — Кретинку-то куда? — В дурдом, куда еще? — Да нет, пусть подождет, пришлем другую маши-

ну. — Родственников у него, что ли, не было? — А черт его знает! Это вам знать полагается, вы же тут участковый. — Ладно, поехали... Плombу на дверь не забудьте! Да черт с ними, с окнами, что тут воровать? Все само распадается. — Обмен веществ в природе, товарищ лейтенант. — Все на месте? Поехали! Да, кретинку во двор выведите, пусть пока на лавочке посидит. Ты ее покарауль, Семен... — Слышь, Семен, она тебя тоже кашкой накормит. — Ты, Костя, шуточки брось, не к месту шуточки... — Как без шуток-то, товарищ лейтенант, без шуток в такой ситуации пропасть можно, спятить, мать-перемать, сдуреть. Тьфу, чтоб мне больше такого не видеть! — Такого и не увидишь. — Это — верно! Сколько же он так лежал-то один? — Вскрытие покажет. — А я бы человека ни за что не смог вскрывать, товарищ лейтенант! И как только они там работают, в этой мертвецкой? А?! — Человек, Костя, ко всему привыкает. Человек, это, знаешь... — Закурим, товарищ лейтенант? — Бросил я... здоровье... — Вона оно, здоровье, — сегодня тут, а завтра, глядишь, кашки наелся! — Костя! Кончай ты про эту кашу! — Слышь, а может — хахаль он ейный? Она его кашкой и отравила! — Трепло ты, Господи! Древний же был старик... — А это вскрытие покажет, как товарищ лейтенант говорит... — Не дай Бог одинокую старость. — А я вот профилактически детей делаю... Как про старость подумаю — так баба в роддом. — Чего же ты одного только и сделал? — А я молодой еще, товарищ лейтенант, про старость редко думаю. Вот с сегодня через девять месяцев — пожалуйста, приглашаю. На выпивку с закусью. — Запомним. — Да вы лучше запишите, товарищ лейтенант, спор — он счет любит. — Да ты что, и вправду, — на спор детей рожать собрался? — Так я б за милую душу, только не я ведь рожаю, а Зинка моя — она, видишь, за фигуру волнуется, поправиться боится. — А у вас сколько детей, товарищ лейтенант? — Двое... Слушай, Казимир Францевич, ты к дому моему не мог бы на минутку? Дети, понимаешь, одни, жена на курсах, хорошо бы взглянуть, — Сделаем, товарищ лейтенант! В морг завсегда успеется. Дети, они на первом месте... Вон на том углу и развернусь...

А. Исакова (Гроссман) — врач-эндокринолог, автор ряда рассказов и статей, опубликованных в русскоязычной печати.

Следующее деяние, из тех, что его родитель не завещал ему, было такое: Шуах пошел к человеку, которого звали Морэ, учитель. Подделав свои документы, пошел, чтобы проехать под москвой, Цоар-городом, и дважды за ним бежали, желая догнать, и один раз оскорбили словами, и он пал духом, но доехал до места с названием старостройки прасная кресня. Учитель Морэ увидел его и сказал: "Зачем вы сделали это со своим лицом?" А Шуах сказал: "А вы зачем сделали?" И Морэ ответил: "Я не делал, так было всегда". А потом они сели, учитель Морэ достал мел, написал и сказал: "Ну-с, молодой человек, приступим. Вот слово Шалом, повторяйте за мной и смотрите, как оно пишется". — "Шалом", — сказал Шуах.

У Шуаха была женщина, которая думала, что она жена Шуаху, и до этого всегда смеялась над его именем такими примерно словами: "Политика страуса, то есть меняют свои лица, но оставляют имена, разве нет?" Женщина эта верила, что она не только красива, как все, но и умна, поскольку об этом ей лично писали на небе красными буквами. Шуах боялся признаться ей, что у него есть третье желание, но как обрезать, он не знал; не было

Реувен Пятигорский

ИЗБАВЛЕНИЕ

тогда еще человека, знавшего, как обрезаются. А работала эта женщина в магазине, куда люди носят свои продукты и свою одежду, чтобы получить деньги, на что Шуах сказал, что раньше было по-другому: в магазины ничего не носили и не брали оттуда; а еще раньше брали и продукты, и одежду. "От кого ты знаешь?" — спросила женщина, но Шуах решил молчать, потому что тогда подумал о втором желании; и узнал про учителя Морэ и пошел к нему. А узнал он так: Шуах видел Яшава, Яшав указал на Омеда, Омед на Яруца, Яруц на учителя.

Был тогда в этой стране человек по имени Дар Ветер, кровавый убийца, ибо не убивал без крови. И поскольку навсегда исчезла туалетная бумага, то знали его многие. Специальность его была чужое обоняние и чужое осязание, а задумал он вот что: извести всех евреев, но не из-за того, что сделали ему плохо, и не из-за того, что не кланялись ему, ибо никто не кланялся, а просто так. Закона же в Цоар-городе, последнем из тех пяти, не было. И сперва он убил свою семью, но его нашли по одежде, а когда отпустили, то решил он, что сначала надо узнать, кто они такие. Для этого стал он ходить в розовом костюме по улицам и пустырям и спрашивать у людей их имена. В ответ же говорил, что евреи — те, которые не ходят по гудкам, они пьют младенцев, и люди верили. Но никто не видел евреев, а амалекиряне ходили открыто и не стыдились.

"Пребывая в Египте, мы сделали три вещи, — так говорил учитель Морэ, стирая мел со стола, — а именно: мы жили вместе, обрезались, не взяли языческих имен. Ныне же меняем даже свой вид, что и с вами было раньше. Однако вот вам, молодой человек, бунт Природы: на наших лицах при рождении видно больше прежнего. Кстати, сколько вы, извините за вопрос, уже ждете?" — "Семь поколений", — ответил Шуах. — "А я девять, — сказал Морэ, — хотя, представьте, есть люди и в двенадцатом. Только советую заявление обратно не забирать, сейчас, говорят, вызовов больше не будет".

Из книги, своей единственной, которую давал ему тот Морэ, Шуах прочел про свою Природу, но вслух. Имени ее не произнес. А Морэ тот кормился починкой самоваров, из которых все люди пьют теплый квас, и сказал: "В первый раз я думаю, что это сказка, а потом читаю и два раза, и три, и вижу, что меня не уговаривают, как ребенка, а говорят правду; и ты так читай". Шуах же читал и больше, и тогда видел, что ему говорят правду и что он теперь

не ребенок. А женщина, с которой он жил, спросила: "Почему ты не спишь со мной?" Он же утаился ответить, потому что шел третий день слабости, и он не знал, можно ли спать с ней после этого, и утаился показать ей.

К этому времени Дар Ветер, кровавый убийца, прошел почти все старостройки прасная кресня и вычеркнул их из своей книжки. Когда остались последние улицы, он сказал: "Где этот клейщик, который не выходит по гудку из дома?" И пошли они все вместе и убили первого Морэ, а крови в нем было мало, и они не испачкались. Сказал им Дар Ветер: вот, крови в них мало, так и узнавайте. Но Шуах, и еще другие, уже говорили друг с другом, и никто об этом не знал.

"Почему так? — сказал Шуах и подумал то слово, которое боялся произнести, — почему я не могу, как все люди, жить отдельно от них, разве не для них я хочу?" Но никто ему не ответил, а Шуах решил, что ответил; и слова были: "Потому что ты еврей". Ходил же он к самоварщику Морэ и читал у него книгу. Тот Морэ опасался, что у Шуаха такое лицо, и соседи могут увидеть его для Дара Ветра, ибо была у того Морэ семья, но семья ничего не знала. Шуах же ходил вечером, так что его не видели другие, и не мог не ходить; а хлеба он в том доме не ел, чтобы не сказали: "Ест наш хлеб", — хотя хлеба было много в доме. Так, было однажды, что Шуах спросил: "Как узнать, когда приходит Суббота?" — Тот Морэ заплакал, потому что не говорили людям, когда суббота и когда другой день.

Ждал Шуах, что скоро снова услышит голос первого учителя, чтобы сказал ему: "Шуах!" — чтобы он сказал: "Вот я!" Но не говорил голос, и что дальше должно быть, он не знал. А сам молился тихо, но однажды, встав со своей постели, громко произнес: "Раба эмунатэйха!" А женщина спросила: "Что это?" Он ответил: "Я сказал: я еврей". Потом сел, закрыл лицо и стал ждать прихода людей. Но женщина не поняла его.

Шуах не знал про свою мать, кто она, также и про сестер и братьев, потому что лица у них были чистые, как имена; а про своего родителя знал, что звали его Эфа. Работали они в одном заводе, но из-за масок, которые носили, чтобы дышать, не видели друг друга. После лагеря Шуах в детстве остался один, однако привык любить своего родителя, потому что тот не взял заявления обратно и дал ему имя. Теперь же Эфа ходит по москве

с людьми Ветра, ибо в совести своей стал бояться, и назывался другим.

В бумагах Морэ, учителя, Шуах нашел календари и многое другое, но все было старое. Учитель работал клейщиком и бумагу склеивал в ленты на окна, чтобы люди, у которых были окна, кормили его; а многое не клеил. От тех календарей надо было посчитать, сколько дней прошло. И тогда Шуах и Морэ-самоварщик сели и сказали: "Вот Суббота". Зажгли свечи, а что дальше делать, не знали, ибо не было у них знаний, и Шуах говорил "Шма" сколько выучил, а потом придумал: "Благословен Ты, Живой и Вечный, наказавший нам говорить: мы евреи". И тот Морэ повторил. А люди, которые шли в свете звезд, но смотрели на окна, увидели свечи, и один из них, скрывшийся Эфа, сказал: "Там евреи, они гудков не слышат"; потом сказал: "Евреи, они свечу зажгли"; и еще раз: "Они нашим электричеством брезгуют"; и люди вошли. У того Морэ был сын, которого звали Зевулун и который молчал, так что все думали, что он глухой. Он лежал в комнате. Пришли люди и начали терзать хозяина, говоря: "Вот лежит младенец, из него пили", — а Зевулуну было тогда тринадцать лет. Гостя же не трогали, но Эфа увидел и сказал: "Еще один жид, вон у него лицо какое". Дар Ветер, Амалеков, пришел, поднял свечу и сказал: "Как тебя зовут, жид?" — а видно было плохо из-за дрожания руки. Шуах сказал: "Я Шуах". И они стали его бить, а Эфа заплакал, ибо узнал. Затем они открыли вены Морэ-самоварщику, его жене и другим, а Шуаха оставили, решив, что он мертвый. Когда Шуах открыл глаза, подумал, что он один, и сказал: "В полную луну, в середине Нисана мы уйдем". А ему из темноты ответил кто-то: "Да, Морэ, в полночь, в середине Нисана". Приблизился Шуах и увидел, что то сказал Зевулун. "Да, Морэ, ровно в полночь, в середине месяца Нисан". И когда настал срок, все они ушли. И ничего в той земле не взяли, оставив даже свое. Оставив даже заявления в овирах

Цоар-город (Москва). 16 Январ.

Реувен Пятигорский — математик и сценарист, отказник с 1980 года; в Израиле с 1988 г., живет в Иерусалиме. Рассказ представлен на кон курсе "Исход", проведенный среди отказников в 1987 году.

ВОСПОМИНАНИЯ

Израиль Минц

ТАРУССКИЕ ВСТРЕЧИ

Таруса — районный городок Калужской области, расположенный в ста с лишним километрах от Москвы. Здесь разрешается жить и работать политическим заключенным, отбывшим срок наказания. Таруса — городок, над которым витает присутствие Бога. Она не похожа на большой город с его быстрым ритмом жизни, шумом и дымом заводов. Ее окаймляют две реки — Ока и Таруска. Вокруг до самого горизонта тянутся бесконечные леса. Вершины деревьев подпирают небосвод. К прибрежным причалам привязаны лодки. День и ночь не смолкают звуки песен на улицах. И только луна свидетель тому, как сердце открывается любви и губы шепчут благословение бесконечной Вселенной.

Таруса похожа на другие городки России, обойденные индустриализацией. Уровень жизни здесь весьма средний. Только стараниями Константина Плаустовского построена двухэтажная деревянная гостиница (местные жители считают, что он пожертвовал на нее деньги из собственного кармана). Есть водопровод, замощены две главные улицы. И все же есть здесь некая прелесть и красота особого рода. Площади со вкусом оформлены местными художниками и скульпторами, в музее — произведения искусства, которыми вполне можно гордиться. Во всем прочем — типичный районный городок, со скудной жизнью и нехваткой средств, несчастный, как все прочие. Райцентр. В магазинах не хватает товаров, ресторан — на втором этаже старого деревянного дома — угощает жирной свиной с макаронами, борщом и кислым салатом, который именуют "силос". Так и живут.

Летом Тарусу заполняют дачники из Москвы и других больших городов. Городок пробуждается к жизни, на улицах в любой час полно гуляющих, на обеих реках купаются, катаются на лодках, поют песни на просторе. Славное место, отмеченное именами многих писателей и художников, надолго поселившихся в этих местах.

В 1961 году Калужское книжное издательство выпустило в свет литературно-художественный альманах "Тарусские страницы", сразу замеченный читателями благодаря многим помещенным в нем новым и смелым публикациям. Попал этот альманах и в наши края, на Воркуту, где я отбывал тогда пожизненную ссылку. Прочитав альманах, я написал письмо Аркадию Штейнбергу, стихи которого, опубликованные в "Тарусских страницах", показались мне делом рук волшебника. Прошло два года. В 1963 году счастье, наконец, улыбнулось и мне: я был реабилитирован и получил разрешение вернуться в Москву (где когда-то, в 1937 году, был арестован). "Закрепившись" в Москве, я первым делом решил съездить в Тарусу, чтобы повидаться со Штейнбергом.

О своем приезде я Аркадия не предупредил. Уже в Тарусе я вдруг обнаружил, что название его улицы начисто вылетело у меня из памяти. Я бес-

цельно брел по городу, как вдруг увидел группу оживленно беседующих женщин.

— Штейнберг? — Никто такого имени не знал. — Может, имя-отчество знаете?

— Аркадий Акимович.

— Что ж вы сразу не сказали!

Идти было недалеко. Вскоре я уже стоял около небольшого бревенчатого домика. Из-под крыши взмыла и закружилась в небе стая голубей. Я вошел во дворик, поднялся на террасу и постучал в дверь. Ответа не было. Вокруг тишина. Я уже повернулся, чтобы уйти, — но путь был отрезан. Породистый волкодав удивительной красоты скалил зубы, загородив собой калитку. Делать было нечего — оставалось ждать хозяев.

Но вот появился Аркадий — чуть выше среднего роста, широкий в кости, крепкий и основательный, в простой крестьянской одежде. Мозолистые руки явно знакомы с физическим трудом, а длинные пальцы выдают музыканта и художника: рисунки на стенах комнат, деревянные скульптуры на подставках — дело его рук. Дом внутри — типичная крестьянская изба: к просторной комнате, вроде гостиной, примыкают две другие, поменьше, да кухня, большую часть которой занимает огромная русская печь. В гостиной по всем стенам до потолка тянутся книжные полки: книги на славянских языках, по-английски, на латыни; на отдельной полке — переводы хозяина из славянской поэзии. На потолках — парящие огненно-красные птицы — так и кажется, что они вот-вот сорвутся с потолка и вспорхнут в небо. Рамы окон — в ярких цветах, а в окне, обращенном к востоку — витраж работы Штейнберга: два старика с мудрыми и зоркими глазами.

— Гиллель и Шаммай, — объясняет Аркадий.

На столе появились настойки-травники, соленые огурцы, помидоры, капуста, прибыл украинский борщ и гречневая каша, обильно заправленная подсолнечным маслом. А потом были стихи — собственные и переводные. В моей жизни, полной приключений и ужасов, немного было таких прекрасных вечеров. Ближе к темноте мы вышли погулять по Тарусе. Полная луна плыла над нами, словно приглядываясь в темноте ночи к делам земным. За дальним берегом Таруски — бескрайние поля. Тишина и покой. Чувствуешь себя частицей загадочной вселенной, живущей по своим законам, изменить которые не дано человеку. Так начинается любовь ко всему существу, когда кажется, что все сущее разделяет твою любовь...

В ту ночь я спал глубоко, без снов. А наутро, после скромного завтрака в сопровождении домашнего вина, снова пошли в город: Аркадий обещал мне сюрприз.

Сюрпризы начались почти сразу. Выйдя на площадь, мы встретили двух явно столичного вида людей: крепкого широкоплечего старика в широкополой шляпе и пижамной куртке и худощавого мужчину среднего роста с голубыми пронизательными глазами, опиравшегося на палку. Аркадий представил меня.

— Соломон Лурье, — назвался старик. Это имя было мне знакомо. Профессор-античник Московского университета Соломон Яковлевич Лурье

незадолго до войны выпустил основательное исследование антисемитизма в древнем мире.

— Наконец-то мы встретились, — сказал второй, с широкой улыбкой протягивая мне руку. — Амусин Иосиф Давидович. Виноват, так и не ответил на ваше последнее письмо из Воркуты. Очень интересно было читать ваши письма, дорогой Минц, но и трудновато — вы ведь мне писали на иврите...

Тут надо сказать несколько слов. Об открытии рукописей Мертвого моря я узнал с большим опозданием. В Советском Союзе об этом долго не сообщали. И вот, наконец, профессор-историк Амусин опубликовал в Институте народов Азии и Африки сразу нашумевшую книгу "Свитки Мертвого моря". Я прочел ее залпом и тотчас написал ему из своей Воркуты. Завязалась переписка. Амусин терпеливо отвечал на все мои вопросы. Я писал ему на иврите, ответы от него приходили по-русски. Лишь спустя много времени я узнал, какие хлопоты доставил цензору своим ивритом... И вдруг письма Амусина перестали приходить. Я был в недоумении. И вот тут, в Тарусе, все разом разъяснилось.

— Аркадий, я забираю Минца с собой, — сказал Амусин. — Встретимся, как договорились, в пять у Нади.

И с этими словами он зашагал к реке. Я последовал за ним.

Поначалу мы молчали. Оба чувствовали себя немного скованно. Уже в доме, усадив меня за стол, Амусин вдруг протянул мне какую-то папку. Я раскрыл ее и увидел ... свои письма.

— Понимаешь, дорогой Минц, живем мы с Леей в маленькой комнате, в коммунальной квартире, книг множество, вот папка куда-то и заделалась. Только перед самым отъездом сюда я на нее наткнулся и взял с собой, чтобы ответить... Что ж, теперь можно это сделать лично.

Беседа была неспешной и долгой. Я говорил на иврите, Амусин внимательно слушал, просил объяснений, добивался смысла слов и понятий, выяснял законы построения глагольных форм. Вдруг он бросил взгляд на часы, подскочил в кресле, что совсем не вязалось с его общей спокойной манерой, и попросил прощения: ему необходимо встретиться с женой.

— Я тут же вернусь, — добавил он и вышел, положив передо мной отски своих лекций о надписях на камнях в окрестностях Кфар-Нахум (Капернаума), что в Нижней Галилее. Я углубился в чтение.

Амусин вернулся, весь сияя.

— Ну, друг Минц, вы приглашены на обед.

— К кому? — спросил я.

— К Наде Мандельштам. Готовятся полным ходом, и моя Лея творит там фаршированную рыбу...

К пяти часам мы отправились в дом, который снимала Надежда Яковлевна Мандельштам. Расселись на удобных лавках — Лурье со старшим сыном и его женой, Амусин с женой, Аркадий Штейнберг и я. Надежда Яковлевна села во главе стола. Водка для "мужиков", вино и вишневая наливка для женщин, цветное керамическое блюдо, наполненное фаршированной рыбой, — творение Леи Амусиной, и рядом — тушеное мясо с картошкой и гусятина. День был прекрасен. Воздух дышал ароматом леса и трав, двор оведал прохладный освежающий ветерок.

Тамадой выбрали Аркадия. По его команде все встали и по сигналу "пьем до дна" дружно опорожнили бокалы. Надежде Яковлевне по ее просьбе налили водку. Раздали фаршированную рыбу с хреном из хозяйского огорода. Тут встала и сама владелица дома:

— Я хочу выпить в уважение и за здоровье Надежды Яковлевны. Надя, ты такая красивая! Ты стихи читаешь, и не только Осипа, замученного и забитого до смерти прислужниками "усатого". Ты мне душу перевернула рассказами о том, что сделали с тобой и с Осипом — мужем твоим. Как такое могло случиться? Как люди стали такими злыми? Вот они, знаки нового времени... Смотрю я на тебя, и глаза мои не верят, как ты еще имеешь силы нести свой крест, как Иисус. Молюсь я, чтобы Спаситель наш милосердный дал тебе силы на долгие годы... Когда ты попросила сдать тебе комнату, я было засомневалась. Как посмотрят горсовет и горком? Начала я узнавать, что ты за человек. И когда узнала я, сколько ты, Наденька, настрадалась, что даже Москва тебя боится, тут же решила, что у меня, в моем доме ты найдешь приют и что это для меня — большое уважение и почет... Выпьем за Наденьку, чтобы не потерять веру нашу в Бога всемогущего, что на небесах... Есть Бог, и не в церкви Он, а в сердцах людей честных и совестливых, над нами Он, подруга моя дорогая...

Слова ее потрясли наши сердца. Нелегко было Аркадию вернуть застолье к покою и мирному настроению. Всем стало грустно. Но мало-помалу настроение вновь поднялось. Хозяйка поставила на стол кипящий самовар. Аромат свежезаваренного чая зашекетал ноздри. Пили в молчании. Кто-то тихо перешептывался с Надеждой Яковлевной. Она так же тихо отвечала, с трудом отрываясь от своих мыслей. Потом вдруг встала и заговорила чуть хрипловатым голосом:

— Друзья, я прочитаю вам отрывки из книги, которую сейчас заканчиваю писать. Это воспоминания о нашей жизни, об Осипе, о друзьях, о нашем жестоком времени. И о себе. Я буду читать по памяти, но каждое слово будет как в написанном тексте. Если мне повезет и книга будет издана, вы сможете сами в этом убедиться...

Она провела рукой по лицу, остановилась на минуту и продолжала:

— Пусть нелегко мне живется и не пускают меня в Москву, где прожила я многие годы, но и в этом городке я чувствую тепло людских сердец. Эти люди, знающие тяжесть труда, крестьяне, знающие тяжесть жизни, ободряют меня, не употребляя для этого высоких слов: они просто понимают мои страдания и муки, понимают, что такое неправая жестокость... То, что вам придется услышать, примите, как оно есть, как ни тяжело принять это, как ни трудно свыкнуться с этим...

И она начала свой рассказ.

Как жаль, что память человеческая не может сохранить впечатления в первозданном виде, не может передать всего в точности. Сначала я не мог вникнуть в смысл ее слов, суть их ускользала от меня, голос рассказчицы звучал слабо и невнятно. Но постепенно душа моя как будто расширилась, понимание обострилось, возникли образы, картины, все начало жить, стало значительным. Я почувствовал меру человеческого страдания. Пережитое мною самым отошло в сторону. То, что было пережито ею, превзошло меру выпавшего на мою долю...

Присутствующие сидели в молчании, подавленные картиной страданий и жестокости, открывшейся перед ними, рассказами об арестах и страданиях, муках и гибели. Книга раскрывала психологию террора и насилия, которые господствовали в стране. Слепая вера в авторитет и страх перед ним превратили подручных Сталина в кровожадных псов. Страх привел к тому, что люди перестали верить друг другу.

Мне запомнились слова, сказанные Надеждой Яковлевной о еврейских интеллигентах — Шкловском, Бабеле, Пастернаке, о глубокой связи Мандельштама с Библией, экземпляр которой был подарен ему Яхонтовым, популярным тогда чтецом, об антисемитизме, который насаждается в Советском Союзе сверху.

После обеда, который слился с ужином, мы с Аркадием еще прошлись по тихим, залитым луной улицам и вернулись к нему.

Встали мы с рассветом. Начался новый день, но я никак не мог забыть вчерашнего чтения. С глубокой жалостью я думал о женщине, потерявшей все — любовь, дом, семью. Нашла ли она себя в христианстве? Трудно было в это поверить, видя ее смятение и гнев...

В тот же день я уехал в Москву, нагруженный подарками — книгами Амусина и Лурье.

Эти тарусские встречи имели свое продолжение. Почти десять лет спустя мне довелось снова встретиться с Надеждой Яковлевной — на этот раз в Москве, куда ей, в конце концов, разрешили вернуться. Ей удалось купить крохотную кооперативную квартиру — комната в четырнадцать квадратных метров и чуть поменьше кухня, она же рабочая комната, да совмещенный санузел с сидячей ванной — в девятиэтажном блочном доме в Верхних Черемушках. На мой звонок открыла высокая незнакомая женщина, пробормотала что-то невнятное и повела меня через комнату в "кабинет", то есть на кухню. В квартире почти не было мебели: старый платяной шкаф, алюминиевая раскладушка, старый венский стул грубой работы, в кухне — широкий потертый диван, сквозь обивку которого торчали пружины, да рабочий стол со множеством книг и настольной лампой; диван, видимо, служил хозяйке также и креслом; тут же газовая плитка, над ней полка с немногочисленной посудой, что-то похожее на буфет, табуретка и два стула.

Пришел я к Надежде Яковлевне с письмами от своих израильских друзей — поэта и переводчика Авраама Шленского и переводчика Арье Ахарони из кибуца Бет-Альфа. Арье писал, что сообщил Надежде Яковлевне о подготовке издания ее книги на иврите в переводе Шленского, но не получил от нее ответа. С этого я и начал свой разговор с Надеждой Яковлевной, положив перед нею оба письма и добавив, что они написаны на иврите. Она с любопытством взяла их и взглянула на марки.

— Из Израиля? — спросила она. — Вы сможете дать мне марки?

— С удовольствием, — ответил я, тут же отделил их от конвертов и объяснил, как отклеить их, не повредив, от бумаги.

Она положила марки перед собой и стала молча и сосредоточенно их разглядывать, не говоря ни слова.

— Надежда Яковлевна, — говорил я, — эти письма адресованы вам, но

они написаны на иврите. Я прочту их строка за строкой и переведу на русский...

— Ни в коем случае! Что с вами? Читайте сразу, как написано. Я ведь немного понимаю иврит...

У меня потеплело на сердце. Как ни далека она от еврейской жизни, но сам факт такого усилия... И я начал читать.

Движением руки она дала понять, чтобы я читал помедленней, без спешки. Потом выложила мне весь свой запас ивритских слов: бокер тов (доброе утро), шалом, ма шломха (как поживаете), ма шимха (как вас зовут), доди ха-якар (дорогой дядюшка) и еще несколько слов.

— Мало, очень мало, — сказала она. — Это все, что я выучила на этом прекрасном языке, больше не усвоила, — добавила она с виноватой улыбкой. — Читайте дальше, пожалуйста.

Я вновь начал читать, выделяя каждое слово и букву. Я чувствовал, что она вся обратилась в слух и буквально поглощает звуки нашего языка.

В своих письмах Ахарони и Шленский в самых теплых словах выражали свое восхищение отвагой, которую проявила Надежда Яковлевна при написании книги, и обещали, что книга выйдет в свет на иврите. Я постарался перевести написанное как можно точнее: если она решит приехать в Израиль, ее встретят здесь тепло и с открытым сердцем, она найдет себе место и сумеет написать все, что захочет, без ограничений и цензуры, ей во всем помогут. От себя я добавил, что мои друзья-переводчики просили передать, что в нашей стране ей будет спокойно и хорошо.

— Спасибо, — ответила Надежда Яковлевна. — Мне очень дороги израильские марки — это доказательство возрождения народа на его древней родине. Красивые марки! Жаль, что их нельзя купить здесь открыто... Израиль Борисович, уважаемый, к сожалению я не могу принять приглашение ваших друзей приехать в Израиль. Я не могу задумывать жизнь на годы вперед... сами понимаете — возраст... Если бы я могла приехать в Израиль и тут же получить гражданство, я сделала бы это тут же! Но ведь я не еврейка, я православная христианка. Пришлось бы мне ждать пять лет для получения израильского паспорта. Это уже мне не по силам. Этого мне не вынести, быть в Израиле чужой! Я интересовалась законом о гражданстве — это мне не подходит. А ведь обстоит, к сожалению, именно так. Жаль! Я очень рада, что нашла отзвук в Израиле. Хотелось бы получить экземпляр перевода. Поверьте мне — я просто упиваюсь звуками иврита. Это как эхо далеких времен, как Божественный голос культуры моих братьев, крестьян и воинов, как голос пророков, требовавших справедливости для всех... Будет очень хорошо, если внешние разрушительные силы, которые повсюду стремятся установить свои "порядки", оставят Израиль в покое...

Помолчав, она добавила:

— Сейчас я пишу вторую книгу. От глубины сердца молюсь Богу, чтобы дал мне силы и разум закончить это важное дело...

Дальше последовал обычный обмен любезными словами, чаепитие... Она проводила меня до двери, пожала руку. Я почувствовал в ее рукопожатии приветствие всей нашей стране и всему нашему народу. На прощание она сказала:

— Спасибо вам, Израиль Борисович, за посещение, за то, что мне дове-

лось услышать звуки древнего иврита, спасибо за теплые слова от друзей в Израиле. Передайте им горячий привет. Тогда раба (большое спасибо), — добавила она на иврите.

Меня провожала из квартиры та самая женщина, которая открыла мне дверь. Не была ли она стражем Надежды Яковлевны по поручению "Большого брата"? Кто знает... Я не хотел углубляться в догадки. Перед уходом я напомнил Надежде Яковлевне о встрече в Тарусе, когда она была еще ссыльной. Она не помнила.

"Боже, — думал я долгой дорогой к метро. — Какая сила дана еврею, чтобы он всегда оставался евреем, даже когда оставляет свой народ и веру... Что это за сила? Неужели биология? Или древняя закваска, связь, которую время не смогло стереть? Вера в то, что не исчезло наше прошлое, наша таинственная сила? Вот женщина — столько страдавшая, столько видевшая чужих страданий, прожившая всю жизнь в другой культуре. И вот она доказывает: меня не сломали! Какая нравственная сила сберегла ее? Может, она из тех нынешних "тайных иудеев", кто молится "сокрытому Ягве", принявшему для них вид Иисуса, который стал нравственным символом; распятый стал воплощением протеста, любви к ближнему?"

Так шел я и думал об этой вечной загадке...

И. Минц — переводчик и публицист, активный участник сионистского движения в России в довоенные годы, автор ряда мемуарных публикаций.

ПАМЯТИ ЯКОВА ЯННАЯ

Яков ("Яка") Яннай умер в возрасте 70 лет. Он был давно болен, перенес операцию на сердце и тем не менее умер внезапно: на вечере, посвященном выходу в свет его книги "Мулька", во время разговора с друзьями.

"Яка" Яннай был одним из тайных эмиссаров нелегальной эмиграции евреев из Европы, организованной руководством палестинского ишува сразу же после второй мировой войны. Вместе со своим командиром Шмуэлем ("Мулькой") Иоффе он успел спасти и переправить через Польшу 450 советских евреев прежде, чем его арестовали агенты КГБ. Яннай и Иоффе были приговорены к 25 годам сталинских лагерей, но Иоффе умер в тюрьме, а "Яка" отсидел 11 лет и сумел вернуться в Израиль. О своем друге и командире "Яка" рассказал в своей предсмертной книге "Мулька", о себе он рассказывать не хотел — это сделали другие ("Через три подполья" — русский перевод издательства "Библиотека Алия").

В Израиле Яков Яннай долгие годы возглавлял один из секторов русского отдела МИДа и на этом посту завоевал искреннее уважение и любовь многих представителей еврейской интеллигенции из СССР, которым довелось с ним работать и сталкиваться. Высококультурный, по-европейски образованный, пронизательный и отзывчивый человек с мягкими манерами и мягким юмором, он был представителем той особой породы незаметных героев, которая особенно характерна, пожалуй, для Израиля. Он был большим другом и поклонником нашего журнала, и мы сохраним о нем самую добрую и долгую память. Зихроно ле-враха.

ИЕРУСАЛИМСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

Поразившим всех результатом двенадцатых израильских парламентских выборов было завоевание религиозными партиями восемнадцати (из ста двадцати) мандатов, причем в отличие от прежних лет тринадцать из этих мандатов получили ультраортодоксальные партии. О причинах и возможных последствиях этого результата высказываются сегодня на страницах журнала два секулярных и один религиозный автор.

Нина Воронель

ТРЕВОГИ И ОПАСЕНИЯ

Самым поразительным для меня и, думаю, не только для меня был не столько успех ультрарелигиозных партий на самих выборах, сколько их поведение после выборов — их полное и удивительное единодушие в этом поведении, их абсолютная глухота ко всем доводам разума, к аргументам всех тех, кто говорит им, что их требования фактически направлены против государства Израиль, против народа и в каком-то смысле даже против них самих. Они не допускают никаких возражений, уходят от ответов на все обвинения и, отвергая все доводы — справа, слева, из Америки, из России, — с поистине фанатичным упорством продолжают настаивать на своих убийственных и самоубийственных требованиях.

Это поведение настолько озадачивает, что невольно заставляет думать: что же произошло? Мне кажется, что произошло завершение некоего процесса, который назревал уже сорок лет и сегодня проступил наружу во всей своей голой очевидности. Две тысячи лет евреи жили в рассеянии, и все это время их единственной защитой, опорой, надеждой, их армией, флотом, судом, государством была еврейская религия. Я бы сказала точнее: не "религия", а — "церковь". Но показательно, что в еврейском определении такого слова — "церковь" — не существует. В христианстве есть различие между религией и церковью, в иудаизме такого разделе-

ния нет. Отсутствие разделения указывает на нежелание делить, в данном случае — делить власть. Еврейские религиозные лидеры и авторитеты никогда ничем не хотели ни с кем делиться — они хотели иметь все. Они и были всем — две тысячи лет подряд. Тотально. Они были Богом, самим Богом, его полномочным и полноправным представителем на земле.

В течение двух тысяч лет у евреев не было ни государства, ни культуры, ни одной сферы общественной или индивидуальной жизни, которая не была бы подчинена тотальной власти иудаизма. Когда, наконец, удалось возродить еврейское государство, оказалось, что в этом государстве иудаизм отодвинут на второй план. Вдруг выяснилось, что восемьдесят процентов населения государства Израиль вообще могут обойтись без иудаизма, вышли из-под его контроля, образуют секулярное большинство. Для них Армия Обороны Израиля, парламент страны, ее правительство важнее, чем моления в синагоге или предписания Любавичского ребе. Примириться с этим для религиозных кругов было невозможно. Однако сорок лет подряд у них не было никакой реальной возможности этому противостоять. Сегодня такая возможность у них появилась.

Таким образом, то, что обнаружилось в результате последних выборов, то, что выражается в поведении всех ультраортодоксальных партий, — это скрывавшийся ранее под спудом факт непримиримого расхождения между еврейским государством и еврейской "церковью", или проще — между сионизмом и иудаизмом. И это не просто расхождение по частным вопросам, это — принципиальный спор, спор не на жизнь, а на смерть: кто кого. Ибо это спор о власти. Религиозные партии всегда понимали, что сионистское государство несовместимо с их идеалом теократического общества. И чем крепче такое государство, тем меньше становятся шансы на установление подобной теократии. Поэтому они всегда — сознательно или бессознательно — стремились к ослаблению этого государства, вплоть до его уничтожения. Ведь только исчезновение еврейского государства может вернуть еврейской "церкви" ее прежнюю позицию в еврейском мире. Именно этим объясняется упорство религиозных лидеров в тех безумных, убийственных для государства требованиях, которые они выдвигают, их единодушие в этих требованиях, их кажущаяся глухота к доводам рассудка. Ибо для них — и для нас, если кто еще этого не понимает, — вопрос сегодня стоит именно

“кто кого” — сионизм или иудаизм? Их упорство вовсе не продиктовано какой-то там политической близорукостью, или непониманием последствий этих требований для государства, или слепой погоней за сиюминутными интересами; напротив — они прекрасно понимают, на чем настаивают. Это продуманная политика, и направлена она на одну-единственную цель: добиться максимального ослабления, а затем и полной ликвидации еврейского государства. Именно поэтому их не страшит опасность, которую их требования представляют для государства Израиль. Наоборот: чем хуже для государства — тем лучше для них.

Это мой главный тезис. Я понимаю, что он звучит страшно и требует подтверждений. Но мне кажется, что даже самый простой, непредвзятый взгляд на ситуацию дает такие подтверждения.

Прежде всего: почему я говорю о наступлении иудаизма на сионизм? Я думаю, что по отношению к иудаизму сионизм и государство выступают как одно и то же. Сионизм в моем понимании — это убеждение, что евреи имеют право на свое государство, причем государство секулярное, демократическое, современного западного типа. Но наличие такого государства естественно влечет за собой отмену полновластия иудаизма в еврейской жизни. Поэтому иудаизм — как целое, как мировоззрение, как религия, без различия: хасиды, миснагдим и так далее, — все они вместе, как единая группа, не хотят сионистского государства. Именно эта общность цели обуславливает то единство действий религиозных кругов, которое мы видим сейчас. Некоторые из них уже сознают это и действуют вполне сознательно, другие действуют пока еще подсознательно, интуитивно, они даже могут искренне возражать против таких обвинений, но суть, направленность их действий от этого не меняется. И секулярные израильтяне тоже — кто сознательно, кто интуитивно — чувствуют эту направленность, чувствуют в религиозных своего главного врага. Кто-то сказал, что люди потому испытывают такое отвращение к насекомым, что подсознательно знают, что это их главный соперник на Земле, что насекомые когда-нибудь уничтожат человека. Точно так же удивительная враждебность многих неверующих людей, как будто бы равнодушных к религии, тоже происходит от того, что они подсознательно видят в ней главного врага, цель которого — добиться всего, что для еврейского государ-

ства не просто опасно, но — смертельно опасно. Иудаизм этого хочет, он к этому стремится, это его основная цель.

В нашем журнале публиковалась когда-то статья Вартбурга “Плата за сионизм”, где подробно рассматривалась история этого вопроса. Там было убедительно показано, что все сорок лет существования государства религиозные круги яростно противились конституции и другим современным государственным формам и открыто провозглашали, что их идеалом является теократия, общество, управляемое законами Галахи и “церковью”, как ее представителем на земле, а вовсе не конституцией и секулярными законами. То, что я добавляю к этому сегодня, состоит в том, что сейчас эта вековая борьба перешла из сферы чисто идеологической в сферу практическую, политическую. Сегодня религиозные, антиссионистские круги впервые получили такую силу, что реально могут начать движение к своей цели.

В христианстве тоже было нечто подобное. Многие столетия между христианской церковью в Европе и правителями европейских государств шла борьба за гегемонию. Были времена, когда папы утверждали и низлагали императоров. Однако тут есть принципиальная разница: христианство с самого начала провозгласило принцип: “Кесарю кесарево, Богу Богово”. И этот принцип создавал возможность компромисса, который в конце концов был достигнут. Напротив, иудаизм всегда претендовал именно на “кесарево”, то есть на земную власть. И две тысячи лет обладал такой властью. Абсолютной властью. А ведь нет ничего страшнее и заманчивей полновластия. Всякая власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно. Иудаизм был тоталитарной властью в еврейском мире, он предписывал все мелочи быта и контролировал все направления мысли. В отличие от христиан, у евреев никогда не было выбора, не было второго, государственного полюса жизни, не было королей, императоров, феодалов — были только раввины.

Сегодня религиозные круги, на время оттесненные сионизмом, снова взяли курс на восстановление этого бывшего состояния. И за ними большая сила. Это прежде всего — сила соблазна. Сегодняшний мир настолько сложен и страшен, что многие люди невольно ищут убежища и защиты в рамках веры. И еще больше таких, которые готовы признать, что в религии “что-то есть”. Ведь не случайно так много неверующих избирателей на нынешних выборах испугались проклятий рава Овадия Иосефа или польстились на благословения Любавичского ребе, с помощью кото-

рых эти религиозные лидеры привлекали людей голосовать за свои партии. В нашем обществе сохраняется уважение к традиции, к религии предков: в конце концов, против сохранения элементов иудаизма — именно как традиции, как наследия, — не возражают даже самые пылкие левые в Израиле. Но, к сожалению, слишком многие не понимают, что цель религиозных кругов состоит не просто в сохранении или распространении иудаизма, а в том, чтобы восстановить свою былую абсолютную, тотальную власть. Не власть веры или Торы, а именно власть “церкви”, раввината, в этом разница. Иными словами, их цель — навязать свои правила жизни остальным восьмидесяти процентам населения. Конечно, они отрицают такую цель, и многие из них даже утверждают, что иудаизм в принципе не допускает религиозного принуждения. Можно долго спорить, действительно ли это так. Религиозные охотно уводят проблему именно в эту сторону. Они уверяют, что никакого принуждения не будет, что они стремятся всего лишь “к восстановлению статус-кво”, то есть установленного еще при Бен-Гурионе разделения власти между государством и раввинатом. И тогда спор незаметно переходит на частности: нарушено ли статус-кво, в какую именно сторону оно нарушено и так далее. Со своей стороны, многие секулярные израильтяне тоже склонны спорить по мелочам. Они видят главную опасность в том, что им не разрешат ходить в ресторан или смотреть футбол по субботам, и не видят, что подкоп идет под самые основы их жизни — под существование секулярного государства вообще.

Чтобы не быть голословной, возьму главные требования религиозных кругов. Первое, чего они хотят, — поссорить Израиль с мировым еврейством. Они сорок лет пытались изменить закон о возвращении так, чтобы те, кто прошел обряд перехода в иудаизм по реформистскому или консервативному обряду, не считались евреями. Сегодня они выдвинули это требование уже как ультиматум, как первое условие своего вхождения в любую коалицию. И обе главные партии, и Ликуд, и Маарах, нуждаясь в них, как в коалиционных партнерах, дали согласие на такую поправку к закону. Но если эта поправка будет принята, мы потеряем поддержку мирового еврейства. Конечно, евреи диаспоры достаточно часто критикуют политику того или иного израильского правительства. На Западе есть еврей-сторонники Маараха, и еврей-сторонники Ликуда, и даже еврей-сторонники Кахана. Но это вполне легитимное, законное деление. Иногда действия наше-

го правительства раздражают одну, часть западных евреев, иногда другую. Но то, чего требуют религиозные партии сейчас, не может не оттолкнуть западное еврейство как целое. Ведь такая поправка, по существу, объявляет все еврейство диаспоры второсортным, более того — сомнительным: право решать, евреи ли они вообще, должно отныне полновластно принадлежать только израильским ультраортодоксальным кругам. Тут уже затрагиваются интересы любой западной еврейской семьи. Скажем, проблема трансфера не может задеть личные интересы западного еврейства, как целого — западное еврейство и само не знает, как должен вести себя Израиль, чтобы уцелеть. Зато оно наверняка хочет, чтобы Израиль уцелел. Поэтому возможность трансфера и других политических решений ими не так уж однозначно отвергается, даже если немножко и противоречит их любимым либеральным ценностям. А вот вопрос о их еврействе или не-еврействе для них стоит однозначно. Сама постановка этого вопроса, сам факт сомнения в их еврействе их оскорбляет, больше того — он обесмысливает все их отношение к Израилю. Это отталкивает даже тех, кому, казалось бы, вопрос должен быть безразличен, у кого бабушки и матери — еврейки. Недаром это требование наших религиозных кругов вызвало такую бурю среди западного еврейства, какой не вызывало ни одно политическое решение или действие нашего правительства. И это не случайно: то, что задевает лично, куда острее, чем то, что задевает только общественно.

Кое-кто, может быть, считает, что западное еврейство пошумит и смирится. А не смирится — тоже невелика потеря. Деться-то диаспоре все равно некуда: Израиль ведь один. Ну, потеряем мы сто миллионов долларов еврейской помощи, ну, даже триста миллионов — не погибнем же! Но дело здесь не только в финансовой помощи или в политической поддержке еврейского лобби. Я помню разыгравшийся в нашем журнале спор с Е. Фиштейном. Он призывал нас смотреть на диаспору с любовью, а наши авторы отсюда ответили ему дружным "нет": мы, мол, идем своим путем, а вы — хотите, присоединяйтесь к нам, а не хотите — пеняйте на себя. Но дело-то в том, мне кажется, что наша любовь к диаспоре — желательна, а любовь диаспоры к нам — жизненно необходима. Без этой любви наша жизнь здесь теряет свою реальную основу. Мы не можем — возможно, пока — но не можем жить обособленно, мы погибнем без их любви. Израиль все еще слишком маленькое, слишком слабое государство. В глазах мира мы все

еще проблематичное образование — как пересаженный орган: может, приживется, а может, нет. И я уверена, что в этих условиях поддержка западного еврейства, при всей ее сомнительности, в чем-то глубинном, самом существенном нам необходима: это то, что выручает в трудную минуту. А таких минут у нас предостаточно. Если другим странам их отношение к Израилю диктуют только их интересы, то те же интересы могут в определенный момент продиктовать отвернуться. А тот, кто любит, в трудную минуту не отвернется. Он всегда помнит. Сейчас западное еврейство о нас помнит. Оно ест, развлекается, зарабатывает, совокупляется, но при этом все время помнит, что где-то там существует Израиль. И вот эту пуповину памяти наши религиозные круги толкают нас порвать. Это роковой разрыв, исторически роковой.

Что же, наши религиозные круги этого не понимают? Или их просто ослепляет двухсотлетняя распря между ортодоксией и реформизмом и предоставившаяся сейчас возможность разнавсегда покончить с этой борьбой за гегемонию в еврейском мире в свою пользу? Нет, они достаточно хитрые и умные политики, чтобы не видеть последствий своей затеи для государства Израиль. Просто им — не жалко. Ведь это поразительно, что при всей взаимной ненависти внутри религиозного лагеря, вовне все его партии так единодушны в этом безумном ультиматуме. Потому что им всем не жалко сейчас уничтожить еврейское государство, это их общий и главный исторический интерес, они хотят этого, пожалуй, даже больше, чем Арафат, они готовы все превратить в руины. Наоборот — только на руинах они и могут рассчитывать расцвести.

В том же направлении объективно действует их второе главное требование — освободить как можно больше учащихся ешиботов от армейской службы. При этом они ведут бешеную пропаганду за возвращение к вере, самую бешеную вербовку в свои ешиботы и колели, — чтобы как можно больше людей всю жизнь изучали Тору и не служили в армии. Я уже не говорю о моральной нечистоплотности такого положения, когда секулярные израильтяне должны будут, в ущерб своей нормальной жизни, защищать обеспеченных стипендиями (за счет тех же секулярных налогоплательщиков) религиозных студентов; я не говорю об экономической катастрофе, которая грозит государству, если все возрастающая часть молодого поколения будет отвлекаться от продуктивного

труда на изучение Торы и все возрастающая часть государственных средств будет омертвляться в религиозном секторе. Я могу ограничиться чисто оборонной стороной дела. В 1948 году освобождение от армейской службы получили около 600 верующих; сегодня такую "отсрочку" (которая превращается в пожизненную) получает 20000! Еще недавно для получения отсрочки нужно было доказать искреннюю преданность делу изучения Торы — например, поступить в ешиву за два года до призыва, в 16 лет, — но затем тогдашний ликудовский министр обороны Вейцман, с целью привлечь религиозные партии в коалицию с Ликудом, разрешил отсрочку по простому заявлению о желании (!) поступить в ешибот. Что такое 20000 освобожденных? Это не мелочь. Это пять процентов от общей численности нашей армии, вместе с резервистами. Это — две армейские дивизии! Если в секулярной части населения в армию идет десять процентов населения, то в религиозной части каждый третий (!) армейской службы избегает. И это число растет примерно на тысячу в год. Оно росло на тысячу в год, когда религиозные партии еще не имели такой силы, какую получили сейчас, а сейчас они хотят довести это дело до конца, до полного освобождения всех своих верующих от призыва. Через 10–15 лет все шестьдесят-восемьдесят тысяч религиозных юношей и девушек будут освобождены от армейской службы, четверть населения страны будет жить за счет остальных, ничего не производя, не защищая, только потребляя и паразитируя на остальном обществе. Можно представить себе, насколько это ослабит наше государство... Но это и есть дальняя цель религиозных кругов. И с ней связано и их третье требование: закрепить за ними министерство образования. Зачем им оно? Затем, чтобы воспитывать в новом поколении все больше и больше верующих, переносить тяжесть занятий не на изучение компьютеров, а на изучение Торы. Именно потому они так бешено рвутся и ко всем постам, ко всем министерствам и учреждениям, которые связаны с деньгами — вплоть до государственной лотереи. Дело не просто в том, что они хотят денег, но хуже — они хотят перекачать эти деньги израильского секулярного налогоплательщика на свои ешиботы, колели, академии, раввинские суды и прочие религиозные учреждения. Пока Ликуд и Маарах спорят, направить деньги на поселения или спасение концерна Кур, религиозные под шумок хотят сделать так, чтобы этих денег вообще не было — ни у Кура, ни у поселенцев, ни у Ликуда, ни у Маараха, то есть у

государства. Религиозные партии готовы на финансовое ослабление государства, чтобы обеспечить своих верующих возможностью беспрепятственно и обеспеченно плодиться. Они сегодня — самая быстро растущая часть израильского населения, а если их еще обеспечить щедрыми стипендиями и освобождением от армии, чтобы они не думали о добывании средств работой, то их процент в стране начнет стремительно возрастать. И это — тоже одна из составных частей религиозного плана. Пусть будет меньше образованных рабочих, техников, врачей, инженеров, ученых, пусть в школах не изучают компьютеры, пусть ослабевает государство, его экономика, армия, обороноспособность, наука, техника, культура, пусть уезжают молодые специалисты, не выдержав удушливой атмосферы научно-технической провинции и культурного гетто — наплевать; зато в следующем поколении будет больше религиозных, признающих единственную власть — власть раввина.

А если в ходе этого постепенного преобразования Израиля в иудаистскую теократию даже случится война и Израиль вообще погибнет — тоже не страшно. Ну, погибнет два миллиона, ну, три — это не важно. Важнее, что не будет сионистского государства. Государство им только мешает. Они не говорят этого открыто, но такая перспектива их не пугает. Потому что они видят желанное будущее совсем не так, как все мы, остальные. Они не боятся того, чего боимся мы. Их воодушевляет совсем иная утопия. Пусть падет государство, пусть здесь установится чужая власть, — им все равно, потому что только тогда они получат остатки уцелевших израильтян в такое же полное распоряжение, как сегодня Любавичский ребе — своих хасидов. Был же иудейский экзарх в Вавилонии, были еврейские первосвященники в Иудее при римских императорах! А на крайний случай они ведь могут эмигрировать в Америку. И начать все сначала. Но лично я думаю, что в случае чего им удастся договориться и с Арафатом, и даже с мусульманскими фундаменталистами в Палестине. Я даже думаю, что именно таким путем они могут добиться решения палестинской проблемы — конечно, весьма своеобразного решения: фанатики с нашей стороны договорятся с фанатиками с той стороны, наши религиозные лидеры получат безграничную власть в своей общине, которая возникнет после уничтожения Израиля, навяжут остаткам евреев жизнь, полностью погруженную в иудаизм, и тем самым получат автономию в палестинском госу-

дарстве. И станут духовными руководителями всего мирового еврейства. Пусть реформистское и консервативное еврейство выйдет из игры, пусть ассимилируется, оно им не нужно. Им вовсе не нужно, чтобы евреев было больше, им нужно совсем другое: чтобы все уцелевшие были "их", им нужна "чистая" еврейская раса — чисто еврейская и глубоко верующая. Они эту расу сначала отсортируют, избавившись от еврейского государства; а потом, из остатков — снова размножат, восстановят ее прежнюю мировую численность, но уже, чистой, полностью контролируемой ими.

Я никого не хочу пугать. Я верю, что теократическая утопия религиозных лидеров не осуществится; что секулярные партии поумнеют и "перестроятся", что в крайнем случае замыслы религиозных будут сорваны сопротивлением секулярной части общества. Рядовой израильтянин равнодушен к религии, пока она не мешает его личному благополучию. Но я боюсь, что, ощутив такую угрозу, он может ответить на нее вспышкой секулярного насилия. Впрочем, возможно и иное. Рядовой израильтянин может и смириться с постепенным ростом религиозного влияния, и тогда наше дело плохо. Ведь сегодняшняя победа религиозных партий — это не столько их победа, сколько поражение ведущих сионистских партий. А это означает, что поражение потерпел сионизм. Привлекательность сионистских идеалов для израильтян ослабла в целом. Этот вывод подтверждается тем, что внутри религиозного сектора тоже произошел отход от сионистского Мафдала к несионистским Шас и Дегель А-Тора и антисионистской Агудат Исраэль. Поворот религиозного населения в сторону от сионизма отражает общий поворот населения в стране. И только этим ослаблением сионизма можно объяснить самоубийственный раскол между Ликудом и Маарахом, которые готовы предпочесть союз с антисионистскими партиями союзу друг с другом, то есть тому единственному, что может сохранить сионистское государство. Идеологии отдельных партий и их узкопартийные интересы превратились в своего рода "религию", подменившую общесионистский идеал, и израильтяне сегодня голодают за разные, взаимоисключающие партийные "религии", а не за общегосударственные интересы. Если даже крайне левые партии готовы были войти в коалицию с религиозными, то это значит, что никаких, даже "идеологических" принципов у них уже не осталось. Конечно, партийные интересы секулярных

партий теснее связаны с общеизраильскими: но в том-то и дело, что они готовы эти последние похерить ради власти; не понимая, что у религиозных партий как раз никаких государственных интересов нет вообще, их интересы всецело и исключительно — антигосударственные, даже если некоторые из них в своих собственных глазах остаются сионистами. Такая слепота израильских лидеров может кончиться — если не в этот, так в следующий раз — тем, что ни Ликуду, ни Маараху уже не над чем будет властвовать.

Я не думаю, что сегодняшняя ситуация — просто единичный всплеск, одноразовое сочетание обстоятельств, выдвинувшее ультраортодоксальные партии так решительно вперед и вряд ли повторимое в будущем. Я вижу в этом выражение подспудной тенденции, которая набирает силу параллельно спаду сионизма в Израиле. Я вижу реальную опасность и мною владеет реальная тревога. Этим я и хотела поделиться. Не запугивая апокалипсисом, но призывая всерьез задуматься над тем, чего хотят религиозные партии для еврейства, к чему они — объективно — ведут. И чем это грозит Израилю.

Александр Этерман (Иерусалим)

РЕЛИГИОЗНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА

Чем объяснить успех религиозных партий на нынешних выборах? Следует иметь в виду, что даже итоги последних выборов еще не полностью отражают демографическую ситуацию. Если бы за религиозные партии проголосовало все религиозное население страны, они завоевали бы значительно больше мандатов. Правильнее было бы спросить, почему религиозный лагерь Израиля был так слабо представлен в Кнессете раньше. Дело, на мой взгляд, в том, что избиратели считали и, боюсь, справедливо, что религиозные партии плохо их представляют, плохо защищают их интересы. Но в последние четыре года положение стало меняться. Из партии Агудат Исраэль выделилась сначала партия Шас, а затем Дегель А-Тора, и несмотря на этот “раскол” все три партии добились на последних выборах большего успеха, чем одна Агудат Исраэль — на прежних. Видимо, произошедшая сейчас дифферен-

циация и "специализация" религиозных партий способствовала тому, что они стали теснее связаны со своими избирателями, а те, в ответ, стали гораздо активнее. Это одна сторона дела. Другая состояла в том, что предвыборная кампания прошла очень остро, между религиозными партиями выявились очень резкие противоречия, и это обстоятельство тоже побудило многих избирателей к активности.

Нынешняя "специализация" религиозных партий достаточно точно отражает разделение ортодоксального лагеря по группам и интересам. Шас представляет интересы огромной группы религиозных сефардов, выходцев из арабских стран, потенциал которой еще далеко не исчерпан, а в лагере ашкеназим, выходцев из западных стран, Агудат Исраэль взяла на себя представительство ряда хасидских движений, тогда как за Дегель А-Тора идет так называемое "литовское" течение в иудаизме (или "миснагдим", как некогда именовались литовские евреи-противники хасидов) и некоторые крупные хасидские движения. Например, белзских хасидов. В то же время нынешнее деление религиозных партий отражает не только групповое деление религиозного лагеря Израиля, но и существующее в нем различие подходов к общественным проблемам. Это различие продиктовано не столько интересами: они более или менее одинаковы — сколько разным пониманием путей их реализации.

В чем же видят разные религиозные партии возможные пути? Это коренной вопрос, и следует отметить, что именно новые партии, Шас и Дегель А-Тора, впервые поставили его в чистом виде. Вот как это выглядит. Для всех верующих израильтян общим является убеждение, что все существующие в жизни проблемы могут быть сформулированы на языке Торы, а потому наилучшие, оптимальные методы их решения должны быть основаны на "технике", разработанной в Талмуде. Теоретически говоря, такая программа решения всех вопросов жизни на основе Торы существовала испокон веков. На практике, однако, религиозные партии до сих пор даже не приступали к ее осуществлению. Они занимали чисто оборонительную позицию: боролись за сохранение "статус-кво", расширяли свои учебные и другие учреждения, а в остальном — сидели в "крепостях" своего религиозного лагеря, ограничиваясь защитой только его интересов и не вмешиваясь в общенациональные дела. Но нельзя обороняться до бесконечности — это грозит полным отрывом от жизни. За эти годы жизнь

поставила много новых проблем, к которым с такой позиции нельзя даже подступиться. С другой стороны, время показало, что принятые в Израиле секулярные методы решения проблем ведут в тупик. Эти методы обанкротились. Вот почему у части людей в религиозном лагере возникла настоятельная потребность выйти на весь спектр современных проблем, включая экономику, политику и международные отношения, и внести в них не просто религиозную "окраску", но именно религиозный подход, иными словами — предложить свои, религиозные решения этих проблем. В конце концов, не зря же в ешивах чему-то учат! Если совсем серьезно — там учат именно решать проблемы: так вот, пора приложить это знание к реальной жизни, к проблемам, которые до сих пор решались — и, как мы видим, отвратительно решались — всевозможными другими методами. Именно с этой программой и выступили новые ортодоксальные партии. По существу, они намерены предложить израильскому обществу свою, религиозную альтернативу по всему спектру израильских проблем, а уж практика пусть покажет, насколько эта альтернатива предпочтительней существующей.

Такой поворот от чисто религиозных к общенациональным проблемам впервые произошел в религиозном лагере с появлением партии Шас. Эта партия заявила, что она стремится достижения подлинного равноправия всей сефардской части населения страны, вооружив эту группу тем оружием, теми методами, с помощью которых она сможет решать проблемы своего существования лучше, чем другие группы, и выдержит конкурентную борьбу с ними. Теперь Дегель А-Тора сделала следующий шаг: она хочет предложить эти методы решения проблем всему населению, в том числе ашкеназскому, которое никак не чувствует себя обойденным. Здесь уже понятие "конкуренции" приобретает более широкий смысл. Речь теперь идет не о борьбе разных групп внутри общества, а о конкуренции двух разных подходов к решению каждой проблемы израильской жизни. Совокупность религиозных методов решения, по нашему убеждению, способна лучше вооружить общество в "конкуренции" с обстоятельствами, проще говоря — указать обществу лучшие пути развития, как духовного, так и чисто материального. Подобно лидерам Шас, лидеры Дегель А-Тора говорят, в сущности, что наш народ был оторван — отчасти силой — от своих корней, которые давали ему возможность противостоять вызову истории, Те сорок

лет, которые мы существуем, как государство, показали, что нам недостаточно опыта западной цивилизации для того, чтобы успешно решать наши проблемы. Поэтому нам следует вернуться к корням, на протяжении тысяч лет дававшим нам подлинную силу, и искать новых путей в опоре на эти корни. Потому-то лозунг Шас и звучит: вернуть Торе ее корону!

Дегель А-Тора, как я уже сказал, еще более расширяет этот подход. Она выступает как подлинно общенациональная партия, не замыкающаяся в религиозные или этнические рамки, и ее лидеры убеждены, что когда партия построится, организуется по всей стране и сможет принять участие в различных практических проектах, она попросту начнет “выигрывать конкурс” — точно так же, как это происходит на обычных конкурсах, объявляемых на тот или иной проект, — поскольку религиозное решение окажется самым лучшим и самым выгодным для общества в целом. Мы хотим разработать и предложить обществу такие религиозные решения на любом участке, в любом деле, в котором будем участвовать: банк — так банк, телеграф — так телеграф, строительство — так строительство. Кстати говоря, как раз в последней области у нашей партии есть значительный специальный опыт: ее лидер, рав Равитц, является владельцем строительной компании — и у нас уже есть четкая программа решения проблем жилищного строительства. Ведь не секрет, что эта отрасль находится в ужасном, застойном состоянии и насквозь убыточна, поскольку скована существующим земельным законодательством. Его нужно менять, и тут у нас есть определенные идеи, опирающиеся на предписания Торы и их талмудический анализ, у нас есть и своя программа перестройки системы абсорбции: мы убеждены, что ее можно радикально изменить к лучшему в течение считанных месяцев — а ведь не секрет, что сейчас ею недовольны буквально все. Точно так же мы готовы на “свободную конкуренцию” во всех иных областях экономической жизни: ведь все они порождают определенные стратегические проблемы: куда направлять капиталовложения, как их наилучшим способом распределять и так далее — и по всем этим вопросам религиозные партии могут предложить свои, особые решения, основывающиеся на талмудических методах анализа. Пусть результаты покажут, полезно это обществу или нет. Дегель А-Тора не боится задач, с которыми не справлялись другие, в том числе и таких, которые не несут в себе попутных “выгод”, “кормушек”, синекур и т. п.. Мы не стремимся к “захва-

ту” банков или телеграфа, как фантазирует кое-кто, мы не намерены кого-либо дискриминировать или что-либо навязывать: такое достижение меньше всего может считаться успехом, а мы стремимся именно к успеху, потому что он прокладывает дорогу, он убеждает. Мы стремимся стать популярными не только среди религиозного, но и среди нерелигиозного населения, и поэтому успех для нас — это то, что идет на пользу всему обществу, что укрепляет государство в целом, улучшает жизнь всех граждан.

Конечно, наша “религиозная альтернатива” может показаться непривычной секулярному человеку, — но разве не казались поначалу необычными и многие из ныне принятых, утвердившихся на Западе форм управления экономикой и другими областями жизни? Вот и японская модель уже начинает успешно внедряться в других странах... Мы хотим продемонстрировать населению Израиля “религиозную модель”. Мы добиваемся не того, чтобы израильтяне сразу же и поголовно стали религиозными, а всего лишь того, чтобы они увидели в деле, оценили по результатам и приняли по собственному выбору эту модель — разумеется, в том случае, если она действительно окажется более эффективной. Если наши методы покажут свое превосходство, то переход к ним совершится естественно. Подобно тому, как в любой области тот, кто применяет худшие методы, в конце концов не выдерживает конкуренции, так и тут — те, кто не сможет конкурировать с нашими методами, попросту выйдут из соревнования.

Я надеюсь, что довольно скоро нашей экономикой, нашим государством будут управлять люди, сведущие не только в своей специальности, но и в Торе. Представим на минутку, что такое предприятие, как Тадиран, который сейчас в долгу, как в шелку, хотя бы отчасти переходит в руки религиозной партии — например, после того, как эта партия собрала достаточно денег, чтобы купить двадцать процентов акций или пятую часть предприятий Тадирана. И эта партия начинает — самым демократическим образом — оказывать влияние на экономическую политику Тадирана, — скажем, направляя на принадлежащие ей заводы своих управляющих. Если они не справятся — что ж, тогда не о чем говорить. Но что, если они сделают из своих заводов не просто прибыльные, но и высоко рентабельные предприятия? Нельзя же отказывать им в праве руководить только потому, что они — верующие люди! Постепенно в их руки перейдет управление всем концерном. Это и есть наш путь.

Израильское общество еще не знакомо с религиозными методами, поэтому его недоверие и настороженность вполне понятны. Но ведь эти методы еще практически и не применялись: верующие люди, действуя, как индивидуумы, в одиночку, неизбежно ограничивались в своей работе конвенциональными методами, избегали “революционных” задач. Сейчас стало ясно, что религиозным партиям пора брать на себя ответственность за реальные дела и действовать при этом именно так, как подобает религиозным партиям, то есть религиозными, а не конвенциональными методами — по всему фронту.

Естественно возникает вопрос, есть ли в религиозном лагере достаточное количество специалистов по всем этим вопросам, способствует ли система религиозного образования подготовке таких специалистов. Сегодня в нашей системе преобладают школы, которые готовят учеников исключительно к поступлению в ешивы. Такие школы необходимы, но, конечно, должны возникнуть — и уже возникают — строго ортодоксальные альтернативы светскому специальному образованию. Когда эта система школ наберет обороты, произойдет серьезная реформа нынешней системы религиозного образования. И тогда во главе наших предприятий, банков, школ встанут люди, имеющие не только вторую или третью специальную степень, но и, допустим, нечто вроде второй степени (причем настоящей, без всяких скидок!) по талмудическим наукам. Я полагаю, что “заразительный” пример таких людей побудит многих родителей, дети которых учатся в светских школах, собирать вскладчину деньги, чтобы обеспечить дополнительные уроки Талмуда, как сейчас они складываются на дополнительный урок английского языка. В перспективе речь идет о глубоком и повсеместном совмещении общего и религиозного образования. Это вполне реально. Конечно, ученик такой школы скорее всего не станет Эйнштейном или равом Шахом — для этого нужно фундаментально изучать или то, или другое. Но совместить нормальный вузовский уровень знаний в обеих областях вполне возможно. Таким людям, на мой взгляд, принадлежит наше “деловое” будущее.

Следует отметить, что сегодня система религиозного образования открыто дискриминируется, причем это происходит на всех уровнях — от хедера до “высшей ешивы”. Разумеется, религиозные учебные заведения опираются и будут опираться на “мицву” еврейской благотворительности. Но ведь помогает же государ-

ство университетам, которые тоже получают массу пожертвований! Оно вкладывает большие деньги в систему светского образования, а в то же время религиозные школы получают — в соответствующих единицах — втрое меньше государственных учебных часов, чем светские, втрое меньше денег на строительство, втрое меньше на социальные услуги. Мы стремимся добиться равенства в этих вопросах. От этого зависит, в частности, возможность описанной выше перестройки нашей системы образования.

Обсуждение проблем религиозного образования приводит нас к еще одному острому вопросу — об отсрочке от призыва в армию, предоставляемого учащимся ешив. К сожалению, “в народе” бытуют совершенно превратные представления на эту тему. Многие считают, будто ребенку из религиозной семьи достаточно заявить, что он хочет изучать Талмуд, как его автоматически освобождают от армии. Дело обстоит совсем не так. Прежде всего, те двадцать тысяч “освобожденных”, о которых так много шумит печать, — это общее число тех, кто получил отсрочку от призыва за все время существования Израиля. Сюда входят и люди пятидесятипятилетнего возраста. Молодых, действительно подлежащих призыву, среди них меньше половины, и это число нарастает всего на несколько сотен в год. Я не считаю, что из-за этих немногих людей можно говорить об “ослаблении израильской армии”. Однако у этого вопроса есть и принципиальная сторона: оправдана ли такая отсрочка вообще? Попробую ответить и на него. Есть люди — и их немало, — которые посвящают всю свою жизнь изучению Торы и Талмуда. Поверьте, жизнь этих людей нелегка. Они живут на нищенские стипендии и пособия национального фонда страхования; только зарплата жены позволяет их многодетным семьям сводить концы с концами; они занимаются по пятнадцать часов в день. Эти люди нужны еврейскому народу никак не меньше, чем те, кто вкладывает себя без остатка, на всю жизнь, в математику или теоретическую физику. В обоих случаях речь идет о людях, посвящающих себя фундаментальным проблемам, являющимся одновременно вопросом жизни и смерти еврейского народа. Физики, исследующие элементарные частицы, дают обществу “отдачу” в виде новых теорий и открытий, которые затем находят практические приложения. Но точно так же глубокие исследования религиозных проблем имеют свою общественную “отдачу”, воздействуя на духовное состояние общества, на его еврейский

характер. Поддерживать высокий уровень фундаментальных религиозных исследований столь же важно, как и соответствующий уровень фундаментальных исследований в области точных наук, — это две составные части борьбы за общественный прогресс. Кроме того, положи руку на сердце, — разве население Израиля не нуждается в религиозных услугах, от рождения и до смерти? Стало быть, ему нужны и “простые” раввины, и мудрецы Торы. Убежденность в их необходимости для общества, глубокое уважение к их знаниям и деятельности всегда были частью обще-еврейского консенсуса. А коль скоро так, то людям, посвящающим свою жизнь этой деятельности, можно и должно, на мой взгляд, давать отсрочку от армии — тем более, что те из них, кто оставляет учебу и идет зарабатывать, так или иначе эту отсрочку “отрабатывают”.

Раз уж мы заговорили о претензиях секулярной части общества к религиозным партиям, необходимо сказать и о другом их требовании, тоже порождающем острые споры — о так называемой поправке к закону о возвращении, которая призвана исключить переход в еврейство (“гиюр”) по реформистскому или консервативному обряду. И тут споры во многом порождены дезинформированностью секулярного лагеря. Прежде всего заметим, что две из четырех религиозных партий¹ — Шас и Дегель А-Тора — вообще не настаивают на этой поправке; это требование выдвигается главным образом партиями Агудат Исраэль и Мафдал. Но это не значит, будто нынешнее положение не тревожит тех верующих евреев, которые идут за Шас и Дегель А-Тора; разница лишь в том, что последние считают необходимым перенести эту проблему из плоскости политической в плоскость юридическую — передать все соответствующие вопросы в ведение раввинатских судов, не меняя формулировку закона. Но давайте чуть-чуть поговорим о самой проблеме. Она, по существу, сводится к следующему. Наш закон не разрешает брак с не-евреем, в том числе — с человеком, перешедшим в еврейство не по ортодоксальному обряду, не по Галахе, и раввинат, ведающий в Израиле вопросами гражданского состояния, не утвердит такой брак. Однако сегодня документы граждан заполняются в государственных учреждениях, а в случае новых репатриантов — прямо в аэропорту. И во многих случаях, даже если человек честно сообщает, что он перешел в иудаизм по реформистскому обряду, его все равно записывают в документах евреем. Конечно, бывают

случаи обычного обмана — но они пугают нас гораздо меньше. Мы не хотим выяснять родословную человека, поднимать его досье и так далее. Молодой верующий, собирающийся жениться, просто спросит у своей девушки, еврейка ли она, и удовлетворится ее ответом, а также тем, что о ней известно в обществе. Но мы хотим также, чтобы в случае, если она прошла гиюр, раввин мог спокойно оформить брак, не прибегая к дополнительным выяснениям, и чтобы этот брак оказался законным. Мы никому не собираемся навязывать ортодоксальный гиюр и вообще ортодоксальные правила жизни. Не-еврей может смело оставаться не-евреем. Но мы хотим быть уверенными, что человек, которого государство считает евреем, действительно является евреем. Если человек обманывает сам — он совершает трагическую ошибку, но не более того. Но мы не можем смириться с тем, что нас вводит в заблуждение государство. Ведь тем самым оно толкает нас вводить книги родословных, анализировать генеалогии, то есть не просто подвергать ни в чем не повинных людей унижительной селекции, но и выбрасывать за борт тех, кто не в состоянии ее пройти! Речь идет не о “чистоте расы”, а о единстве народа — именно это единство подрывается существующим порядком вещей. Существует предписанное Торой определение того, кто принадлежит к еврейскому народу. Мы не можем его отбросить. Это значило бы покончить с еврейским народом, как таковым. Тогда по существу евреем может объявить себя кто угодно.

Все это не имеет никакого отношения к практической стороне репатриации. Ведь согласно закону о возвращении право на репатриацию имеют не только евреи, но и любые родственники евреев вплоть до четвертого колена, в том числе и не кровные, не являющиеся евреями по любому определению, — и против этого никто не возражает: пусть приезжают, пусть получают гражданство, льготы и все прочее — но их национальный и религиозный статус должен быть абсолютно ясен.

Тем не менее очевидно, что предлагаемая сейчас поправка не решает всю проблему. Именно поэтому Шас и Дегель А-Тора предпочитают иное, более конструктивное решение: пусть раввинатские суды, а не чиновники министерства внутренних дел разбираются, какой гиюр сделал человек, и если окажется, что реформистский, — пусть он пройдет его повторно по ортодоксальным правилам, и все; это позволит не ущемлять его, как репатриан-

та, и в то же время сохранит единство народа, даст возможность всем вступить в брак со всеми.

Противники этих изменений утверждают, будто они восстаноят против Израиля американское реформистское еврейство. Но протесты реформистов — это семечки по сравнению с ситуацией, когда нельзя жениться на ком-то внутри собственного народа! Я плохо понимаю, почему американских евреев пугают именно эти изменения. То, что у них 70% смешанных браков, их не пугает? То, что у них 80% детей не получают еврейского воспитания, их не пугает? Если бы они нашли ответы на эти вопросы, они имели бы право сказать: “Мы занимаемся сохранением еврейского народа, а вы мешаете нам своими бредовыми поправками...” Может быть, тогда было бы о чем говорить. Но сейчас эту миссию выполняет Израиль, выполняем именно мы. И я не думаю, что протесты американских евреев угрожают Израилю: они нуждаются в нем больше, чем он в них. Это не первые их протесты, и я уверен, что не последние: мы еще увидим, как они будут протестовать, когда поверят в “умеренность” Арафата и потребуют от Израиля “пойти ему навстречу”, а Израиль снова “разочарует” их своей “неуступчивостью”. Но я уверен, что в конечном счете большинство американского еврейства поддержит ту линию, которую твердо заявит еврейское государство. Поэтому я не думаю, что требования религиозных партий — как в этом, так и в других вопросах — в чем-то угрожают единству еврейского народа или ослабляют Израиль, как государство этого народа. Кое-кто говорит, будто мы пытаемся ликвидировать это государство, ликвидировать сионизм, чтобы на его “обломках” построить “тоталитарную теократию”. Кто это придумал? Мы — самые последовательные сионисты, и это — во времена, когда многие секулярные евреи глубоко разочаровались в сионизме. Сионизм — это прежде всего ясная еврейская уверенность, что наш народ имеет право жить на этой земле и распоряжаться ею, и в этом смысле первую сионистскую “теорию” создал сам Господь, главные сионистские “труды” — это Танах и Талмуд и потому практически все верующие ортодоксальные евреи — извечные сионисты. (Исключение составляют, пожалуй, одни только ультраортодоксы из Нетуреи Карта, полагающие, что срок нашего изгнания закончится только с приходом Мессии, а потому массовая репатриация и тем более строительство своего государства в Эрец Исраэль в наше время запрещены.) Конечно, у нас есть свой идеал такого

государства, — как есть он и у всякой другой группы еврейского народа; но что предосудительного или опасного в существовании такого идеала?! Я, например, вижу Израиль — в некой “бесконечно удаленной точке” — как демократическую иерархическую систему, организованную по схеме, заданной в Торе: каждые десять людей избирают “десятника”, десятники — “сотника” и так далее, вплоть до вершины иерархии, где находятся конституционный монарх, Сангедрин и первосвященник.

Конечно, такое или подобное общество не может возникнуть, пока большинство народа остается секулярным. Однако мы вовсе не спешим “обратить в истинную веру” семьдесят процентов израильского населения. Мы просто уверены, что в условиях свободной конкуренции наши религиозные методы окажутся предпочтительнее и постепенно люди начнут все чаще обращаться к ним; что вследствие этого они захотят основательнее понять эти методы, то есть получить более глубокое еврейское образование. А с нашей точки зрения, евреи, получившие еврейское образование, в конце концов захотят вернуться и к религии, то есть к исполнению мицвот. Так постепенно возникнет религиозное государство, в котором живут религиозные люди.

Но тут появляется последний — по счету, но не по важности — вопрос: а способны ли религиозные методы, о которых мы столько говорим, действительно дать решение — и не просто решение, но даже лучшее, чем конвенциональные, секулярные методы, решение — стоящих перед страной проблем? Спросим даже иначе — все равно этот вопрос задают наши секулярные оппоненты: а способна ли вообще Галаха дать ответ на вопросы современной жизни? Не слишком ли она “окаменела”, не слишком ли давно перестала развиваться, чтобы претендовать на “актуальную” роль?

Тут, боюсь, опять имеет место недоразумение, связанное с незнанием вопроса. Тора, Галаха вообще не развиваются: они даны нам Всевышним в их законченном виде. Развивалось — в течение тысячелетий — наше владение этим аппаратом, техника выведения из Галахи ответов и рекомендаций, прежде всего — по вопросам повседневной, практической жизни. Многие столетия такие вопросы тысячами ставились перед религиозными авторитетами, и они — в виде талмудических решений или, позднее, “респонсов” — давали на них ответы. Неверно считать, будто в Галахе нет ответов на какие-то вопросы и потому-де она должна быть “обновлена”, “приспособлена” к современной жизни: беда

в другом: на протяжении довольно долгого времени почти перестали поступать вопросы. Это было связано с особенностями еврейской галутной жизни — вот она действительно “окаменела”! Однако в XX веке положение изменилось. Развитие техники, науки, социальных отношений поставило перед религиозными лидерами еврейства новые вопросы, и на некоторые из них уже получены ответы. Пока еще не все их можно найти в популярных книгах. Но ведь суть Талмуда вовсе не в том, что он, как шпаргалка, дает готовые ответы на все “нужные” вопросы. Суть его в том, что он снабжает нас общими методами нахождения таких ответов, Талмуд — не логарифмические таблицы, а великолепный учебник высшей математики. Разумеется, эта аналогия по необходимости упрощена: как и в математике или в физике, так и здесь существуют области, где решения пока не разработаны: например, религиозные методы до сих пор практически не были опробованы в международной политике. Но подобно тому, как в точных науках человек, владеющий специальными методами, способен решать новые сложные задачи, так и глубоко сведущие в Талмуде специалисты способны, пользуясь своими методами, ответить на любые вопросы, поставленные жизнью. Ибо главное состоит в том, что религиозные методы пригодны для решения всех современных проблем в не меньшей степени, чем были пригодны для решения всех задач, стоявших перед нашим народом на всем протяжении его истории. Мы твердо убеждены в этом, мы уверены, что в этих методах — наше будущее, и именно поэтому мы направляем сейчас свои усилия на самые различные вопросы практической жизни Израиля.

Александр Воронель (Тель-Авив)

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ТВОРЧЕСКОМУ ИУДАИЗМУ

Прочитав интервью Н. Воронель, я неожиданно ощутил желание высказать противоположную точку зрения. Как всякие противоположности, наши мнения сходятся в некой общей точке: в данном случае этой точкой является мысль, что абсолют-

ная власть развращает абсолютно. Два тысячелетия безраздельного господства в еврейской жизни и завели, мне кажется, иудаизм в тот тупик, где он сейчас находится. Тот факт, что в результате нынешних выборов верующие впервые по-настоящему вмешались в политический процесс и пытаются всерьез повлиять на жизнь секулярного Израиля, дает им возможность реально столкнуться с неуступчивой действительностью. Подобно сионистам начала века, они сейчас "возвращаются в историю" — со всей вытекающей отсюда неизбежностью ответственности в действиях и компромисса в политике.

Поскольку я ощущаю в себе запас сочувствия к еврейской религии, мне больно видеть, в чьих руках она сейчас находится. Ее лидеры стоят сегодня дальше от подлинного иудаизма, чем многие секулярные евреи. Секулярный еврей моего склада, даже самый далекий от веры, всегда сохраняет некоторый агностицизм, оставляет место сомнению, допуская, что Бог, возможно, существует, что не все управляется рационально познаваемыми законами и так далее. Единственные, кто не оставляет места никакому сомнению, — это сами религиозные круги и их лидеры. Между тем иудаизм, который мне знаком, весь построен на сомнении, на представлении, что Божья воля по-настоящему непознаваема и осуществляется непонятными и неясными для людей путями. Для секулярного еврея моего склада особенно огорчительно, что нынешние религиозные лидеры отошли от тех принципов иудаизма, которые более всего дороги мыслящему человеку вообще, поскольку эти принципы способствуют свободному человеческому творчеству, стимулируют его — как, например, в высшей степени освобождающий принцип "не сотвори себе кумира". Между тем наши ортодоксы даже в таких мелочах, как одежда, продолжают следовать мертвой букве некоего давнего закона (отнюдь не Торы), сделав из нее настоящий кумир. Верно, что иудейская традиция рекомендует скромную (тогда это означало — черную) одежду. Но сегодняшняя одежда ортодоксов в высшей степени нескромна в современном обществе — она экзотична. Как китайские рестораны. Она подчеркивает их особенность и даже некоторое запланированное превосходство — задача, совершенно противоположная первоначальной (как и китайские рестораны), — превращаясь в удовольствие для гурманов, свидетельство некой элитарной эстетики. Сохранение такой одежды может быть принято, как эстетическая причуда, — у всех наро-

дов есть экзотическая национальная одежда — но превращение этого маскарада в добродетель означает уже создание себе кумира, нарушение заповеди. Самое опасное в этом следовании мертвой букве состоит в том, что оно исключает возможность изменения обычая в соответствии с меняющейся действительностью. А действительность требует от нас изменений.

До разрушения Второго Храма руководство религиозным истеблишментом принадлежало садуккеям, следовавшим лишь букве Закона и унаследованному обряду. В течение почти двух столетий с ними враждовали фарисеи — от слова "перуш", толкование, — творческое течение в иудаизме, которое стремилось понять и объяснить Смысл закона в контексте меняющейся действительности. На пути этого объяснения и интерпретации им пришлось во многом отступить от буквы закона, чтобы соблюсти его смысл. Вместе с разрушением Второго Храма погибло и все течение садуккеев, сосредоточивших вокруг Храма и исполнения обряда все свои духовные интересы. Современное еврейство произошло от фарисеев, учение которых было впоследствии развито и подтверждено в Талмуде. Садуккеи погибли вместе с Храмом и не были вынуждены отчитаться перед народом. Народ вывели из Катастрофы и спасли от гибели фарисеи. В течение многих веков это было творческое, развивающееся направление мысли, обеспечивавшее еврейский народ гибким интеллектуальным руководством, которое вело его по правильному, разумному с точки зрения запросов жизни пути. История так называемых "темных веков", с пятого по одиннадцатый, — это также история роста и процветания еврейства во всех странах средневекового мира. И где-то здесь, наряду с ростом богатства и процветания, опять выросли консерватизм и обрядовое верие, которые заложили семена будущих катастроф. Талмудический иудаизм в силу многих исторических причин, отнявших у еврейского народа государственное существование, освободился от необходимости приспосабливаться к действительности, но приобрел безраздельную земную власть над душами и частичную власть над телами евреев. Даже примитивному шаману приходится плохо, если от его камлания не происходит необходимого его племени дождя. Но когда религиозные лидеры освобождаются от реальности полностью, потому что вся судьба их народа оказывается в чужих и чуждых руках, их собственной власти уже ничего не угрожает. Они переносят всю ответственность за судьбы евреев на Небеса, а все на-

дежды – на Чудо. Таковы поздние интерпретации событий Хануки и Пурима, из которых, в сущности, вышелушен весь элемент творческой активности и ответственности самого народа за свою судьбу. Духовное руководство иудаизма, таким образом, опять становится садуккейским по сути, лишь формально выполняющим заповеди. И судьбой евреев, начиная с одиннадцатого-двенадцатого веков, становятся систематические погромы и катастрофы, не сдержанные никаким осознанным сопротивлением.

В наших сегодняшних религиозных кругах не случайно избегают обсуждать уроки Катастрофы европейского еврейства. Главный урок этой Катастрофы – это аргумент против их неспособности учитывать реальность. Это был страшный удар по всей прежней организации еврейской общественной жизни, не включавшей вопросы существования.

Предотвращению этого урока мог послужить сионизм. Но религиозное руководство не только не смогло само найти этого ответа на угрозу, но и отчаянно боролось против тех, кто такой ответ подготавливал. Этим оно обезоружило еврейский народ перед одним из самых страшных испытаний в его многовековой истории.

Полная свобода от реальности, как ни странно на первый взгляд, неизбежно ведет не к развитию, а к застою. Ведь свобода сама по себе вовсе не является главным стимулом творчества – она является всего лишь его условием, необходимым, но не достаточным. Главным стимулом творчества является действительность, грубо говоря – необходимость: голь на выдумки хитра. Вот почему я надеюсь, что теперь, в столкновении с действительностью, религиозные круги получат стимул вернуться к творческому иудаизму. Когда им не удастся – а я очень надеюсь, что им не удастся – с помощью парламентских махинаций добиться денег на свои ешивы, на освобождение своих учащихся от армии и так далее, им придется искать другие пути и учиться компромиссу в постановке целей.

Кстати, в требовании от налогоплательщиков денег на ешивы, как и в требовании освобождения их учащихся от армии содержится также и измена смыслу творческого иудаизма, как он запечатлелся в Талмуде. Пожертвовать на обучение способного мальчика Торе означает совершить мицву, а вот вымогать деньги с налогоплательщика – означает лишить его заслуги в этом Бого-

угодном деле. К тому же в прошлом жертвовать следовало только для самых способных, которые могут обогатить нашу общую еврейскую сокровищницу, а не для всякого, кто готов “превратить Тору в лопату”. Обязанность изучать Тору не снимает с человека обязанности кормить семью и защищать страну. Я думаю, что участвующие в защите страны лучше понимают дух Торы, чем те, кто только сидят над книгами. Тора была дана тем, кто держал в руках оружие — “600 000 человек, носивших меч”.

Сегодня религиозно-политические лидеры — еще весьма наивные, неискушенные люди, неумелые политики, порой даже вызывающие симпатию этой своей наивностью и откровенностью. Например, рав Перетц, лидер партии Шас. Это был единственный политик во всей предвыборной кампании, который вдохновенно и искренне говорил то, что думал. У них, конечно, есть утопическая мечта о теократии. Является ли эта мечта одновременно и их стратегией — я не уверен до конца, хотя могу думать, по их политической наивности, что это так. Им кажется, что они действительно могут достигнуть этого идеала уже в ближайшее время. Многие религиозные люди, с которыми я сталкивался, искренне считают свои аргументы абсолютно убедительными. Это меня тоже поражает. Это свидетельствует о большой интеллектуальной, а не только политической неискушенности. Это не похоже на еврейскую мудрость. Но я хотел бы подчеркнуть другое. Эта наивность, неискушенность, односторонность является вообще признаками людей, веками не участвовавших в общественной жизни. Не удивительно, что это проявляется. Но именно поэтому я не вижу в них большой опасности — не больше, чем от социалистов, у которых ведь тоже есть своя утопия. На свободе от действительности вынашиваются самые крайние, самые радикальные утопии, это вполне естественно: но столкнувшись с действительностью, люди вынуждаются к компромиссу, в том числе и в своих идеалах. Не в том дело, что религиозные утопии опасны, а в том, что как всякие утопии, сочиненные без учета действительности, они нереализуемы. В ходе практических компромиссов будет меняться и утопический идеал. Более того — будет меняться, в формулировках и понимании, и сама та Галаха, на которой этот идеал основан. Она не может не измениться. Талмуд полон решений, которые возникли как результат компромисса с реальностью. С тех пор прошло двенадцать веков — не может быть, чтобы решения оставались такими же. А если снова

возобновится путь творческого компромисса — как в практическом, так и в теоретическом плане, — то вместе с борьбой за достижение своих целей будут меняться как наши религиозные круги, так и их цели.

Как все люди, религиозная группа в Израиле действует по инерции прежнего опыта, а этот опыт подсказывает ей, что чем больше требуешь, тем больше получаешь. Но тут есть предел. Когда количество освобожденных от армии ешиботников перейдет этот предел — они не получат ни одного освобождения. Рано или поздно они осознают, что если требовать слишком много, то не получишь ничего. Талмуд говорит прямо, что “нельзя превращать Тору в лопату”, то есть в средство заработка. Сегодня многие религиозные евреи зарабатывают продажей всевозможных амулетов: но скоро, по мере увеличения их численности, им придется взяться за ум — и за лопату. И это изменит весь облик религиозного лагеря. К сожалению, до сих пор ни их участие в политике, ни отношение других партий не поощряли религиозный лагерь к такой перестройке. Единственная тактика других партий состояла в бесконечных уступках, то есть попытках откупиться, или в попытках обойти. И то, и другое означало, что религиозных не воспринимали как равных партнеров. Они были примерно тем, чем негритянское меньшинство в Америке — им создавали “положительную дискриминацию”, то есть давали льготы, деньги, лишь бы забыть о их существовании. Как равных их не воспринимали.

Поэтому я думаю, что нам нужно не огорчаться, а приветствовать превращение религиозных партий в “третью силу”, с которой уже нельзя не считаться. Они вышли на такой уровень, который и их самих заставляет задуматься о своем пути, и остальные партии — осознать, что они — реальный и опасный соперник. Но это не означает, что их следует опасаться, как врага: напротив, это означает, что они — люди, равенство которых и идеи которых следует принимать всерьез, с которыми следует бороться на равных — в частности, перестав откупаться от них снисходительными и унижительными уступками. Я вижу в этом большой прогресс израильского общества. Я надеюсь, что это подтолкнет развитие нашего религиозного лагеря: верующие начнут участвовать в общей демократической “игре”; их лидеры перестанут быть абсолютными властителями даже и своей паствы; это повлияет на все наше общество в сторону сближения секулярного и религиозного населения. Во-вторых, это повлияет на все общество и

в том смысле, что возникнут какие-то новые варианты и новые “гибриды” мысли, которых не было прежде. И наконец, что мне кажется очень важно, возникнет правильное соотношение между сионистскими и несионистскими интересами больших партий, которые так привыкли, что сионизм и они — это одно и то же, что все больше и больше подменяют одно другим. Когда Маарах вступает в переговоры с несионистской Агудат Исраэль, это показывает, что и у Маараха есть несионистские интересы. Это не только сионистская партия, но и государственная партия, которая имеет интересы вне сионизма. Будь они только сионистами, их сионизм должен был бы заставить их сразу же объединиться с Ликудом перед угрозой несионистских ультраортодоксов. Но я вижу, что именно молодые в этих партиях особенно яростно выступали против объединения. Перес и Рабин во имя сионизма еще готовы на объединение со своим злейшим врагом (Ликудом) — а Бейлин уже не готов. Поэтому я думаю, что появление на сцене этого третьего, несионистского элемента может обновить также и израильскую политическую жизнь в целом. Бейлину уже за сионизм теперь не спрятаться.

Есть и другая сторона в произошедшем, уже выходящая за рамки чистой политики. Как всегда, корни нынешнего состояния иудаизма уходят далеко в прошлое. Евреи веками выступали перед христианским миром как единое неразличимое целое, и именно это привело к тому, что религиозные лидеры представляли от имени еврейства в целом. Христианство, столкнувшись с реальностью государственных образований, не сразу нашло в ней то место, которое оно занимает сейчас. Папы боролись с императорами за политическую власть, монашество требовало, чтобы общество их кормило. Вся Реформация была движением, направленным против пап и монахов. Ничего этого еврейство не пережило, вся эта история прошла мимо него. Теперь, в своем государстве, оно ускоренно проходит тот же курс.

Конечно, христианский путь развития не единственно возможный: существует, например, исламский путь — без централизованной церкви и без монашества. Но я уверен, что иудаизм на своем пути внутри собственного государства встретит те же этапы, что и христианство, — хотя ответы наверняка будут иными. Сегодня христианство по сути уже превратилось в философию, которая ничего не требует от образа жизни, — что-то вроде реформистского иудаизма. Но я не думаю, что иудаизм обязательно должен

пойти по этому пути. Ислам тоже показывает, что можно обойтись без громадного монашества — а ведь наша ортодоксия в сущности превращается сегодня в такое монашество внутри израильского общества. Претендуя на избранность, монашество это присваивает себе одному право на духовное совершенствование, оставляя за неверующими только право оплачивать это совершенствование. Это противоречит духу иудаизма, который всегда требовал, чтобы индивидуальное совершенствование шло параллельно совершенствованию всего общества в целом, чтобы мудрецы уделяли часть своей мудрости остальным. Не случайно ортодоксы потеряли всякое духовное влияние на все остальное общество, более того — вызывают у него только раздражение. Они оторвались так далеко, что не могут дать никому примера. Они не могут научить обычного человека, как ему совместить потребность в духовности с практической необходимостью содержать семью. А когда они мне отвечают, что духовность мне обеспечит соблюдение мицвот, я не получаю тут ответа, обеспечит ли это мне семью. Ведь это только еврейскому народу в целом обещано, что святость его "спасет" — но не каждому отдельному еврею. Поэтому я и хотел бы поставить наших религиозных в наше положение — пусть окажутся перед необходимостью обеспечить семью, пусть вынуждены будут идти в армию, пусть найдут в Галахе такие уловки, которые позволят и им, и мне совместить святость, духовность с потребностями практической жизни. Вот тогда они духовно обогатят и свою, и мою жизнь. Я ведь не против соблюдения мицвот. В этом есть своя красота, своя эстетика. Сами по себе мицвот мне не противны. Мне противно идолопоклонническое отношение к ним. Поэтому я ни за что не присоединюсь к тем, кто повторяет все эти движения, не понимая, что они означают. И не присоединюсь к тем, кто, понимая сам, поощряет это обезьянничанье в других. Если бы религиозный истеблишмент относился к мицвот, как, например, профессор Лейбович, мне ничего не мешало бы тоже соблюдать мицвот.

Поэтому я думаю, что если религиозный лагерь и его лидеры, столкнувшись с реальной жизнью, найдут в себе силы изменить подход, обновить понимание Галахи и предложить себе и нам новые пути, совмещающие подлинную духовность с подлинной современностью, они сделают великое дело — вернут духовность в нашу жизнь. Они и сегодня, сами того не хотя, уже сделали первый шаг на этом пути. Самим своим появлением на политической

сцене, своими требованиями, апеллирующими, что ни говори, к духовному началу, они напомнили обществу, что не единым хлебом жив человек. Что не только вопросы войны и мира должны занимать наше внимание — тем более, что эти вопросы вообще не в наших руках: как бы мы себя ни вели, мир с арабами совершенно от этого не зависит, потому что от нас требуют, чтобы мы встали на колени, а какую-то часть евреев это не устраивает. Нынешние выборы напомнили, что главные вопросы нашей жизни — это зачем нам жить, как государству? почему мы не хотим встать на колени? что такое наше еврейство? Они напомнили, что духовные вопросы по-прежнему стоят на первом плане в еврейской жизни. Тот факт, что сами победители не так уж духовны и ради по-своему понимаемой духовности готовы на самый отвратительный меркантильный торг, ничего в этом выводе не меняет. Это просто их и наше несчастье. Это несчастье, потому что буквализм, идолопоклонство и подчинение безраздельной власти — даже и во имя духовности — поощряют рабское начало в человеке, а рабство противно самому духу иудаизма. Ибо в конце концов, как учит Тора, человек создан свободным и потому каждый должен и имеет право сам отвечать за свою жизнь. Остается надеяться, что столкновение с действительностью заставит наших религиозных лидеров в будущем, — быть может, удаленном — понять эту центральную идею еврейской духовности, измениться самим в ее сторону и тем самым изменить наше общество — ведь возвращение наших ортодоксов к подлинному творческому иудаизму может открыть дорогу к нему и для многих секулярных израильтян, и для израильского общества в целом.

Н. Воронель — поэт, драматург и переводчик, автор книг "Прах и пепел", "Кассир вечности" и др.

А. Этерман — писатель и публицист, ответственный редактор религиозного журнала "Направление".

А. Воронель — физик, профессор Тель-Авивского университета, автор книг "Трепет иудейских забот" и "По ту сторону успеха".

**Редколлегия журнала "22" поздравляет
АЛЕКСАНДРА ИСАЕВИЧА СОЛЖЕНИЦЫНА
с 70-летием,
желает доброго здоровья и творческих успехов.**

РУССКИЙ ВОПРОС

Ричард Пайнс

НАСЛЕДИЕ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Это эссе является расшифровкой магнитофонной записи доклада, который был мною сделан 7 января 1988 года в Иерусалимском университете на заключительном заседании конференции "70 лет русской революции", организованной Центром Марджори Мэйрок (советские и восточноевропейские исследования). Как в стилистическом, так и в некоторых иных аспектах текст этот несомненно мог бы быть улучшен и дополнен, однако распространившиеся слухи и кривотолки о том, что было сказано в этом выступлении, привели меня к выводу, что будет разумно опубликовать доклад в том виде, в каком он был первоначально произнесен, ограничившись лишь минимальной редакторской правкой. Позволю себе только добавить, уже в личном плане, что мой многолетний интерес к Советскому Союзу и к русской революции в немалой степени продиктован тем опытом, который я получил шестнадцатилетним подростком в Польше, где в 1939 году стал свидетелем нацистского вторжения. Именно этот опыт, а также гибель почти всей моей семьи в Катастрофе породили во мне страстное желание постичь причины, сделавшие подобные вещи возможными.

Р. П.

В ходе нашей конференции мы заслушали свыше тридцати докладов, в которых были освещены самые различные аспекты русской революции, как, например, деятельность русских социал-демократов, ход революционных событий в Саратове или каждодневная деятельность в Смольном. Все эти доклады базировались на эмпирических фактах, и хотя участники зачастую расходились в интерпретациях, их выводы всегда основывались на фактических данных. Но теперь, пытаясь суммировать и подытожить наследие русской революции, мы вступаем в совершенно иную область — в область оценок. Оценки не выводятся и не могут быть выведены из эмпирических фактов: по своей природе они метафизичны и должны быть выведены из какого-то иного источника. Факты не могут сказать нам, что вер-

но и что ошибочно, потому что факты по самой своей природе не подлежат оценке. Я хочу попытаться не столько обобщить различные сообщения, сделанные на этой конференции, сколько оценить саму революцию, исходя из своего многолетнего изучения ее и на основе тех ценностей, которых я придерживаюсь. Эти ценности берут начало в религиозной традиции моей иудейской веры, которая утверждает, что человек есть высшее благо, поскольку он сотворен по образу и подобию Божьему. Эта религиозная традиция подкреплена и традициями нашей гуманистической культуры, воплощенными в утверждении Канта, что человек никогда не должен использоваться только как средство для достижения цели, но всегда обязан рассматриваться как цель сама в себе.

Я хотел бы также с самого начала выложить на стол свои методологические карты. Я убежден, что действительность конкретна и что те абстракции, которыми оперируем мы, интеллектуалы, — все эти понятия, вроде класса, нации, государства, буржуазии, пролетариата и так далее, — не более, чем мысленные конструкции, с помощью которых мы пытаемся постичь реальность. Строго говоря, они не существуют и потому их не следует ипостазировать, то есть относиться к ним как к чему-то, наделенному реальной жизнью. “Революции” или “пролетариат” никогда и ничего не совершают: действовать способны только люди. Разумеется, к этим человеческим действиям вполне возможно подходить с различными методами и с разными мерками ценностей, приходя в результате к разным выводам. Тот вывод, который я намерен вам здесь представить, не является поэтому какой-либо научной интерпретацией, поскольку таковая невозможна по самой природе моего намерения, и представляет собой чисто субъективную оценку.

Пытаясь оценить русскую революцию, мы должны различать между революцией Февральской и Октябрьской. Февральская революция не была вполне стихийной. Мы знаем, что в определенном смысле она была подготовлена либералами и даже некоторыми консерваторами в 1915—1916 годах, исходившими из того, что монархия оказалась неспособна к продолжению войны и потому обязана была передать власть Государственной Думе. Тем не менее эта революция не имела организованного характера. Она вспыхнула спонтанно. Поэтому давать ей оценку — все равно, что давать оценку наступлению ледникового

периода или падению Римской империи. Иное дело — революция Октябрьская. Это был типичный переворот, произведенный меньшинством (большевиков) внутри меньшинства (радикальной интеллигенции), а точнее — большевистским Центральным комитетом, состоявшим из двенадцати человек, которые собрались 10/23 октября 1917 года на квартире Николая Суханова и там приняли решение захватить власть, чтобы повернуть Россию на задуманный ими путь. Как шаг, задуманный, а затем осуществленный четко выделенной группой людей, он вполне подлежит моральной оценке. И это именно то, что я сейчас намерен сделать.

Чтобы оценить достижения и провалы Октябрьской революции, мы должны прежде всего спросить себя, достигла ли эта революция тех целей, которые ставили перед собой ее организаторы. Я полагаю, что будет вполне справедливо сказать, что большевики имели в виду две главные цели: одну немедленную, политическую, и вторую долговременную, философскую. Их политическим стремлением было захватить власть в России и с этих позиций развязать всемирную гражданскую войну — превратить войну между народами в войну между классами — с целью низвержения “буржуазии” со всеми ее институтами — частной собственности, финансов, государства, закона, суда и всего прочего, что мы отождествляем с нашей цивилизацией, — чтобы на их развалинах построить общество свободы и равенства, в котором как социальные, так и национальные конфликты исчезнут раз и навсегда. Конечной же философской задачей переворота было использование абсолютной власти, какую предполагает диктатура пролетариата (Ленин называл эту диктатуру “властью, не ограниченной законом”), чтобы создать новый тип человека: то совершенно добродетельное существо, о котором говорили французские философы XVIII века. Те из вас, кто читал книгу Троцкого “Революция и литература”, могут припомнить строки, где он говорит о человеке, который появится в результате революции, — о человеке, чей голос будет более гармоничным, походка более ритмичной, чей интеллект достигнет уровня Аристотеля, Гете или Маркса, а со временем — вершин, вообще неведомых человечеству. Это было не более, не менее, чем попыткой повторить шестой день творения.

И чего же эта революция достигла? Разумеется, мировая революция не произошла. Это не подлежит обсуждению, даже если,

справедливости ради, признать, что попытки разжечь такую революцию ускорили процесс этнической и социальной либерализации. Не будь Советского Союза, западная колониальная система возможно бы сохранилась: страх перед войнами за национальное освобождение ускорил процесс деколонизации. Можно спорить о том, насколько благодетелен был этот процесс, поскольку в некоторых районах мира дела несомненно пошли бы лучше под колониальным управлением; тем не менее, в целом, это было положительным достижением, ибо колониализм был несправедлив по самой своей природе. Можно также воздать должное русской революции за ускорение процесса социальной либерализации во многих странах, ибо эти уступки были сделаны для того, чтобы приостановить рост коммунистических движений. Но эти уступки могли быть сделаны в любом случае: мы знаем, например, что еще социальное законодательство Бисмарка было направлено на нейтрализацию социалистов.

Если однако обозреть в целом все, что было совершено русскими революционерами в России и остальном мире, то вердикт неизбежно окажется негативным. Русскому крестьянству была обещана земля. Существуют подсчеты, показывающие, сколько именно земли получили русские крестьяне в 1917–1918 годах и во сколько она им обошлась. Историки единодушны в мнении, что средний размер надела, полученного русским крестьянином в результате аграрных бурь 1917–1918 годов, составлял 0,4 десятины, или один акр. До революции один акр земли в России стоил примерно 43 рубля. Если учесть, какое количество сбережений русский крестьянин потерял в результате инфляции и какое количество земли он потерял в результате ее “национализации” по закону 1917 года (ибо в собственности крестьян находилось к этому времени почти столько же земли, сколько у так называемых “помещиков”), то окажется, что этот надел в один акр обошелся ему в 350 рублей, — иными словами, в восемь раз дороже, чем он уплатил бы за нее, не будь революции.

Посмотрим теперь на судьбу рабочих. Они потеряли все те права, которые завоевали в результате революции 1905 года — право создавать независимые профсоюзы, право избирать профсоюзных руководителей, право бастовать. С 1920 года все профсоюзные представители в Советской России назначаются партией, а право на забастовку было давно ликвидировано де-факто,

если не де-юре. Таким образом, рабочие профсоюзы стали орудием коммунистической партии.

Обратимся к национальным меньшинствам и к тем правам, которые им были обещаны, к праву на национальное самоопределение. Оно осталось на бумаге. Реализовать это право сумели только те народы, которые получили прямую помощь Запада, то есть Польша, Финляндия и прибалтийские республики.

Совершенно очевидно, что в России не возникло эгалитарное общество. Различия в доходах в Советском Союзе больше, чем на Западе. Советская элита пользуется такими привилегиями (закрытые магазины, рестораны, клиники и т. п.), какие недоступны элите на Западе.

Верно, были достигнуты определенные положительные результаты, как, например, всеобщее образование и индустриализация. Но если вспомнить, как развивались после 1917 года некоммунистические страны, то приходится заключить, что многие из этих результатов были бы достигнуты более эффективно и менее дорогой ценой без какой бы то ни было революции. Сегодня страны третьего мира, как, например, Южная Корея и Сингапур, приходят к тем же результатам без всех этих чудовищных потрясений.

Я думаю, что, суммируя, следует признать, что революция не решила ни одну из тех проблем, что стояли перед Россией до 1917 года. Россия и сегодня стоит перед теми же проблемами, перед которыми стояла раньше, за некоторыми исключениями: она, например, не страдает от избытка сельского населения, — что частично связано с истреблением крестьянства. Если посмотреть на проблемы, которые Горбачев пытается решить сегодня, то окажется, что все они практически сводятся к тем, которые пытался решить еще Столыпин — 80 лет тому назад. И причина этого поразительного феномена состоит в том, что как только большевики сталкивались с трудностями, которых не умели преодолеть, они прибегали к силе. Но сила не дает решения — это всего лишь попытка (к тому же, как правило, тщетная) избавиться от проблемы.

На мой взгляд, наследие русской революции чудовищно. Это наследие террора, включая государственный террор. Террор, как политическое орудие, был изобретен в России в 1870-х годах. Он приобрел чудовищные размеры в 1906—1908 годах, когда сотни государственных деятелей пали жертвами радикальных

убийц. Большевики, которые отвергали террор, пока находились в оппозиции, широко обратились к нему, едва лишь захватили власть в государстве. Массовый государственный террор был взят ими на вооружение с самого начала. Советский режим не изобрел концентрационные лагеря: они существовали и раньше; впервые введенные испанцами на Кубе в 1898 году, они были затем скопированы американцами на Филиппинах и англичанами в Южной Африке. Но эти первые лагеря были временной мерой, направленной на отделение гражданского населения от партизан; и эти лагеря были повсюду ликвидированы, как только исчезла необходимость. Советское правительство первым ввело концлагеря как постоянное средство подавления внутренней политической оппозиции. Последним по счету, но не по важности в этом списке является перенесение коммунистических методов управления в другие страны, где они были использованы в совершенно иных целях. Здесь первой приходит на ум нацистская Германия. Я абсолютно убежден, что без русской революции не было бы и нацистской Германии, как не было бы и Катастрофы. Прежде всего, Гитлер пришел к власти главным образом на волне антикоммунистических настроений, запугивая средний класс призраком коммунизма. При этом он спекулировал на реальном страхе, потому что германская коммунистическая партия в начале 30-х годов была серьезной силой. Далее, Гитлер приспособил для своих целей те методы, которые коммунисты развили в России. Однопартийное государство — это чисто советское изобретение, не имевшее исторических precedентов. Представление о фюрере как божественно вдохновленном национальном вожде достигло в Германии значительно больших размеров, чем в России; но сам этот квазирелигиозный культ непогрешимого вождя сложился уже в России Ленина. Субординация, то есть подчинение всех государственных институций центральному партийному авторитету, тайная полиция, концентрационные лагеря — все это пришло из коммунистического опыта. В отличие от советской России нацистская Германия сохранила частную собственность, но к началу второй мировой войны поставила ее под строжайший государственный контроль. Я не могу удержаться, чтобы не процитировать Геббельса, который еще в 1927 году сказал, что единственное различие между коммунистами и нацистами состоит в том, что первые — интернационалисты, а вторые — национа-

листы. Но эта разница, разумеется, была куда меньше связана с идеологией или ментальностью, чем с тем простым фактом, что советская Россия была многонациональной империей, а Германия — национально однородным государством.

Если вы припомните ту судьбу, которую Ленин уготовил для “буржуазии” и которую он до некоторой степени реализовал, то вы увидите здесь всю ментальность, которая сделала возможной Катастрофу. Летом 1918 года Ленин побуждал рабочих уничтожать “кулаков” (именуя их “пиявками” и “кровопийцами”), развернув против них кампанию террора, которую профессор Кип совершенно справедливо характеризует как социальную разновидность геноцида. Декреты о “красном терроре” от 4 и 5 сентября 1918 года, предписавшие коллективный расстрел заложников без предъявления обвинений, без следствия и суда, исходя из одного лишь социального происхождения жертв, создали примечательный прецедент: огромные слои людей уничтожались не за то, что они совершили, а за то, кем они были и не могли перестать быть. Мы имеем здесь эквивалент Катастрофы, ее зародыш. Когда я читаю показания людей, чудом уцелевших в застенках Чека, я испытываю ужасное ощущение, будто я читаю о нацистских лагерях уничтожения. Если бы эти материалы не были надежно удостоверены, я подумал бы, что речь идет о фальшивке, основанной на информации о нацистских лагерях, настолько велико это сходство.

Самая большая неудача ожидала коммунистов в их попытке создать нового человека. Ничего подобного не произошло. В действительности, люди, населяющие сегодня Советский Союз, ничем не отличаются от нас с вами. Разумеется, они обнаруживают определенные национальные особенности, равно как и определенные черты, порожденные их специфическим опытом жизни, но это ни в коем случае не “новые люди”. Если человеческая природа в России и изменилась, то она, я уверен, изменилась к худшему. Условия жизни, созданные советским режимом, поощряли, как необходимое орудие выживания, развитие некоторых худших сторон человеческой природы — продажности, цинизма, изворотливости, эгоизма, притворства. Сейчас советская власть пытается решить эту человеческую проблему в массовом масштабе. Русский рабочий деморализован: его нельзя побудить работать. И это не этническая особенность. Русские доказали, что они умеют очень хорошо трудиться. Как

иначе мог бы русский “мужик” в течение многих веков переносить тяготы жестокого климата, кормить города и даже выдавать на экспорт миллионы тонн зерна? Но сегодня у русских людей нет стимула трудиться. Достаточно почитать текущую социальную и экономическую литературу, чтобы убедиться, что главная проблема, стоящая сегодня перед советской властью, состоит в том, как побудить людей делать то, что должно происходить естественно, то есть работать. Вдобавок, перед нею стоят и другие проблемы, которые она открыто признает, типа пьянства и прогулов, причем куда более острые в коммунистических обществах, чем в свободных.

Последнее по счету, но не по важности: позволю себе заметить, что русские и другие славянские народы обнаруживают явное нежелание воспроизводиться на чисто биологическом уровне. Скорость воспроизводства народа — хороший индикатор его морального состояния и уверенности в будущем. До революции русский народ имел самый высокий прирост населения в Европе: пятнадцать, шестнадцать, семнадцать человек на тысячу прибавлялось каждый год сверх тех, кто умирал. Сегодня среди славянских народов Советского Союза умирает больше людей, чем рождается.

Если в России и возникли люди нового типа, то уж скорее среди диссидентов, людей типа Сахарова и ему подобных, которые закалились в противостоянии режиму и в ходе этого противостояния развили в себе почти сверхчеловеческие черты. Но они представляют лишь ничтожное меньшинство.

Если исходить из принимаемых мною критериев, то в конечном счете успех или провал любого исторического действия должен оцениваться по его последствиям для людей. Так вот, советские ученые недавно признали, что между концом 1917 и 1922 годом Россия потеряла около 10 миллионов людей*. Половину погибших составляли крестьяне, умершие от голода и связанных с ним болезней во время засухи 1920—1921 годов. Заметьте, это почти вдвое больше, чем число погибших в Катастрофе, и это почти столько же, сколько погибло за всю первую

* Ю. Прляков. *Советская страна после окончания гражданской войны: территория и население, Москва, 1986, стр. 97—98. Поляков приводит цифру в 12,7 миллионов, но она включает около двух миллионов эмигрантов — там же, стр. 117—118.*

мировую войну. Это чудовищная цифра. Но она становится еще более чудовищной, если взглянуть на фотографии тех времен — скажем, переданные в библиотеку Конгресса сотрудниками Американской Службы Помощи (АРА), — где запечатлены обтянутые кожей скелеты детей, сваленные грудями на телегах для массового захоронения. Их можно сравнить разве что с фотографиями жертв нацистских злодеяний. Сообщения чекистов о том, как они проводили массовые экзекуции — например, на Украине, — настолько чудовищны, что я порой перестаю понимать, как я могу вообще заниматься исследованием всех этих ужасов.

Разрешите мне теперь подвести итоги. О чем все это говорит нам или, по крайней мере, мне? Великий французский историк Ипполит Тэн в своей истории Французской революции спрашивает себя: чему научили меня мои исторические исследования? По его собственному признанию, ответ кажется не очень глубокомысленным. Затратив годы на изучение Французской революции, говорит он, "я лопая, что человеческое общество, в особенности современное общество, — это огромное и сложное явление". Что он хочет этим сказать? Своими словами он хочет предостеречь всех тех интеллектуалов, которые пытаются реорганизовать все на свете, исходя из абстрактных предпосылок и совершенно не учитывая бесконечного разнообразия форм, в которых проявляется человеческая жизнь. Я должен к этому добавить, что чем больше я изучаю историю, в особенности историю русской революции, тем более отталкивающей кажется мне безрассудная самонадеянность интеллектуалов, которые стремятся навязать другим человеческим существам свои концепции, — зачастую не более, чем плоды несерьезных, незрелых и даже извращенных умов, — под видом неких величественных схем нового мирового порядка. Это занятие, безвредное, пока оно ограничивается призывами на бумаге, оборачивается чудовищными результатами, когда эти интеллектуалы приходят к власти и получают в свое распоряжение полицейский аппарат, ибо интеллектуалы, находящиеся у власти, склонны объяснять провал своих попыток не столько ошибочностью собственных схем, сколько недостаточной твердостью в их реализации — и как следствие этого, все революции имеют тенденцию становиться все более жестокими по мере своего развертывания.

Все эти революционные утопии, в конечном счете, берут на-

чало из одного и того же давнего философского источника — из рассуждений Джона Локка, утверждавшего, будто человек лишен каких бы то ни было имманентно присущих ему идей или ценностей кроме тех, которые запечатлелись в его сознании в результате чувственного опыта. Эта предпосылка, в свою очередь, ведет к радикальному заключению, будто манипулируя внешней средой нашего обитания можно до бесконечности переплавлять людей во все новые и новые формы: все, что для этого будто бы необходимо, — это дать людям именно те “стимулы”, которые с неизбежностью породят в нем “правильные” идеи и ценности. Таким образом можно якобы создать абсолютно добродетельное человеческое существо. Этот вывод поражает меня своей абсолютной ложностью. Мне кажется бесконечно более мудрым Франц Кафка, который сказал: “Человека нельзя изменить — можно только помешать его существованию”.

Человечество спокон веков демонстрировало свою поразительную способность самому организовывать собственную жизнь и выживать в самых трудных условиях, которых не могут предугадать никакие обобщенные концепции и псевдонаучные социальные модели. В сущности, вкусы и желания людей чрезвычайно просты. Люди не хотят утопий, которые неизменно кончатся адом. Недовольство людей, каким мы его видим, всегда направлено на нечто конкретное, не на обобщенное. Только интеллектуалы мыслят “в общем” и хотят изменить “все”. Если бы я попытался сформулировать свой эквивалент тэновского афоризма, я просто сказал бы: “Да будет человек”. Мы, интеллектуалы, должны воздерживаться от указаний человечеству, как ему жить. Оставим себе наши грандиозные схемы перестройки мира, сохраним их для частных дискуссий, для конференций и академических публикаций и уж ни в коем случае, никогда, не будем пытаться навязать их силой.

В результате монументального провала, постигшего русскую революцию, человечество, вступая в двадцать первый век, может вступить вместе с ним в новую эру, когда во всем мире поднимется волна отвращения к попыткам социальной и психологической инженерии и наследие русской революции, так тяжело нависшее над нашим угрюмым и кровавым столетием, будет, наконец, преодолено и отброшено.

Р. Пайпс — историк, профессор Гарвардского университета, автор книг “Россия при царском режиме” и др.

Мечта о справедливости извечна. Извечно на земле роптали обделенные по существу и в мыслях своих, но когда роптавшим случалось добиться перемен, перемены не искореняли зло.

Другое дело на небе. Пять хлебцов, коими Господь накормил всех страждущих, отразили мечту о небесной справедливости. Это ли не коммунизм: чуть затрат — и каждому по потребности? И вот уже в потемках средневековья Томас Мор спускает мечту на землю. Он был утопист-реалист, этот Томас Мор, не закрывал глаза на условия земного существования, для будничной работы сохранял рабство. Ну, а коли рабы сделают, то и есть, что справедливо делить. Недалеко ушли от Томаса Мора и современные утописты-реалисты: в Германии разработали теорию о низших расах, в России без теории закрепили рабочие руки за местом прописки, действительной по сей день. В общем, от принудительного труда никуда не денешься, ежели желаешь справедливо делить.

Однако Томаса Мора отличало от современных мечтателей хотя бы чувство юмора. Вот как назвал он свой труд: "Золотая книга, столь же полезная, как и забавная, о наи-

Давид Таксер

ПОЗДНЯЯ ОСЕНЬ ИМПЕРИИ

лучшем устройстве государства и о новом острове Утопии". Забавная была книга и поехало, и поехало. Мелье, Мабли, Морелли, Бабеф, Фурье, Сен-Симон, Оуэн, Герцен, Белинский, Чернышевский. Наконец — Маркс. Мечтатели из всех цивилизованных народов.

И вот уже — попытка воплощения. Только чудо спасло Францию от вивисекции на своем теле. Могло выйти, что не Франция взирала бы на печальный опыт России, а наоборот. Но если не Франция, не Россия — обязательно иная страна. Возможно, США в Великую Депрессию, возможно, Англия — сладкая мечта, при нарастающем количестве поклонников, должна была быть испробована в деле. И не было лучшего времени испробовать, чем время, когда успехи пара и электричества вскружили головы.

Когда успехи пара и электричества внушили, будто человека можно усовершенствовать наподобие паровой машины, Россия взвалила на себя эксперимент. Теперь очевидно, что он обошелся ей во много дороже татарского нашествия. Умные не повторят — и за то обязаны ей. Это она оплатила их задний ум расстрелянными поколениями, смертными голодовками, прижизненной бедностью. Только время выплаты долга умных еще не наступило — должны народам России, а не Империи.

* * *

Уже виден конец Империи, потому можно себе позволить верить Горбачеву. Притом нельзя не сомневаться в его возможностях. Рано явился, если тот, за кого принимаем; ему бы — когда станет совсем немоготу. Если тот, за кого принимаем, то именно рано, а не поздно, потому что нужен был "застой Брежнева", как точка эксперименту, но нужно и время на инерцию до распада.

Не было подходящих условий для такого Горбачева, какого желаем, все семьдесят советских лет и нет еще сейчас. Даже НЭП, временное отступление в пользу крестьян и кустарей, был неподходящ. По за НЭПом точили ножи комиссарчики среднего звена революции, недовольные ее НЭПовским результатом, слишком многим расчетливый НЭП не предоставил руководящих постов. На их недовольстве должен был всплыть Сталин, в лучшем случае Троцкий. В лучшем случае не десятки миллионов мучеников — миллионы, но и то — гадание на кофейной гуще. Возможно, миллионов и Троцкому не хватило бы.

Сталин — мастер охоты за многими зайцами разом — неудовлетворенным дал побывать наверху, заодно стали лишь ему обязаны. Новые обиженные, освободившие места, — враги, врагам пуля или концлагерь. Заодно, даровые руки строительству коммунизма. Вот утопист-реалист в чистом виде, не связанный буржуазными предрассудками: моралью, жалостью, благодарностью.

А после Сталина, казалось, только отверни от того сатрапа и... вот он, коммунизм. Теперь уже не кажется. Но у "руководителей" — семьдесятю годами отточенный опыт "руководства", у руководимых — не избыт сталинский страх и привычка. Да еще с пеленок вбитый квасной патриотизм: есть нечего, но "танки наши быстры". Так что для настоящих перемен надо, чтоб стало хуже. Совсем не вмоготу. И станет. Видно уже.

Должно быть, Горбачеву видно, поэтому позволим себе не сомневаться в его искренности, не заострим внимание на настораживающих фактах. Например, таких, как вывод комиссии Сената США об увеличении прироста средств на военные нужды в его правление с двух процентов на три. Вслед за некоторыми западными толкователями-советологами спишем дополнительный процент на учет опыта Никиты Хрущева, коего армия с бюрократами тотчас съела, когда на них посягнул. Туда же спишем и другие сомнения, — допустим, что все тактического свойства от неравенства сил. Но попробуем разобраться, почему, с кем и против кого Горбачев.

ПОЧЕМУ?

Советская система оказалась неспособной воспринять техническую революцию качества из-за экономической несвободы, вытекающей из несвободы общей. Это не оставляет надежд на сохранение статуса супервоенной державы. "Мы можем проиграть соревнование с Западом", — сказал Горбачев, как если бы соревнование еще не было проиграно. И то, что называют жизненным уровнем населения, грозит перейти даже низкий советский предел, за которым недовольство выплеснется на улицы, как в Польше.

Значит, задача Горбачева — приспособить систему к изменившимся условиям. И, вероятно, ему ясно, что она может быть выполнена только в условиях экономической свободы. Как же тогда быть с прерогативами класса управляющих? Ведь свободная экономика несовместима с тратой средств на содержание

более чем двадцатимиллионной массы бесполезных людей с их привилегиями, с их дорогостоящими имперскими амбициями, с планом и всем тем, посредством чего они существуют.

Задача Горбачева — совместить несовместимое, и класс управляющих терпит его из-за безвыходности положения. С одной стороны, вместе с Империей ему угрожает несвобода, с другой — свобода. Но с несвободой еще можно сколько-то протянуть, потому Горбачеву не позволено ни одного реального шага в сторону свободы. Чуть зарвался Ельцин — нет Ельцина.

Советский Союз оставался "на плаву", когда дело шло о количестве телег, автомобилей, судов. С качественными успехами Запада успехи СССР оказались призрачными. В 1986 году в Советском Союзе выплавляли металла в два с лишним раза больше, чем в США, 165 миллионов тонн против 75, но произвели в полтора-два раза меньше оборудования. (Со слов академика Аганбегяна, экономического советника Горбачева.) При том, качественный металл СССР все равно закупал на Западе. Пример характерен: больше скота — меньше мяса на душу населения, больше нефти — недостаток нефти из-за непомерного расхода на единицу работы. Как никогда очевидно, что тяжелогрузные поезда с одинаковой продукцией мчатся навстречу друг другу из Владивостока в Брест и наоборот только ради безбедного существования аппарата власти. Ради этой цели существует система, при которой производителю наплевать, потребует ли его продукция потребителю, а остальным наплевать, что производитель задарма нахватал "про запас" материалов и оборудования на сумму 460 миллиардов рублей вне оборота, из них 170 миллиардов безусловно похоронены! Чтобы представить себе огромность этой суммы, нужно знать, что за всю перестроечную горбачевскую пятилетку планируется (опять планируется!) прирост национального дохода в сумме 84 миллиарда рублей.

При всей вопиющей бесхозяйственности Советскому Союзу еще на сколько-то хватило бы природных ресурсов и сталинского страха с мыльными пузырями выхваченных из контекста цифр, не случись мировая техническая революция качества, электронная революция, какую советская система не способна воспринять.

Напрашивается историческая параллель. После победы над Наполеоном Российская империя сорок лет пребывала в военных колоссах, в Крымскую же войну оказалось, что все еще воюет гладкоствольными ружьями. Тогда начал перестройку император Александр II. Не является ли Афганистан вторым Крымом? Нет, не является. За Александром II стоял новый хваткий купеческий класс, и он без оглядки смог совершить настоящую революцию, раскрепощение крестьян. Да и идеологию, Самодержавие-Православие-Народность, ему не приходилось рушить. И были еще рентабельны империи, из колоний черпали, не вкладывая. Ничего такого нет у Горбачева.

Значит, свобода — единственный выход. Прежде всего — де-сталинизация. Для примера возьмем два характерных сталин-

ских признака: прописку граждан по месту жительства, то есть ограничение передвижения граждан в собственной стране, и введенные Сталиным боны вместо настоящих денег. Возможно ли избавиться от этих постулатов несвободы реформированием? Нет, невозможно. С отменой прописки толпы заполнят Москву и десяток столичных городов — эти города не только запретный плод в сознании масс, но десятилетия были внутренней границей с большей культурой, с лучшим обеспечением. Скоро ли выветрится из сознания такое представление, притом что никакая собственность не удерживает на месте?

Конвертируемый рубль немедленно и вконец разорит страну. Для того, чтоб что-то купить за границей, нужно туда и что-то продать. Скоро ли Россия накует такое, что там спросится? Без конвертируемого рубля не накует, с конвертируемым рублем прежде разорится. Конвертируемый рубль — конец Империи. Если валютные гроши за распродажу недр (много ли осталось?) перекочат из государственных рук в руки граждан, граждане не купят за границей особые станки для производства бесшумных винтов подводных лодок — купят видеотейпы.

Вот так товарищ Сталин завязал узелки. Реформами не развязать — рубить по Империи, а задача Горбачева Империю сохранить, для чего он должен совместить послушание со свободой, рентабельность с отсутствием свободного рынка, реальные цены — с отсутствием конвертируемого рубля. Задача для Бога, не для человека.

Но мы поверили в Горбачева, поверили, что из двух имперских зол, теперь уже как несвободы, так и свободы, он выбрал последнюю. Довод тому ГЛАСНОСТЬ.

Позвольте, что есть гласность? Лексический выверт или свобода слова? До сих пор мы знали, что такое гласность суда, гласность заседаний Государственной думы. Что есть гласность без определения? Вероятно, такая свобода слова, каковую можно ограничить. Так и есть. Священные коровы остались. Их много. Сам Горбачев. Ленин. Социализм. Если что и проскользнет по поводу Ленина и социализма в "Московских новостях" (упаси Бог, не на счет того, кому мы верим), так ведь их купить разве что в Париже. Да и "Литературку" не просто, и "Огонек". Вот "Наш современник" — пожалуйста, без ограничений. Правда, если что сболтнет какой кухонный интеллигентик — не сажают. Пусть его. Много ли вреда от интеллигентской болтовни? Ну,

а ежели, как Григорьянц с его "Гласностью", то можно и погромить. Пусть и Григорьянц болтает только в голос, не на бумаге. На бумаге многие прочтут.

Интеллектуалы Запада и Востока могут умиляться, что теперь опубликован "Доктор Живаго", кое-что Набокова, тиражируются пластинки Высоцкого, Галича вспомнили, что опубликован некролог по Некрасову. Умиляться можно, не забывая, что живой великий русский писатель Александр Солженицын по сию пору в статусе выдворенного, вместе с ним Максимов, Аксенов, Войнович, многие другие деятели русской культуры.

И демонстрациям, прокатившимся на волне гласности, можно умиляться, помня при том, что уже приняты и применяются правила, по которым их разгоняют. По тем правилам внутренним войскам дозволяется даже врывать в дома без санкции прокурора (а ведь недорого получить).

Что еще? Помилована большая часть политических заключенных. Помилована. Не отпущены с извинением безвинные — помилованы.

Еще были слова о белых пятнах истории, но оказалось, к Катыни, к секретным протоколам договора с Гитлером, к подавлению восстаний в Венгрии, в Чехословакии они не относятся.

Эмиграция. Пока что меньше, чем в застойную эпоху Брежнева, но говорят... Почему бы и нет? Еще застойный Брежнев раскусил, что эмиграция самое дешевое, чем может замазать глаза Западу советская держава. Замазал и построил сильнейший в мире военно-морской флот.

Вот, вот ростки нового: с позволения местных властей (попробуй добейся!) разрешено пенсионерам и прочим гражданам после работы по основному государственному месту открывать кооперативы. На селе разрешены кооперативы и подряд. Не НЭП, но все же.

Да вот еще: из Политбюро, из советских органов власти отправлено на пенсию несколько пожилых людей, несколько перемещено, в результате Генеральный секретарь, товарищ Горбачев, как некогда застойный Генеральный секретарь товарищ Брежнев, занял одновременно пост Председателя Президиума Верховного совета. Тогда пострадал Подгорный — теперь Громыко. XIX Всесоюзная партконференция на то работала, по крайней мере, в части, известной телезрителю и читателю газет. Как в добрые старые времена пленуму ЦК осталось единогласно

вздеть руки к небу. Похоже, теперь устанавливается невиданная форма демократии: секретари партийных комитетов будут назначаться (рекомендоваться) вышестоящей партийной организацией, после чего будут назначаться (рекомендоваться) в председатели советов по методу нынешнего Генерального секретаря и председателей колхозов. Собрания дружно вскинут руки, подобно пленуму ЦК, что вознес Горбачева еще на одну вершину власти. Где же обещанный выбор голосованием из нескольких кандидатов? Может быть, беспартийные тоже будут избирать партийных секретарей, чтоб они стали и председателями советов? Вряд ли. Пока что на этом новшестве вознесся только Генеральный, против прежних с легкостью и быстротой, а вот скорость общественных перемен, по словам Ельцина, не для перестройки, а для нового культа личности.

Итак, радуются гласности с перестройкой (про ускорение больше не поминуют) западные интеллектуалы, советские интеллигенты ("читать стало интересней, чем жить"). Бюрократы скрипят зубами. Народ сочиняет анекдоты и частушки про "минерального секретаря". Зубоскалит народ. А то и скрипит зубами народ, как бюрократы, в очередях, у прилавков с десятирублевым перестроечным салом. Поминает народ (заодно с бюрократами) "хозяина", при коем — порядок и сокращение цен.

Но лично мы договорились списывать сомнения в Горбачеве на осторожность, на хитрость в хорошем смысле, без чего не одолеть ему российских чинуш и всенародное нивотчоневерие. Потому примем за него формулу "всякому овощу свой час", допустим, что теперь уж с обеих вершин власти он выведет страну на стезю подлинной свободы. Кто же в таком случае противостоит хорошему главе партии и государства?

С КЕМ И ПРОТИВ КОГО.

Хуже всего то, что противостоит инертность народа. Большая ошибка Запада предполагать, что за семьдесят лет коммунистам не удалось создать советского человека. Не удалось лишь наделять его свойствами западного фермера и западного рабочего. Если на Западе найдется элемент для сравнения, то это скорее **взлферник**, предпочитающий недостаточное обеспечение без пота труда в поте лица для приобретения дома, машины, разных благ. Слишком долго таких благ в Советском Союзе невозможно

было добиться трудом, а вот изловчиться кое-кому удавалось. Что касается средств — простого "воспроизводства рабочей силы" — обязанность снабжать ими взвалило на себя государство и плохо, но исполняло ее, тем самым создав своеобразного иждивенца, коему невдомек, что государство не пашет и не сеет. Слишком долго говорили: "Государство дало..."

Советский человек настроен к любым переменам — пережитые им за семьдесят лет перемены только ухудшали условия его жизни. Советский человек не вложит труд на долгосрочный вклад — результат у него всегда отнимали. Советский человек пальцем не пошевелит за обещания — семьдесят лет пустых обещаний их обесценили. Поэтому советский человек, народ, против синицы в небе, перестройки, он за меньшее — без труда в поту. А ежели кто по способностям, по удаче ли, добьется больше других — тот буржуй, того к ногтю. Так что непросто теперь в Советском Союзе преуспеть, хотя бы и на всеобщее благо, не на одного себя. Теперь нужно вперед дать, и всем разом, а где взять?

Само собой, бюрократия против Горбачева (такого, какому верим). Двадцать миллионов каракулевых и пыжиковых шапок, им хватает даже от плохого труда остальных. Не только тихой сапой, припечет — пойдут на открытый переворот: монархический ли, сталинистский или национал-социалистский — все равно, лишь бы не упустить теплые места.

КГБ, говорят, порядка двух миллионов вооруженных. Ждет КГБ, не окажется ли Горбачев таким, каким нам хочется. Был прецедент — Хрущев обуздал КГБ в благоприятных послесталинских условиях с помощью армии. Теперь армия знает: за КГБ ее черед.

Вот и армия. Кадровый офицерский корпус Вооруженных сил. В существующем количестве в настоящую перестройку армия никак не вписывается. Давно всем, кроме народа, известно, что Советскому Союзу в современном мире угрожают разве в бредовом сне придуманные мифические империалистические круги. Не страны, не коалиции стран — "круги". Надо полагать, капиталистический военно-промышленный комплекс и есть эти круги, если не марсиане. Комплекс соберет своих рабочих и во главе с инженерами — на СССР.

Короче говоря, настоящая перестройка обязана отнести значительную часть армии в графу "бесполезные затраты", а офи-

церский состав уходить на колхозный подряд не хочет. В хрущевские времена уже узнали, почему трудовой рубль, кому не досталось места в учрежденческих отделах кадров. При хозрасчете и туда не возьмут. Чтоб не пугать офицеров, поговаривают о странном сокращении армии, без сокращения офицерского корпуса — кто поверит? Офицеры без солдат! Нет, не поддержит армия перестройку, не погонит еще раз танки на площадь Дзержинского к зданию КГБ, скорее погонит на Красную площадь.

Итак, против Горбачева, которому мы верим, — народ, по крайней мере в своем большинстве, бюрократия в числе двадцати миллионов, КГБ и армия. Эдакая силища! Кто же с Горбачевым, которому мы верим?

Часть верхнего эшелона власти готова на определенные идеологические (не личные) жертвы из страха перед ослаблением и распадом Империи. Эта часть — не монолит, у каждого свой предел жертвенности, а для многих перестройка с гласностью — подвернувшийся конек, везущий в гору. Трудно представить, что кто-либо из них жаждет стать неназначаемым, а избираемым. Не Джефферсоны. Многие, многие пересядут на другого конька, ежели окажется понадежней.

Тут уместно взглянуть в зал заседания XIX партконференции ретро, в зал, где собрались назначаемые. Даже “посланец” ограниченного контингента Вооруженных сил в Афганистане был, суровый генерал. Впрочем, мы видели его не в зале — на трибуне, и нам неизвестно, случайно ли операторы телевизионной программы “Время” смонтировали выступление генерала после писателя Бакланова, или так смонтировали программу конференции ее монтажеры.

Писатель Бакланов ополчился на безответственных виновников ввода войск в Афганистан. “Кто лично виноват за напрасные жертвы и будет ли отвечать?” — спросил Бакланов. Камера на зал — поголовные аплодисменты. Следом — генерал: “Раздаются голоса о проигранной войне в Афганистане, — вычеканил генерал, словно командовал: “Кто сказал, идя шагом ма-э-рш!” — “Мы героически выполнили свой интернациональный долг! Жертвы были не напрасны!” Камера на зал — поголовные аплодисменты. Вот тот лысый в третьем ряду аплодировал Бакланову, аплодирует генералу, дама с норковым головным котлом на коленях (неужели и в Кремлевский гардероб стало страшно сдавать?), восточная дама в платке, тот взбыченный, тот весельчак в улыбке — все аплодировали и Бакланову, и генералу. Ты начальник — я дурак. Я начальник — ты дурак. Ты на трибуне — я хлопаю, я на трибуне — ты хлопай. Перестройка?

Поддерживает Горбачева население территорий, “воссоединенных” с СССР по сговору с Третьим рейхом Гитлера, национально настроенные элементы в нерусских республиках. Можно ска-

зать, они с Горбачевым — он не с ними. Они надеются тихой сапой или нахрапом вывалиться из Империи, Горбачев — ее сохранить. По слухам (такова гласность) прибалтийцам отказано и в хозяйственной самостоятельности.

Наконец, мы добрались до горбачевцев, верных перестройке, до интеллигентов. В случае чего писатели (не те, что с "Памятью"), художники (не Глазуновы), артисты (не Доронины), врачи (не из КГБевских дурдомов) соберутся на кухнях, где столько говорено, снимут пенсне и стенкой станут против КГБ и армии.

Все "за"? Немного.

Что делать?

На вопрос, что делать, ответ знал один Чернышевский, потому что ничего не делал, только писал. Согласно анекдоту, Владимир Ильич на вопрос, что делать, задумался и ответил: "Что делать? А хрен его знает, что делать".

Что можно сделать за пять лет, отпущенных Горбачеву обстоятельствами, если нет производительных сил? Семьдесят лет эти силы мяли, тасовали, передергивали и видоизменили в говорунов, алкоголиков, лодырей и воришек. Где деревня, что пахала не гектарами в пол-ладони глубиной, что крестилась, слышав городской мат? Где рабочий, что точил — так точил, строитель, что строил — так строил? Без той деревни, без того рабочего Горбачеву только и остается подбелить фасад Империи гласностью. Теперь не поможешь реформами даже не куцыми. Распад. Только позорный и полный распад Империи выветрит из мозгов шовинистический угар, который сегодня компенсирует в сознании производительную импотенцию. Распад убедит граждан, что кончилось "дающее государство", пора приложить руки, чтоб не сгинуть от голода. После распада от огорода на пустыре, от слесаря-кустаря начнутся нормальные отношения человека и государства, нормальные отношения собственности и труда, купли и продажи.

Тогда придет время Западу оплатить долг свободным народам России.

Д. Таксер (псевдоним) — писатель, автор книг "Иск" и цикла рассказов "Воспоминания о будущем".

КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

Зимой 1963-го года, как во все предыдущие и все последующие зимы, я передвигалась по Москве короткими перебежками от одной станции метро к другой; не чтобы ездить, а чтобы греться. Готовясь к очередному погружению в ледяной кошмар, я случайно подслушала разговор двух таких же, как я, "перебежчиков". По виду — сверстники, по одежде и лексике — пролетарии, одним словом — "народ". "Народ" говорил о Евтушенко.

Один сказал восхищенно:

— Ну и в..б же он их!

Другой откликнулся мечтательно и злорадно:

— А вот как он сейчас застрелится — ох, и попляшут они тогда!..

Кто такие "они", которым — застрелись Евтушенко — предстояло поплясать, то есть попасть в положение неловкое, затруднительное, даже постыдное, — было абсолютно ясно не только самим собеседникам, но и мне, подслушивающей, и не только мне, но и каждому, кого ни останови, из проплывающей мимо окоченевшей злой толпы.

"Они" — это партия, правительство, критики, учителя, родители, милиционер наверху, контролер внизу, короче, "они" — это всякая власть и любое начальство.

Двое, которые сейчас рядом

Майя Казанская

ДИТЯ АРБАТА

со мной оттаивали в вестибюле станции "Площадь Революции", к "начальству", понятно, не принадлежали и смерти Евтушенко не желали. Напротив, они его любили и желали ему бессмертия. Просто они, как, впрочем, и я, как, впрочем, и любой в России, знали, что бессмертие русскому поэту гарантирует, прежде всего, короткая жизнь и насильственная смерть. Насилие обязательно и всецело должно исходить от власти, образ же и орудие смерти зависят от эпохи, классовой принадлежности поэта и подвернувшихся предметов. Пушкин и Лермонтов — аристократы — погибли на дуэлях, Есенин повесился, Маяковский застрелился, что — в обоих случаях — характерно для разночинцев, "третьего сословия". После их смерти, почти одновременной (Есенин в 1925-м году, Маяковский — в 1930-м), когда казалось — и не без оснований, — что русская литература, великая, неповторимая, лучшая в мире, исчезает безвозвратно, распространилась формула: "Русская поэзия началась двумя трупами и кончилась двумя трупами".

В те годы Мандельштам сказал жене: "Где ты еще найдешь страну, в которой бы так ценили поэзию? У нас за стихи убивают". И еще сказал (в разговоре с Ахматовой): "Поэзия — это власть". Ахматова согласилась. Но согласилась не только Ахматова, — согласилась с этим и советская власть. И власть возревновала к власти. Это не значит, что власть политическая хотела уничтожить власть поэтическую как таковую, то есть Поэзию вообще и всякую. Речь шла лишь о борьбе с дурными частнособственническими инстинктами поэтов, наивно полагавших, что стихи — их личное имущество, "натуральное хозяйство", враждебное духу коллективизма и плановому производству. Язык, стиль, воображение надлежало социализировать и обобщить так же, как фабрики, заводы, земельные наделы: И только такая новая, сообща, скопом производимая поэзия должна была по праву именоваться советской.

В послесталинской России всякое поэтическое возрождение подчиняется тому же закону, что и возрождение политическое: возрождение — это возвращение к "корням". Разница между горбачевской "весной" и хрущевской "оттепелью" в том, что первая ищет "корни" в "общечеловеческих нравственных ценностях" и православной церкви, вторая же скромно ограничивалась "возвращением к ленинским нормам". "Возвращение к ленинским нормам" в поэзии (вообще в искусстве и шире — "в духе") означало подновленный миф Революции, героикку, борьбу со "старым" (Сталин) за "еще более старое" (Ленин), и поэ-

тому снова остро ставило вопрос о "первом" поэте эпохи, который мог бы говорить с властью один на один от своего имени и "во весь голос". Проще говоря, срочно нужен был Маяковский. На эту должность общество и выдвинуло Евтушенко.

Сценарий был готов, роли расписаны. Евтушенко приложил все усилия, чтобы сыграть роль достойно. В начале 60-х годов он, как поэт Революции, посетил революционную Кубу и воспел ее; через 40 лет после Маяковского и почти через полвека после русской революции от ее, как бы все еще молодого имени промчался по дряхлеющей Америке и разоблачил ее; у себя на Родине обращался к аудитории шириной в тысячи километров и миллионы слушателей; стихи располагал лесенкой; писал интимную лирику, вызывавшую общественные скандалы, и устраивал общественные скандалы, переходившие в интимную лирику; был у всех на устах и в сердцах; и все более и более впадал в немилость у власти.

Власть, со своей стороны, тоже старалась держаться в рамках сценария. Чем убедительней Евтушенко "играл" Маяковского, чем иступленней боготворила его читательская масса, тем сильнее громыхало "наверху". Общество замерло в ожидании последнего акта: кто выстрелит первым — власть в поэта или поэт в себя?

В 1962-м году Евтушенко опубликовал на Западе прозу под названием "Автобиография". Все здесь было провокацией и вызовом власти. Во-первых, место публикации: Запад; во-вторых, жанр: автобиография как самостоятельное произведение — это просто-напросто мемуары. Мемуары же, по советским воззрениям, приличествуют только признанному классику, обремененному годами, подагрой и Ленинской премией.

Евтушенко и писал о себе как о классике, писал уже как бы "с той стороны" бытия, *post mortum*. В этой новой игре Западу отводилась не только политическая, но и мифологическая роль: "тот свет", "страна бессмертия", пантеон вечных культурных ценностей...

Обгоняя ленивую историю литературы, Евтушенко сам сравнил себя с Маяковским, а свою, тогда уже бывшую жену назвал "второй Ахматовой". Но ни тогда, ни позже никто не обратил внимания, что и в этом поступке, и политически, и литературно отчаянно смелом, Евтушенко шел по чужим и действительно уводящим в бессмертие следам.

В 1956-м году Борис Пастернак написал автобиографическую прозу под названием "Люди и положения". Предназначенная к

публикации в "Новом мире", но в то время там не напечатанная, автобиографическая проза Пастернака, как после нее евтушенковская, разошлась по стране в сотнях машинописных списков. В ней содержались: всех потрясшая фраза о воздвигнутом по указанию Сталина культе Маяковского ("Маяковского стали вводить принудительно, как картошку при Екатерине"); описание отношений автора с Маяковским; размышления о поэзии Маяковского и его роли в поэзии; но, главное, излучаемая каждой строкой спокойная уверенность Пастернака в том, что, если не люди, то само Время обеспечило ему, Пастернаку, положение первого и лучшего поэта эпохи.

Через год на Западе вышел "Доктор Живаго", через два Пастернаку была присуждена Нобелевская премия и объявлена всесоюзная и всенародная травля, через четыре он умер.

С молодой, еще не притупленной чуткостью Евтушенко ощутил, что миф Маяковского дал трещину; что поза и позиция Поэта Революции, где поэт представляет Революцию не меньше, чем власть, и потому разговаривает с властью на-равных, — это проигранная ставка; что уже не тень "агитатора, горлана, главаря" наплывает на современников, но совсем другие тени совсем других поэтов — изгоев, отщепенцев, "внутренних эмигрантов". Именно поэтому он дарит Белле Ахмадулиной титул "второй Ахматовой", как бы и в себе открывая возможность быть не только "вторым Маяковским", но и, скажем, "вторым Николаем Гумилевым", расстрелянным в 1921-м году первым мужем той же Ахматовой. Или — Пастернаком. Если не стихами, то хотя бы биографией: Евтушенко смотрит на чужую жизнь, как на черновик, по которому можно набело прожить свою. Перемена мифа — перемена судьбы: в новом сценарии "по мотивам Пастернака" опубликованная на Западе "Автобиография" призвана сыграть роль "Доктора Живаго" и раскрутить сюжет до конца — Нобелевская премия, скандал, изгнание...

Состоялся только скандал. Поводом послужила та же "Автобиография", но причина возникла раньше — в 1961-м году, когда в "Литературной газете" появился "Бабий Яр".

Назвать "Бабий Яр" стихами невозможно. Это зарифмованная декларация, выступление на "митинге в защиту советских евреев", общественная позиция, выраженная самыми простыми, доступными средствами, что угодно — только не стихи.

При всем том мы не снобы: и декларация может звучать поэмой, если в ее параграфы вписана вечность. Но декларативность "Бабье-

го Яра" "работает" в слишком ограниченном времени и слишком специфическом пространстве.

Достоинство евреев — по Евтушенко — в том, что "враги" всегда (и правильно) отождествляли евреев с коммунистами.

Но ведь это — достоинство только в том случае, если сам коммунизм — безусловная ценность. А если нет?..

Евтушенко выражает желание, чтобы в ту минуту, "когда в землю ляжет последний на земле антисемит", — "прогремел Интернационал". Проще говоря, коммунизм — могильщик антисемитов. А если нет?..

Евтушенко объявляет, что он ненавидит всех антисемитов, "как еврей, и потому он настоящий русский". А как быть с Достоевским, который антисемит? Или Достоевский менее русский, чем Евтушенко? А если нет?..

В "Бабьем Яре" нет ни одной истины, которая дожила бы до 1988-го года. Даже простой факт, с которого стихотворение начинается: "Над Бабьим Яром памятника нет..." — отменен: уже год, как в Бабьем Яре памятник стоит.

Отчего же эти стихи, идеологически абсолютно "кашерные" и поэтически невинные, вызвали скандал, едва ли не превосходящий по размаху бурю вокруг "Доктора Живаго"?

Причина проста: из каждой строки "Бабьего Яра" лезло слово "еврей". Слово неприличное, невозможное и постыдное еще более, чем существо, этим словом обозначаемое. Нет слова — нет еврея, нет еврея — нет еврейского вопроса, нет еврейского вопроса — нет Бабьего Яра. Ничего нет: ни евреев, ни антисемитов, ни памятника. Нет и не надо.

Евтушенко нарушил табу и, тем самым, — общественное равновесие. Он сказал, что антисемиты есть, наполнил восторженной благодарностью сердца евреев и пробудил национальное самосознание у тех и у других, в том числе у первого секретаря партии Никиты Хрущева.

В начале 1963-го года Хрущев лично объявил Евтушенко писателем несоветским. В сценарии "Жизнь великого поэта" дописывалась последняя страница. И тут разразилась жанровая катастрофа: в изгнание ушел не поэт, а — Никита Хрущев. Повторная постановка трагедии "Владимир Маяковский" обернулась фарсом.

Прошло четверть века. Новые поэты сотрясали новые поколения: Высоцкий обрел славу и популярность Есенина, а его неужи-

данную смерть приравнивали сразу двум смертям – самоубийству и убийству; Бродский был сначала арестован, как Мандельштам, затем сослан, как Пушкин, затем выслан, как Марина Цветаева, и получил Нобелевскую премию, как Пастернак... Евтушенко же навсегда вмерз в 60-е годы, и все меньше остается людей, способных объяснить тайну его недолгого и ослепительного взлета.

...Есть поэты, которые создают эпохи. Есть эпохи, которые создают поэтов. Евтушенко был создан самым малым, самым узким краем эпохи – одним поколением, поколением двадцатилетних, переживших смерть Сталина в 53-м и разоблачение “культы личности” в 56-м. Поколение выжало из себя и передало Евтушенко свои желания, представления, идеалы и – свою безъязыкость. И поколение получило от Евтушенко ровно столько, сколько оно в него вложило. Не больше и не меньше.

И все же, чтобы с такими малыми возможностями, какие были даны Евтушенко от природы, стать голосом пусть одного, но все же целого поколения, нужно быть гением. Евтушенко и был гением, но гением специфическим, обладавшим одним-единственным талантом – талантом медиума. И поэтому все, что называется поэзией Евтушенко, – это не поэзия, а психология поколения.

Даже самым страстным поклонникам Евтушенко было ясно, что он – поэт содержания, а не формы, поэт тематический. Но что такое темы евтушенковской поэзии? Это, просто-напросто, – право на жизнь, которой поколение было лишено и которую хотело; право обличать социальную несправедливость; право на сексуальную жизнь (“постель была расстелена, а ты была растеряна”); право молодых жить отдельно от родителей; право быть разочарованным, скептиком, пессимистом; право уличать взрослых в лицемерии, а начальство – в нерадении...

В сущности, перед нами самый обыкновенный инфантилизм. И точно так же инфантильна поэзия Евтушенко. Она выстроена на элементарных противопоставлениях: “да” – “нет”, “друг” – “враг”, “свой” – “чужой”, “любовь чистая” – “любовь грязная”... “Я как поезд, что мечется тысячу лет между городом “Да” и городом “Нет”. Мои нервы натянуты, как провода, между городом “Нет” и городом “Да”... В городе “Нет” нет любви, в городе “Да” есть любовь – и т. п.

Его стих всегда обращен к “своим”, к единомышленникам, которым ничего не надо объяснять. Отсюда засилье намекающих слов: “кто-то”, “что-то”, “где-то”, “те”, “эти”... Такие стихи в Рос-

сии принято называть риторическими. Но это не риторика, это — магия. Это вера в то, что достаточно назвать предмет, чтобы его создать или уничтожить, прославить или обесчестить. В сущности, перед нами чисто сталинская вера в то, что слово и есть дело.

И в этом последняя тайна Евтушенко и его поколения: антисталинисты по взглядам и чувствам, они остались сталинистами по сознанию и так никогда и не смогли уйти из мира, который создал Сталин.

В новой горбачевской России, доедающей Сталина по второму разу, Евтушенко как будто представилась возможность второго рождения. Но, в отличие от 60-х годов, в России 80-х нет больше поколения "детей Арбата", которое, все, как один, восстало против поколения "отцов террора". На пяточке, освобожденном гласностью, сбилось сразу несколько поколений и у каждого — свои претензии, идеалы, мифы и поэты. А у Евтушенко не хватает ни таланта, ни авторитета, чтобы перекрыть все эти голоса. Он настроен только на одну волну — самую сильную. Сегодня она идет от Горбачева и от русского национального возрождения. И сегодня Евтушенко кричит уже не о загубленной Революции, но о том, что Революция загубила, — о национальных ценностях.

Зачем же он собрался в Израиль?

Какую бы миссию, политическую или общественную, он ни выполнял, для него лично визит в Израиль — это путешествие на машине времени в 60-е годы. Это — как поездка из столицы на родину, в провинцию, где тебя еще помнят молодым и красивым: ведь Израиль — это последнее место на Земле, где еще живут люди, для которых Евтушенко так и остался благородным автором "Бабье-го Яра".

М. Казанская — литературовед и эссеистка, автор книги "Мастер Гамбс и Маргарита" (совм. с З. Бар-Селлой и многочисленных статей в русскоязычной и ивритской печати).

ПОРТРЕТЫ В ПРОФИЛЬ

*Анатолий Якобсон
(1935 – 1978)*

ИЗ ДНЕВНИКОВ

(К ДЕСЯТИЛЕТИЮ СМЕРТИ)

Десять лет назад в Иерусалиме, в состоянии тяжелой депрессии, покончил с собой известный литератор и правозащитник, один из создателей "Хроники текущих событий" Анатолий Якобсон. Среди его бумаг был обнаружен дневник, который Якобсон вел с июля 1974 года и почти до конца жизни, исключая особенно тяжелые периоды, когда его одолевала болезнь. Публикуемый материал — часть этого дневника — представляет, надо думать, объективный человеческий интерес. Публикация не претендует на научность, поэтому примечания сведены до минимума, а краткие разъяснения даны в самом тексте в квадратных скобках. Сокращения текста, сделанные из этических или эстетических соображений, — не оговариваются.

В этом же виде дневник войдет в сборник, готовящийся к печати в издательстве "Либерти" в Нью-Йорке, который максимально полно отразит литературно-публицистическое наследие Якобсона, а также материалы о нем.

М. Улановская

Вместо вступления

2 письма в Москву: черновик (неотправленного?) письма А. Якобсона Юлию Даниэлю и письмо М. Улановской Юне Вертман.

КОНЕЦ МАЯ 1974

Юлька,

Не писал тебе до сих пор, потому что не мог бы написать ни о чем другом, кроме как о своем состоянии, а об этом писать не хотелось. Когда человек испытывает сильнейшую зубную, скажем, боль, он не ведает иных впечатлений, кроме этой боли. А стерпима эта боль постольку, поскольку знаешь, что настанет момент и она пройдет, допустим, врач вырвет зуб. Приговоренный к бессрочной, острой и, главное, непрерывной зубной боли должен в конце концов удавиться. Это аналогия. Аналогий много. Не мне говорить тебе, чем жив заключенный — ожиданием конца срока. Пожизненное заключение далеко не всякий предпочтет смерти.

Сейчас я хочу именно описать тебе свое состояние, имея при этом определенную цель. Уезжая, я чувал, что совершаю почти самоубийство. Оказалось, что без всяких почти.

Известно, что люди выносят любое горе. Но не всегда, не все люди. Есть такие, которые не выдерживают смерти близких, разрыва с любимыми, крушения своих идей, оскорбления и т. д. Изгнание у разных народов и в разные времена было высшей карой, родом казни. Я убежден, что были люди, которые от этого умирали, как умирали от любви. То, что я пошел на это добровольно, из-за каких-то соображений (ты знаешь их), говорит только о том, что я не знал себя. Можно жить, не имея особой охоты к жизни. Такое случалось со мной периодами не раз. Но я представления не имел, что такое лютая, свирепая воля к смерти, когда отчаянно хочется подохнуть, и не вообще хочется, не по временам, а в каждую данную секунду. Все вокруг хором: возьми себя в руки! Но я только и делаю, что с утра до ночи беру себя в руки, чтобы не наложить на себя руки. Юлька, ты должен понять это. Вспомни наши калужские собеседования. Люди меняются ролями. Тогда мой резон, что мы обязаны жить, если не для чего-то, то по крайней мере для кого-то, не казался тебе достаточно убедительным.

Пока я вырвался из сумасшедшего дома, где меня продержали (с перерывами) три месяца, вырвался, начав работать (ты, наверное, слышал — грузчиком на мельнице). Не знаю, навсегда ли и надолго ли вырвался, но знаю наверняка, что никакие врачи и никакие лекарства не помогли и не помогут мне.

“Тоска по родине — давно разоблаченная морока”. Я написал Юрке Левину, что мне по ночам снятся бревна дома в Опалихе. Он в ответ сострил: надеюсь, дескать, что ты все-таки не по бревнам, а по людям тоскуешь. А люди, мол, сейчас бурно перемещаются в пространстве. Да, конечно, по людям, но потерю людской — моей — среды я ощущал одновременно с утратой среды в самом широком биологическом смысле слова. Не дай Бог ему, Юрке, узнать, что это такое, когда хлеб — не хлеб, вода — не вода, земля — не земля, воздух — не воздух. Израиль, собственно, здесь не при чем, так было бы в любой загранице, попади я туда без надежды на возвращение. Скорее всего, он и не ощутил бы этого на моем месте, на то и говорится: каждый молодец на свой образец. Ностальгия — дело естественное и болезнь многих, но каждый организм болеет по-своему, а бывают, видно, исключительные, ненормальные, неизлечимые случаи. Что делать, если я именно такая сверхпатологическая особь! Само время должно лечить, постепенно утишая боль, а у меня все наоборот: чем дальше, тем убийственнее сознание, что сие н а в с е г д а, тем обширнее паралич душевных и всех прочих сил. Юлька, я и физически, и даже физиологически резко деградировал, а в дальнейшем обречен на идиотизм и вырождение. Пока, правда, вырвался. {...}

10.10.78

Дорогая Юночка!

Мне совсем не хочется писать письма, но приехавший на днях человек

рассказывает, что у вас ходят всякие слухи о причинах гибели Толи, и мне, вероятно, следует их опровергнуть.

Я понимаю, как соблазнительно объяснять случившееся психологически или объективными причинами, и у нас тоже делаются такие попытки. Но все они напрасны. Толя погиб от болезни и от того, что мы, его ближайшее окружение, не поняли опасности его положения. Ты помнишь, что в каждом письме я писала о его состоянии. И только в первые месяцы его болезни, в 73–74 году, когда пришлось положить его в больницу, казалось, что он способен на этот шаг. После этого в течение всех этих лет циклы болезни проходили смягченно, и было похоже, что она постепенно пройдет, вернее, будет проявляться как смена настроений. Был у него врач, который лечил его с самого начала и вывел из тяжелого состояния. Врач молодой, но добросовестный. Когда пропала нужда в госпитализации, Толя продолжал с ним встречаться в частном порядке. Наконец, Толю это стало раздражать: стоит ли пользоваться его услугами? Стоит ли беседовать целый час о литературе, чтобы в результате тот ему говорил, сколько таблеток лития он должен принимать? Да еще платить за это деньги! (Кстати, чтобы этот момент не вызывал особенного внимания: деньги небольшие, вполне ему по карману). К тому же и врач относился к этому моменту не просто: жался, мялся, прежде чем сказать, что пора, в связи с инфляцией, и ему надбавить. В какой-то момент Толя, чувствуя себя хорошо, отказался от услуг врача, а когда снова стало хуже, живущая поблизости от нас врач предложила ему свои услуги: просто так, по-дружески. Нас всех возмутило, что, когда два месяца назад у Толи началась его последняя депрессия, она предложила отправить его в больницу. Как же можно подвергнуть человека такому страданию, когда никакой опасности для него совершенно очевидно нет! Он же совсем не в том состоянии, как был когда-то! Стали поступать предложения — найти ему другого врача. Например, в “Хадассе” есть хорошие психиатры. Да, первое, что сделала эта врачиха — отменила литий, который Толя принимал уже несколько лет. Она ему объяснила, что это сильнодействующее лекарство, которое может разрушить его организм. Я была очень рада, потому что перед моими глазами — пример моей приятельницы, на которую постоянные дозы лития оказывают именно такое разрушающее действие. Депрессия усиливалась, но, наконец, удалось подобрать для него новый сильный антидепрессант. Тяжелое состояние это лекарство снимало — так уверяли Толя и Лена. Правда, он почему-то не мог заниматься никакой умственной работой. Не только писать, но и читать. Безделье его терзало.

Нам казалось, что все его помыслы нам известны — о своих страданиях он говорил постоянно, я едва сдерживалась, чтобы не попросить его пожалеть меня, не мучить. Невероятно, что ему удалось скрыть от нас свой замысел. Он говорил неоднократно, что, хотя жить ему не хочется, но он понимает, что э т о г о делать нельзя. В противоположность первой депрессии, когда он говорил, что ему так тяжело, что он не в состоянии думать даже о матери.

Можно вспомнить о его выступлении в университете на семинаре с докладом, посвященным в значительной степени смерти Маяковского (нет у меня сейчас сил подробно касаться этого прекрасного доклада), о его интересе к этой теме, а также подробности самоубийства Рекубратского и то,

что он узнал недавно о том, что у нас, как в каждом доме, есть подвальное помещение для целей убежища.

Приехавший из Москвы человек рассказал: ходят слухи, что Толю сгубила его несовместимость с Израилем. Это не так. Правда, первая его депрессия носила резко выраженную ностальгическую окраску, но позже он очень полюбил эту страну. Несовместим он был не со страной, а с жизнью. Болезнь как бы отгородила его от окружающего. Хотя, как всегда, у него было много друзей — одинок он не был никогда. Да что уж говорить, если ни молодая жена, ни сын не смогли его привязать к жизни! Поверь мне, если я скажу, что в житейском, человеческом смысле он был вполне счастлив. Хотя были и тяжелые моменты. Он боялся, что его уволят из университета, что он будет бременем для жены. Все это так, но не в этом дело.

Ты знаешь, наверное, ужасные подробности этого проклятого дня, 28 сентября. Утром он проснулся, как все последние дни, в хорошем настроении. Каждый день мучение начиналось тогда, когда он садился за стол, пытался писать, и у него ничего не получалось. Лена ушла и сказала, что придет в 4. Часов в 10 он позвонил приятелю (Володе Фромеру), сказал: “Чувствую, что на этот раз я не выберусь”, и повесил трубку. Тот тут же приехал. Провел с ним час, говорил, успокаивал. Сыграли в шахматы. Толя блестяще выиграл. Наконец, сказал: “Тебе пора на работу, а я устал. Иди”. И тот ушел. Через 15 минут после ухода приятеля позвонила домой Лена. Телефон не отвечал. Она приехала. Его не было дома. Дверь не заперта. Думая, что он у соседей, прошла по этажам, прошла мимо “миклата” (убежища). Вернулась, ждет. Заметила, что нет собачьего поводка. Стала обзванивать друзей. К вечеру заявили в полицию. Я ее уверяла, что ничего он над собой не сделает. В худшем состоянии бывал, и не решился. Но куда же он мог уйти один, без денег и сигарет? Он на улице один без нее в последние дни не выходил. Лена говорит, что завтра она пойдет с друзьями его искать в горы, куда они часто ходили гулять. Похоже было, что произошел несчастный случай. Но зачем он взял поводок? Поздно ночью мы с ней снова анализируем ситуацию. Я говорю: “Если он решил что-то над собой сделать, зачем ему идти в горы? Есть чердак, есть миклат”. Вдруг она говорит: “Чердак заперт, а в миклат я заглядывала, там темно”. Я с ней попрощалась, зашла домой за спичками и спустилась в миклат. Заглянула спичку и увидела его.

Столько лет вместе прожито, а я вот уже который день ничего другого не могу о нем вспомнить, кроме этого мгновения, как я увидела его там. Хотя лицо его было совершенно спокойно — он умер не от удушья. И не мучился ни секунды. Тоже, вероятно, обдумал, как ловчее сделать.

Впрочем, мои чувства описывать сейчас — неуместно. Хотя так устроен человек, что не забывает и в такую минуту о себе. И вот я думаю о себе, что довелось мне в конце концов вынимать его из петли. Дальше — напрасные попытки его оживить. Он с утра это сделал, как только друг его ушел, после обычного разговора и игры в шахматы.

Похоронили мы его на Масличной горе. Такое это место прекрасное, но никто оценить этого не может. Народу была масса, хотя из-за приближающейся субботы пришлось поторопиться. “Хевра кадиша” — учреждение, которое этим занимается, — не рассматривает случившееся как самоубий-

ство, поэтому все было честь-честью, по обряду, Санька прочел кадиш. Его отпустили из армии по такому случаю. Потом мы вернулись домой и устроили нечто среднее между еврейской шивой и русскими поминками, 27-го будут “шлошим”, хотят послушать пленки с его голосом, Лена уехала в Хайфу к брату. Томика мы заберем. Удивительно, что собаки ничего не чувствовали целый этот день.

Вот и все, дорогая, целую тебя. Ничего утешительного сказать не могу. Нечем тут утешаться. Разве только тем, что не сделал он этого теперь, сделал бы, наверное, позже. Он очень изменился в последние годы. Болезнь меняла его к худшему. Личность шла на снижение, хотя он и был способен писать иногда замечательные вещи. Как видно, он это чувствовал и прекратил все разом последним усилием воли. Потому что это был акт больного человека, но и волевой вместе с тем.

Прости, если письмо мое местами покажется тебе неудачным или бестактным. Мне трудно, Я ведь даже плакать не умею.

Целую

М.

Из воспоминаний друзей

...Мы были с ним знакомы уже 12 лет, но только в месяцы совместного проживания узнал я его близко. Ссорились за 12 лет только раз. Плохо помню, как это ухитрился я с ним повздорить — другим тем более трудно это вообразить, зная о его широко распахнутой и бурной доброте. Это был общий любимец, дитя успеха. Это был физический, интеллектуальный и духовный атлет. Среди щедро одаренных натур он был одним из немногих, замеченных мной, которые словно стыдятся своего природного богатства, будто при его распределении им досталось лишнее за счет других, недодаренных. Словно преследуемый этой безвинной виной, он пребывал в постоянной готовности искупить ее, расплачиваясь со всеми — как бы отдавая долги, тем более тяжкие, что никто их впрямую не просил, размеры их были неведомы, и этот вечный должник метался, не знал, для кого больше стараться.

Он дорожил, как и все мы, ранними иллюзиями, но он — дольше всех, и в 36 лет еще не имел права сказать: “Исчезли юные забавы...”

Здоровяк, оптимист, непеседа, обладатель крепкого и стройного тела, стальных бицепсов, густой непослушной шевелюры, совершенно открытого лица, доброго, застенчивого и мужественного, временами он повергал себя в бешеную пучину чувствований, пафоса и едва справлялся со своей неистовой холерической озаренностью, и при этом — неизменно ясная голова, удивительное ораторское искусство, не нарушаемое даже взрывами эмоциональной хаотичности. У него был редчайший для нашего времени дар координации усилий души и интеллекта — свойство великих людей.

“Моцартовский характер”, — сказал он как-то об одном своем друге. Я так воспринимал и самого Толю.

(В. Гершуни: Не стало Толи Яacobсона, — “Поиски”, Москва—Париж, 1980, № 2, с. 140—149).

Кто не знает пословицы "Красив да умен — два угодья в нем!" В погибшем шесть лет назад в Иерусалиме всеобщем московском любимце Анатолии Якобсоне было, можно сказать, "двадцать два угодья" — и, прежде всего, он действительно был красив, в самом простом, изначальном, всем понятном смысле этого слова. А ведь уже из этого, если разобраться, очень многое вытекает: не может по-настоящему красивый человек быть ни жадным, ни трусливым, ни злым, ни лживым, ни двоедушным. Не может, не имеет права, да просто не получится, если бы и захотел — такова уж природа красоты (в отличие от заурядной смазливости).

...В него нельзя было не влюбиться с первого знакомства, с первого взгляда, с первого звука его прекрасного голоса — мужественного, нежного, доверительного... Такой был красивый, хороший человек, что влюблялись в него и продолжали любить совсем уже издали, заочно — право, даже рассказы и слухи о нем какие-то славные всегда были.

Ум у Толи Якобсона был простой и ясный: не склонный к изощренной казуистике, но в то же время устремленный к точному и недвусмысленному пониманию и употреблению любых, в том числе самых привычных и затертых, слов и выражений.

Вот так и уезжал из России Толя Якобсон, желая всех ободрить, даря книги и холодильники, смеясь все сильнее и сильнее — так что трудно было не заплакать от этого смеха. "Держись, родной!" — только и слышалось от него. А потом в редких, все более редких открытках — вначале: "мы еще увидимся на этой прекрасной земле", потом: "нет, нечего, видать, уже ждуть", а мне вот совсем уже навзрыд написал: "заклинаю, не уезжай, если хоть как-то сможешь остаться" а ведь не любил покойник пустых и жалких слов.

Бывало ему и хорошо за здешние пять лет, и очень плохо и одиноко, Перебирая рассказы общих друзей о последних днях, часах, телефонных звонках Толи, примеряя их по себе, вижу: его по-прежнему любили, и был он, когда в ударе, неотразим. И работалось тогда хорошо. Но видно, — и отсюда через пять лет, и издавека, — как безумно одинок бывал этот всеобщий любимец, "дитя успеха": вот уж для кого "успех" никогда не был критерием счастья. Да и что толку в запоздалых диагнозах: нету с нами Толи Якобсона, одного из немногих, кто был, как яркий цветок...

Толя Якобсон, вечный странник, в бесконечной поначалу юности — веселый, под конец — смертельно одинокий, жизнь не доживший, поля ее так и не перешедший, погибший посреди Святой Земли,

(Ю. Гастев : Красив да умен, — "Новый американец",
Нью-Йорк, 1984, 27 сент., № 240) .

Тетрадь 2 (1–12 августа 1974)

1.8. С Л. Чуковской, мною обожаемой, принимаю бой за "Август" (Солженицына — М. У.) : она — за, я — против.

3.8. Будь сдержан. В меру изумляйся чудесам. Они на каждом шагу. Тебе, неверующему, на каждом шагу – персты Божьи.

Не русский язык – моя часть, а я – часть русского языка.

4.8. Ужасное право: карать и миловать. Упаси Бог.

Воздаяние – великое слово. “Хаджи-Мурат”, гл. X1, перелом в человеке.

“Нервы поверх кожи”.

Если после того, что было, не уверовал, то не уверую, если сожгут, а потом воскресят.

Новорождение в смертных муках (9 месяцев!) ⁴⁾

Л. Чуковская не любит писем Пушкина и вообще его прозы. “Голая проза”. Ну и ну... (Зато “Август 1914”!)

5.8. Я нашел его (собаку Тома – М. У.) 6 июня 1970 г., точнее, он нашел меня.

Пушкин о службе – из 1-й гл. “Капитанской дочки”.

Для меня: От жизни не беги! (Сама уйдет.) За жизнью не гонись.

План работы

1. Поэтика “Двенадцати” Блока.

2. “Композиция”.

3. Книга избранных переводов.

4. Поэзия Б. Л. Пастернака.

6.8. Я хочу поднять тост за нашего прекрасного друга Игоря Авербуха. Он привез меня в Иерусалим. Он был и продолжает быть моим Вергилием в Иерусалиме и во всем Израиле. Он был моим поводырем, когда я был слеп. Теперь я прозрел и сто крат благодарен ему. Он ощущает землю Израиля каждой клеточкой своего тела. И он – подлинный аристократ из дивного города Одессы. За него был мой первый тост на святой земле. За него пью и сейчас.

Хорошо бы писать в среднем в год по книге. Думаю, вполне по-сильно.

9.8. Все предметы, вещи, объявившие мне войну насмерть, теперь полюбили меня. И природа. Думаю, никогда ничего не потеряется; а потеряется – черт с ним.

11.8. Я уж останусь задрипанным Якобсоном; но сын мой будет Александр Бар-Яков. Как звучит! (Сын Богоборца).

Мой жанр в поэзии (да и в прозе тоже) : предельно сжатая речь, стремящаяся к формулам, к афоризмам. Увы, не лирик.

Люблю Израиль. Намного ли больше люблю Россию? Да, мно-

го. Израиль люблю, как жизнь, т. е. не так уж сильно, Россию несравненно сильнее жизни. Там, там кости моих людей...

Наконец-то речь моя стала точна. Страхнул с себя все лишнее. И лишние слова.

Господи, неужели и это — сия купель? Страшно. Ах, ло нора (не страшно /иврит/)⁵⁾.

12.8. Эпизод с чемоданом ("пусть немец несет") (А. Солженицын "Архипелаг ГУЛаг"). Нечего валить на офицерскую школу, нечего валить на советскую власть. Вы по природе своей — танк, но очеловечиваетесь постепенно. Желаю дальнейших успехов на этом попроще.

А. А. Ахматова рассказывала мне. Исаич пришел и прочел свои стихи (она мне: "вирши"). Она: "Не кажется ли вам, что в поэзии должна быть какая-то тайна?" Он: "А не кажется ли вам, что в вашей поэзии чересчур много тайны?" Он ей: "Неужели вы любите Некрасова?" Она что-то вроде: "Вы, конечно, должны думать, что я не люблю Некрасова; это потому, что Вы, видимо, не очень читали Пушкина, Некрасова и меня". Она была в него влюблена за "Один день". Очарована его обликом. И любила до конца своего. Разговор о славе земной, о ее бремени. Он: "Выдержу".

Тетрадь 3 (14 августа — 5 сентября 1974)

14.8. После мельницы нервная реакция. Ослабел. Восстановиться. Непрерывно держать форму. Прогулки. Ходьба.

Многие интересны здесь. Целый ряд людей уважаю. Некоторых даже люблю. Но близкой души — ни единой. И вряд ли будет. Единственное близкое мне существо в Израиле — Том.

Гарик⁶⁾ — вот кто по-настоящему интересен и нужен мне. Но, думаю, не уедет из России, и освободившись. Силы небесные, только бы он выдержал срок.

Сегал и Ронен⁷⁾ — литературоведы. Я тоже. Здесь точки (поле) соприкосновения и взаимопонимания. Но они — литературоведы-лингвисты, а я — литературовед-литератор. И здесь мы чужие. Они будут говорить и писать (Омри не пишет десять лет, Дима пишет мало и трудно) на своем профессиональном жаргоне. А я буду говорить и писать (много писать!) на русском языке.

У литературоведов кастовое высокомерие по отношению к литературным критикам. Дети! Литературоведение претендует на констатацию неких объективных элементов, черт произведения.

Гаспаров (в письме к Диме Сегалу): “Хорошо, плохо — понятия вне науки”.

Критика дает эстетическую, т. е. по преимуществу субъективную оценку произведения. Критик хороший не может не понимать, не может не чувствовать литературы.

Литературовед очень даже может ни хрена не понимать и не чувствовать, но при этом “свершать открытия”. Лучший пример — Лотман, литературовед толковый, но ничего не смыслящий в литературе.

“Книга о русской рифме” Самойлова — сокрушительное доказательство того, насколько умный и талантливый литератор и в литературоведенье выше профессиональных литературоведов (и самого Романа Осиповича Якобсона).

Корней Иванович. Смолоду. М. Бахтин — не литератор, не критик, не литературовед, даже не историк и не философ литературы (хотя всего этого предостаточно у него); он — великий мыслитель.

У литературоведов-лингвистов учиться точности, строгости в обращении с текстом. Учиться методике (но не методологии!) анализа. А синтезировать они не умеют. Дима и Омри — ловцы реминисценций. Сегал — поболее. Эрудиция их для меня недоступна и недостижима. Ничего, перебежеся.

А кто же Андрюша Синявский? А он — только литературный критик, но не литературовед. Будем одновременно с ним писать о Пастернаке. Очень замечательно.

Сегаловский разбор “Грифельной оды” — классика.

Кто оценил сполна “Царственное слово”? Гелескул, Петровых, Чуковская, Самойлов, Бахтин. Кто не понял ни аза? Леня Пинский.

“Дар”, “Приглашение на казнь”, “Лолита”. Достаточно. Определенно не люблю Набокова.

Кафка “Процесс”.

1. Вне языка (нужды нет, что перевод; и Хемингуэя, и Белля читывал в переводах — а каков язык!)

2. Автор смотрит на сконструированные им ужасы с другой планеты. Марсианин. Думаю, не ведает ни добра, ни зла. Персонажи — не люди для него, а объекты эксперимента. В этом смысле Кафка в подметки не годится своему учителю Достоевскому.

Кафка — визионер и провидец — это да.

“Котлован” можно и должно сравнивать с “Процессом” — по заданию и по контрасту.

Платонов — антипод Кафки.

1. Язык — по концентрации и свободному пространству — не уступает высшим образцам поэзии (Мандельштаму, например). “Котлован” и надлежит разбирать как поэтическое произведение, разглядывая каждую фразу, каждое слово.

2. Любовь к людям и вместе бесконечная жалость к ним. И поразительное понимание людей в истории. Чиликин (рабочий-большевик) — партийный уполномоченный по коллективизации, функционер.

“Котлован” и фрагменты из “Великой криницы” Бабеля (“Колывушка”, “Гапа Гужва”). “Джан”, “Судьба человека”, “Чевенгур” — полуфабрикат, подступы к “Котловану”.

15.8. Платонов и Бабель. По дарованию, по-моему, оба одной высоты — оба гениальны. Булгаков — не гениален, не великий писатель, но писатель блистательный. Его обаяние неотразимо. Как артист, который, лишь только появился на сцене, — всех разом покорила. Один жест, одно движение лица — и все в его руках.

“Мастер и Маргарита” — талант, обаяние, ум — и темперамент, ненависть, кровь. Преинтересно: Гелескул не любит “Мастера и Маргариты”. Подумать об этом.

Платонов и Бабель — равногениальны, но по осуществлению, по самореализации Платонов выше. Бабеля раньше и более молодого убили. Платонов стал алкоголиком и умер в конце концов от чахотки, которой заразился от сына-подростка, посаженного по уголовному делу и отпущенного с Колымы (?) умирать домой. Отец ухаживал за ним и заразился: открытая форма туберкулеза. Работал Платонов дворником. Мария Сергеевна (Петровых) говорила, что не видела в жизни человека добрее и благороднее Платонова. Какой человек — такой и писатель.

Третье-четвертое место в русской прозе XX в. (Чехова отношению к XIX в.) делят Булгаков и Зощенко. Судят Зощенко обычно по его рассказам. Мало кто читал повести (“Коза”, “Аполлон и Тамара” и др.) Если бы Зощенко написал в своей жизни одну “Козу”, этого было бы достаточно для бессмертия. Зощенко по достоинству оценен Мандельштамом в “Четвертой прозе”.

Мандельштам про своего антипода Маяковского: первозданный

поэт. Так-то. Мандельштам разбирался в литературе, поэзии лучше мандельштамистов.

Мандельштам боготворил Пастернака. А Пастернак его при жизни в упор не видел. Вот смеху-то.

Мария Петровых не оценила Мандельштама как поэта только потому, что он за ней так энергично ухаживал, а она его — как мужчину — не воспринимала. Был у нее роман с Пастернаком в Чистополе. А потом насмерть полюбила Фадеева.

Пастернак сделал Ахматовой (видно, в конце 30-х годов) формальное предложение. Она рассмеялась.

Ахматова была влюблена в Блока. А он в это время волочился (думаю, успешно) за Ольгой Глебовой-Судейкиной.

Петербургская кукла, актрка, —

Ты один из моих двойников.

Князев — надо прочитать его единственную книгу стихов — застрелился, увидев Судейкину с Блоком на пороге дома. Анна Андреевна и в него была влюблена. Подруга Олечка регулярно отбивала у Ахматовой мужиков. А Ахматова обессмертила ее в “Поэме без героя”. Такая женщина!

Мужья Ахматовой: Гумилев, Шилейко, Н. Н. Пунин, Гаршин. Она была в эвакуации, в Ташкенте. Гаршин, врач в военном госпитале, сошелся с молоденькой медсестрой. Ахматова в “Поэме без героя” писала о Гаршине:

Ты не первый и не последний

Светлый слушатель темных бредней.

Узнав о его измене, переписала:

Ты не первый и не последний

Темный слушатель светлых бредней.

Не последний — это точно. Ее последняя — и самая страстная в жизни — любовь: Исайя Берлин. Роман начался (и тут же кончился, он вернулся в Британию), когда ей было примерно 56 лет. Она считала, что он — причина распятый 46 года.

За тебя я заплатила чистоганом,

Ровно десять лет ходила под наганом,

Ни налево, ни направо не глядела,

А за мной худая слава шелестела.

Вся поздняя лирика Ахматовой посвящена И. Б. Она увиделась с ним в Лондоне за год (?) до смерти. Что было за свидание? Что за разговор? Тайна. И останется тайной. Она любила

его до последней секунды... Писала о тайном браке с ним, о браке, скрытом и от людей, и от Бога.

Отношения между Ахматовой и Цветаевой. Между Цветаевой и Пастернаком. Какие сюжеты!

Раньше я смерти боялся, как большинство людей. Теперь не боюсь абсолютно. Умирать не хочу (жить — тоже не особенно). Проживу, сколько суждено, понимая, что смерть — не самое страшное, что может случиться с человеком в жизни. Умру, скорее всего, в Израиле. Предпочтительно в Иерусалиме. Но хоронить меня будет не Саша. И не другие мои дети, если — паче чаяния — они у меня будут. Составлю духовное завещание по всем правилам европейского искусства. Урну с моим пеплом переправят в Россию. И Юрий Всеволодович Белоусов зароет мой прах в русской земле. На еврейском кладбище в Вострякове. Рядом с моим отцом. Никто не любил меня в жизни так, как любил отец.

19.8. Так наз. литературоведы литературы не ведают (как лингвисты не ведают языка), ибо литературоведенье — не что иное, как побочный (и довольно дешевый) продукт литературы; а хорошая критика — часть литературы (когда же литературоведы суверенны — независимы от литературы, — получаются в лучшем случае лотманы).

Для Бахтина литературоведение только методика, а цель и смысл — мирозерцание.

Р. Якобсон, выступая как х о р о ш и й литературовед, также стремится понять жизнеотношение (Маяковского, например). И тут он больше критик, чем литературовед.

Единственная страна, где не умеют пить, наверное, Россия. Нельзя ощущать вкус спиртных напитков, поглощая их в таком количестве. Ю.Ф.К. захлеб давился армянским коньяком, запивая его жигулевским пивом.

Израиль — прекрасная чужбина.

Лев (Толстой) сверхъестественно, беспредельно гениален. Умен "до глупости". Интеллект — камнедробилка. Но главное — темперамент. Отсюда все крайности, нелепости и пр. Темперамент Достоевского тоже страшен, конечно, но другое, совсем другое: бесплотный темперамент. Темперамент Толстого — кровь, страсть. Старик написал "Хаджи-Мурата".

20.8. Ближе других мне будут здесь Гершович и Файнберг. Их друзья — мои друзья (там!)

Скучаю по маленькому Авербуху. С ним легко и интересно.

21.8. Бог. Сперва: нет; потом: может быть есть; теперь: "может быть" еще сильнее. Но верующим не стал и не стану.

22.8. Горнило. Геенна. 9 месяцев. Новорождение. Ясновидение (полнота духовной жизни) — страдание.

Полнота духовной жизни — страдание за всех. Полнота страдания.

Если евреи не отучатся говорить хором, не научатся говорить поочередно, т. е. слушать, т. е. уважать друг друга — их перебьют.

Лучшие слушатели — Гелескул и Бахтин. Аристократия.

Ударение. Тенденция. Разговорная стихия. Фиксированное ударение. Поэты ("антилингвисты") — хранение языка; лингвисты ("антипоэты") — безразличие к поруганию языка, т. е. к самому языку. Хамизация языка. Массовая культура. Хамская лингвистика. Остатки фольклора (деревня, Север), Серафима Никитина (лингвистка-поэт) — народное достояние, спасение погибающих сокровищ. Сколько погибло безвозвратно.

Не успеваю писать мысли. Не помогают скоропись, концентрация, сжатость. Устаю нервно. Не только мысль перегоняет слово (так должно быть), но мысль перегоняет мысль. Безумный в Кунцеве: "Я пишу столько-то поэм и столько-то стихов за ночь". Прервать дневник? Не думать? Как? Уж не сердцем ли жить? Это — до тла.

Лена Толстая: "Что тебе больше всего нравится в Израиле?"

Дима Сегал: "Я себе больше всего нравлюсь в Израиле".

Майке кажется, что Толстой — зол, безжалостен. Ко мне он добр. Добра сама материя его прозы (Гейне: "материя песни"). Добра, здорова и животворна, как ни у кого, кроме Пушкина.

Заснул днем чуточку. Сон. Впервые про Израиль. Страшный сон. Хуже яви. Было (во время депрессии): повторяющийся, неотвязный сон про Россию, что вот в последний момент не уезжаю, извернулся, переиграл; немислимая радость во сне ("я самый счастливый человек в мире") — и кошмар пробуждения.

Нервная слабость, неустойчивость. Вверх, вниз. На мельнице, бывало, работал по двое суток не спавши — не мог, не помогали сновторные. 9-го мая вышел из больницы, 10-го с Ишягу полуприполз на мельницу. К июню ожили мышцы, воскресло тело. В середине июля проснулся мозг (не прошло еще одного-полтора месяцев). Ишягу Авербух: новорождение в муках, спасение физическим трудом. Дневник.

И. А. — претворенная (сублимированная) телепатически, про-

видчески — гениальность (нереализованные задатки). Он боится своего дара, считает, что это — не от Бога. А это, хотя И. А. далеко не святой — от Бога. У него ничего нет от лукавого. Дар от Бога — недодаренный или передаренный. Откуда мне знать. Не земной дар.

В. Файнберг ближе к святости, но не так духовно одарен. Хотя тоже одарен.

Крыши университетские⁸⁾. Все балконы. Деревья. Футбольные ворота. Лопнувшая веревка. Завидовал больше всего мертвым, но также и парализованным, медленно разлагающимся полутрупам в дурдоме.

Ненасытность художнического любопытства, плотолюбие Бабеля — стопроцентное здоровье. Платонов наоборот: несравненные изображения больной, страдающей, голодной, чахлой, хилой, умирающей плоти.

Булгаков здоров как писатель. Зоценко — наоборот: постоянно занимался самолечением.

Комплексы — вообще примитивное явление духовной жизни. Комплексы примитивных так же примитивны, как и комплексы великих, Гоголя или Достоевского, например. Их комплексы придавали определенные формы их духовному содержанию, но не комплексами определялся масштаб, калибр этого содержания. Все великое и высокое — вне комплексов.

Аскетизм — передержки или издержки темперамента у Толстого. Его схема — усмирение собственной плоти, во всемогуществе своем держащей соперничать с самим духом.

Толстой — здоровая плоть и мятущийся — как бы независимо от плоти — дух. Чистая духовность. И чистая телесность. Гармония: здоровое страдание, здоровая боль.

Достоевский — больная плоть; дух, мятущийся в сугубой зависимости от больной плоти.

Темперамент Толстого — жизнь, кровь, страсть (неразб.)

Темперамент Достоевского огромен, но бесплотен. Видимость чистой духовности, на деле во многом — сублимация немощной плоти и озарения, откровения. Дисгармония: нездоровое страдание, больная боль.

23.8. Солженицын — самый бездарный и пошлый в отношении секса писатель (Костоглотов (в "Раковом корпусе"), "Август 1914-го").

А. А. Ахматова считала "Процесс" Кафки лучшей книгой XX века.

Тетрадь 4 (6 октября – 21 октября 1977)

10.11. Ахматова "О Пушкине", с. 53: "...наш необработанный язык" (письмо Баратынского к Вяземскому от 20 дек. 1829 года).

Так быстро обработать литературный можно было, конечно, благодаря обработанности разговорного, народного. Державинское косноязычие – когда сплошная "оборотная" сторона, а прорывы сквозь нее мощных поэтических выплесков – лицевая; литературное вообще было худо, а лучшее в нем было нелитературным.

Обработка языка шла по пути нарушения, разрушения канона литературного. Мера таланта была мерой дерзости языковой и тягой к просторечному слову.

Крылов. Новая литература строилась на постепенном разлитературивании языка.

Современный поэтический канон символизирует метафора. В современной поэзии метафора есть сверхприем, суперпризнак литературности, ее общая форма.

"Словечка в простоте не скажут, все с ужимкой". Учиться говорить без ужимок. Пастернак и Мандельштам – вершины метафорического письма – и его преодоление. Ахматова – сплошное преодоление. Бродский – его декаданс. Поначалу в ярко талантливом проявлении; чем дальше, тем больше в виде собственного упадка. По слабеющим следам Бродского, зверя сильного, идут шакалы, пожирающие его отбросы, отходы, затем извергающие их в виде собственного творчества (не такова ли вся ленинградская молодая плеяда? ...) И молодая Москва, небось, не чище. Стервятники).

Вознесенский – очевидная и злая карикатура на метафорическую школу. Кукла, механический болван и потому как бы не в счет, но в рамках названной поэтики представляет историко-литературный интерес. Идущие по его пятам – просто недоросли, "грамоте тихо знающие".

По следам Бродского идут снобы новой формации, гурманы, эстеты, словом, "интеллектуалы".

Берут от мэзоа сплошной вседозволяющий метафоризм, мод-

ный ложноклассический реквизит и, конечно, центропулизм: возведение своего — разумеется, страдающего и вместе опустошенного — “я” в лик и ось мироздания.

11.11. Преимущества раннего Пастернака перед поздним (если даже считать, что они не уравновешены обратными преимуществами) есть преимущества молодости и темперамента. Однако:

Нельзя не впасть к концу, как в ересь,

В неслыханную простоту.

— есть для русской поэзии общая ориентация, курс генеральный. (Особый вопрос — в чем эта простота сложнее метафорической сложности, в чем проще. Сравнить, конечно, сложности поэтик, а не поэзий).

Черты естественности той...

С начала XX века — символисты; метафоризация поэтического образа была его естественным выходом из долгой спячки, из затянувшегося, как летаргический сон, шаблонно-косного, мертвенного состояния. Метафоризм стал орудием оживления и обновления поэтического слова, застывшего в своих узких, первичных и привычных семантических пределах, как в ячейках сот (“дурно пахнут мертвые слова”). Метафора явилась видом энергии, способом гальванизации слова.

Но на сегодня, кажется, уже не меньший срок, чем 80—90 годы, длится власть не то, чтобы метафорического трафарета (хотя и так), но трафарета метафоричности.

Повальная иносказательность освобождает от прямого смысла и, в конечном счете, от смысла вообще. Как на абстрактной живописи закономерно спекулирует любой пачкун холста, так на панметафорическом стихописании — любой бумагомаратель. Положение таково, что верный талант не может пробиться в этой системе и атмосфере, а должен выбиться из нее.

Вершин гениально-содержательного, первооткрывательского и мирообъемлющего метафоризма достигли Пастернак и Мандельштам. Это пространство, видно, было исчерпано. И оба, оглянувшись каждый со своей вершины, обратились к иным — в другой системе координат лежащим — высотам, к новой (старой) топографии. Ахматова всегда шла этой тропой — прошлого и будущего. Мандельштам, в отличие от Пастернака, не делал заявлений на этот счет. Пастернак: “Буду писать, как сапожник”. Оба — Мандельштам и Пастернак — на переломе 30-х годов, а Мандельштам — на сломе жизни. Не после ли “Стихов о неизвестном сол-

дате" (указал мне Гриша Берман) намечается новая тенденция? По Г. Б., кончается "семантическая поэзия", то есть исчезает собственно метафорическая многозначность слова.

16.11. Признак подлинно-художественного образа — ощущение открытия, т. е. откровения, а можно сказать — чуда. Метафора — одна из форм реализации образа, ставшая — в силу своей монопольности — реакционной (как всякая монополярная форма, впадшая в застой и не дающая ходу другим формам; на этом пути возможность действительных открытий в русской поэзии сомнительна, это, кажется, уже не путь, а тупик) .

Ахматова всегда шла другим путем и завершила его "Поэмой без героя", большим поэтическим театром (в основе всего искусства игра, но только в театре и в исполнительском музыкальном искусстве вещь названа своим именем) .

Какого рода тайны и чудеса "Поэмы" (за вычетом неведомых затекстовых, биографически-бытийных, событийных реалий)? Как всегда у Ахматовой, это отнюдь не сложность семантико-метафорических ходов. Не иносказательность, а недосказательность (ср. Ахматова в "Каменном госте" о Пушкине: "Головокружительный лаконизм"). Сложность пересечения и совмещения различных пространственно-временных планов, сюжетных, исторических, лирических. Полифония. Соотнесенность голосов. Выделение собственно авторской партии в сплошном авторском голосоведении (подтвержденном монолитной ритмико-строфической структурой поэмы). Словом, лирический театр Ахматовой, может быть, сложнейший из всего, что находим в русской поэме XX века, есть театр прямого, а не переносного смысла слов. В этом отношении справедлива оговорка автора об отсутствии "третьих, седьмых и двадцать девярых смыслов" в поэме. Но только в этом (не считая цели автора — пресечения "нелепых толкований"). В поэме найдется и сто двадцать девятый смысл (не считая кривотолков). Но это — многосмысленность живого слова вообще, поэтического стократ, а гениально-поэтического — соответственно. А не многосмысленность иносказаний) .

21.11. Все трагическое искусство — крик рождением выброшенного в этот мир ребенка, испуганного этим миром до конца жизни.

Воинствующий характер трагической поэзии — преодоление, компенсация врожденной робости (по этимологии слова ро-

бость, робеть, буквально — становиться ребенком, впадать в детство).

30.11. (После цитаты из книги Германа Когена "Религия разума на основе иудейских источников — "Сион", 1977, № 21: ... "монотеизм — это подлинное утешение истории") :

"Утешенная история" — ср. гоголевское о Карамзине — "благоустроенная душа". Душеустройство, душеустройство. Историческое мироустройство. Так ли мало — три тысячи лет? В сравнении с чем — мало? Где мерка? И что устроили? Утешение — да. Но устройство души у людей разное, а потому — и понятие о ее благоустройстве (разное). В "Выбранных местах" (Гоголя) критерий патриархально-иерархический: Бог — небесный Государь, хозяин; любовь — т. е. ее суррогат — преклоняющийся восторг — направлена от человека к его хозяину. В "Религии разума" критерий социально-этический — любовь — направлена (подчеркнута направленность) от Бога к человеку.

Нище обожествляет в человеке то, что считается атрибутом божества — властную силу, абсолютную волю к ней; это вывернутый наизнанку монотеизм Бога с и л, но не любви; а может, эта изнанка и есть скрытое психологическое нутро, ядро религии, одна, во всяком случае, из ее фундаментальных подоплек. А стремление к равенству — к суррогату любви — есть мировая идея социализма. Бог — Сила и Любовь. Не противоречие ли — принцип аристократический (иерархия сил) и демократический (равенство перед Богом) ?

11.12. (После цитаты из книги В. Жаботинского "Пятеро" об обаятельности "эпох распада", но и о желании Жаботинского жить без соседей, всех людей разместить по островам) :

И я — в отличие от могучего автора этих слов — не только не способный, но и не желающий выйти из распада (даже путем чуда не согласившийся бы выйти из него, из с е б я), говорю: да, без соседей; да, на островах. Иначе не могут народы. Без соседей по квартире, по дому. Израилю — судьба Португалии. Тихая, невидная оконечность полуострова и — Европы. Пока это невозможно политически, а политика обусловлена географически. Но это, думаю, единственное решение умораздирающего еврейского вопроса. Решение это — в его снятии. Его необходимо закрыть. Объективных предпосылок для этого пока не видать, а потому идея отдаёт фантастикой, — но меньшей ли фантастикой казался Израиль? Как страшно подумать! — должны сложиться

объективные обстоятельства в диаспоре, чтобы евреям захотелось пожаловать домой, чтобы ими овладело это субъективное устремление. Ясно, какой не зависящий ни от чего постороннего и даже вопреки ему, а также вопреки эпохальным традициям — должен совершиться для этого субъективно-племенной перелом в еврейском сознании. Это отказ от мировой роли, от мессианства. Ограничиться своим островом, в этом смысле похоронив гордыню, основанную на былом историческом величии, будь то преподнесенные миру монотеизм и социальная этика (закон; пророки), будь то все завоевания ума и безумия, добра и зла, добытые евреями в истории рассеяния — внутри и для других народов. Португалия отгрохала в свое время свои великие географические открытия — и погрузилась в более или менее благополучное провинциально-ограниченное существование, не разрывая, естественно, связей, культурных и иных, с миром, но ни на что особенное, при этом, столь же естественно, не претендуя — ни на какую мировую исключительность. И нам бы когда-нибудь эдак устроиться! Для этого не надо, чтобы мы были не лучше даже других, — мы и так, ей Богу, не лучше. А пока желательно, чтобы идеологи еврейства — идеологи не от богословия (тем на роду написано судить иначе), а от политики и вообще от светской общественной мысли идеологи — скажем так, посдержаннее ораторствовали о провиденциальной исключительности, богоизбранности авраамова семени. Сегодня фалафельщик с улицы Яффо об этой самой избранности своей и так, возможно, задумывается нечасто, а ешиботник из Меа Шеарим о ней, натурально, никогда не забывает; но дело решает не это, а то, как осмыслит, как ощутит свое место в мире, если живы будем, через икс поколений некий средний, типичный израильтянин. Еврей, еще не сварившийся пока в нашем генетическом чугушке, но на глазах варящийся и получивший уже некоторые, определенные черты. Эти черты удручают взор еврея-европейца, человека распада, своим марокканско-американским или, на другой манер, касриловско-американским же стандартом, беспощадно обнаженной посредственностью. Но именно этой посредственностью, только становящейся покуда, но, сдается, уже запрограммированной биологически заурядностью, должны бы радовать глаз упомянутые черты. Я бы хотел, чтобы когда варево поспеет, мы — новонародное тело — оказались не хуже других, крепко уповая на то, что быть лучше нам не угрожает. Вспомним, что слово “посредственность” происходит от

с е р е д и н ы, “заурядность” — от р я д а; так вот: чтобы не были по отношению к другим народам — из ряду вон, чтобы — в ряду, в середине (ну, конечно же, и самая посредственность на свой образец, а иначе — вся затея не вышла, не выкипела, из кусков древнееврейского племени не сварилась нация, и вопрос наш иным, горьким образом закрыт).

Желаю Израилю не исторического прозябания, а исторического процветания. Однако, для такого цветения, как известно, необходима культурная почва, а у нас ее нет (есть подпочва — библейская — что много, но для формирования современной нации — недостаточно).

У других народов такую почву составляет непрерывность культурно-исторических (далеко не только религиозных!) традиций. А наш разрыв — сколько разрывов — не преодолеть высокомерной оглядкой на ветхозаветное величие и ссылкой на все новейшие и прочие успехи — включая само новорождение Израиля. Новорожденному младенцу даже самая древняя кровь не дает оснований заноситься перед взрослыми; он должен собственными (а не далеких предков) ногами пройти все трудные возрастные ступени, не слишком задирая нос кверху, а оглядываясь все себе под ноги, т. е. с некоторым смирением. Последнему скромному качеству и следует поучиться ему, еще неведомому, в сущности, отпрыску одного жестоковыйного рода. Такой путь я и называю “португальским” вариантом. Речь, стало быть, о старте, о направлении — в смысле определенной нравственной ориентации — а не о финише, который никому не известен. Поменьше — с первых шагов! — думать, кто куда первым прискачет и кто кого за собой приведет. Научимся сперва ходить. А заодно прикинем, нужна ли вообще, полезна ли нам слишком резвая в отношении всяческих приоритетов и притязаний прыть. Бьют не только отставших, но и зарвавшихся. На поле, где игра национальных самолюбий и честолюбий, бьют, в конце концов, не столько отставших по этой части, сколько зарвавшихся. Невредно порой поумерить амбиции.

Израиль — восстановление еврейской государственности и создание независимого еврейского общества — это необходимые и, надо полагать, достаточные предпосылки решения национального вопроса — проблемы народообразования, — но это еще не есть самое решение названной проблемы.

“Португальский” этап в принципе может наступить только после нынешнего, “героического” (см. Ю. Марголин “Несобранное”,

(Тель-Авив, 1975) с. 16: "Здесь люди готовы умирать за свободу и за то, что считают своим неотъемлемым правом. И не потому, что они лучше и моральнее других. Здесь просто нет другого выхода. Не люди, а сама ситуация приводит к героическому самоутверждению" — если когда-нибудь кончится "героический"; это тоже, кажется, нам не вдруг угрожает, но он исподволь вырывается внутри последнего, являя наружу свои главным образом неприглядные ("антигероические", "мещанские") черты. Сегодня помощь, питание, со стороны богатых родственников мира сего (еврейства Штатов, в первую голову) вызвано "героической ситуацией" и жизненно необходимо; но вместе это работает объективно на самое худшее, что в будущем может окрасить наш "португализм": братская эта помощь формирует (опосредованно — через сложившуюся на ее базе паразитарную экономику, в чем виновата, видимо, не самая поддержка, а распоряжение ее средствами, то есть экономическая политика поддерживаемых, нас) — да, формирует уже социальный тип надменного нахлебника, который (мне положено!) укоренившись, может стать традиционным социально-культурным, в данном случае — принципиально антикультурным — типом. Это наши накладные — на боевой героизм — расходы, это явление, по сути своей противоположное духу трудового героизма основателей и строителей страны. От того, восторжествует в психологии масс, в национальном характере, в культуре — нрав избалованного до капризов и прихотей "бедного" родственника или заложенный в самом основании Израиля характер труженика и борца (не только бойца!) — зависит наше будущее: нравственно-культурный облик формирующейся нации. В эту, решающую, альтернативу ее важной составной частью, а вернее — всепроникающим, всеокрашивающим ее элементом входит и особая дилемма: национальное чванство и непомерные претензии — либо трезвое ("португальское") чувство меры, ощущение своих границ, своего места на земле.

"Народ — живая связь поколений". (Ю. Марголин "Несобранное", с. 163)

13.12. Поэт — это тот, кто считает, что дерево или собака (по Гумилеву) прекраснее любого произведения, которое посвящено им.

Стандартный критик (по Чернышевскому) — это тот, кто в том же духе рассуждает на ту же тему.

Идеальный читатель — тот, кто не смешивает эти вещи.

Дура звонко-льдистая: если мороженой щукой ударить об стол — произойдет ее, ...звук.

20.12. Мне бы мимо Господа Бога как-нибудь сторонкой пройти. Я Его не знаю, не ведаю — и Ему бы, благодетелю, про меня забыть: не казнить, не жаловать. Он сам по себе, я сам по себе. Так бы всего душевнее.

22.12. Искусство есть жизнь потому, что оно есть форма п о з н а н и я жизни — и, следовательно, оно есть ее обогащение, рост, значит, оно органически входит в ее состав.

В какие-то периоды я вдруг веду дневник. Никак не могу не вести. Потому что он сам меня ведет. Потому что не я ищу мысли и слова, а они меня ищут. Всегда бы так! Порой даже верится в такое чудо.

Тетрадь 5 (27 декабря — 16 августа 1978)

27.12.77 Вчера передал стихотворение Мицкевича Фромеру⁹⁾. Жду подстрочника.

4.1.78 Думаю так: хотя достойное отношение к животным еще не доказывает высокой породы человека, но худое отношение к ним (отчужденность, безразличие, страх) всегда наводит на грустное размышление относительно породы данного субъекта и целых категорий лиц.

Интересно, справедливо ли в какой-то мере наблюдение, что религиозные натуры (т. е. не просто верующие) есть чаще всего натуры антихудожественные; да, что-то в этом есть.

9.1. (...) Дело в том, что я жизнь не люблю; это нуждается в разъяснении. Жизни только с в о е й не люблю (и не любил отродясь), а жизнь как таковую — мировую, всеобщую (биологическую там и проч.) я всегда уважал и — в общем-то любил.

10.1 Фима Вольф: смысл жизни — познание и создание; цель — наслаждение смыслом.

У евреев есть историческое право.

1300 лет существуют арабы. 350 — американцы.

Садат не сказал о праве евреев на эту землю; Бегин о праве арабов сказал.

21.1. "Мир не делится на разум без остатка" (Марголин "Диамат")

23.1. Привели дети щенка. Подбитая (надеюсь, что не сломан-

ная) левая задняя. Истощен. Черен с проседью. По виду — смесь чертенка с обезьянёнком. Судя по причиндалы, очень маленький. Несомненно умен. Задняя левая куда хуже была в свое время у Тома. Вряд ли кто возьмет. Ничего, выживем.

14.2. Люди, естественно себя ведущие, выступают в довольно редкой роли — в роли самих себя.

В отношении всякого мастерства человек своего в е р х а знать не должен и, в конечном счете, не может. Но должен знать свой н и з: уровень, ниже которого не должно опускаться его ремесло, т. е. не может опуститься он сам, не роняя себя.

22.2. Амир (ребенок) по поводу басни “Стрекоза и муравей”:
“Муравей был плохой”.

26.2. 22—24 часа. Полиция объявила о пропаже двух мальчиков — Йоси и Рами, 8-ми и 12-ти лет — из соседнего, 15-го дома. Через некоторое время, гуляя с псами, видели ищейку на длинной веревке. Видно, шла по следу. За собаководом — еще человек 5—6. Попросили убрать собак. Силы небесные, если бы что-нибудь помогло найти детей! Живых.

27.2. Утром мы узнали, что дети найдены. Рами был наказан в школе и прятался от отца.

28.2. Люди разделили людей на разные группы. И разделение это (в общем) верное. Племена, классы, партии, сословия, касты. Но, может быть, главное — естественное — разделение людей, это: на тех, кому безразлично (так хочется жить!), как (за что, почему) умереть, — и тех, кому не безразлично. Самоубийство (нежелание жить) — несколько особый случай. (Конечно, образ смерти вытекает из образа жизни, — но не прямолинейно).

29.2. На основании археологии (недавней, вроде бы) известно, что Ур Халдейский 4 тысячи лет назад (выход Авраама) являл собою высоко развитую цивилизацию. Многоэтажные здания, ватерклозеты и т. п. Торговля с очагом цивилизации в долине Инда. Видимо, и с Египтом (еще додинастическим). Таблички. Извлекали корни квадратные, кубические и проч.

Авраам вынес одно: идею монотеизма. И стал родоначальником пастушеского племени.

28.3. Я: — Вот ты, Глеб, когда-нибудь умрешь; все мы умрем...

Лена: — Брось ты эти шуточки...

Я: — А что? И ты ведь умрешь.

Лена: — Ну, это я как-нибудь переживу!

Вас. Вас. Королев любил говорить: Лучше быть один раз трусом, чем всю жизнь покойником. Какое поругание логики! Наоборот: умираешь один раз, а трусом остаешься на всю жизнь. См. конец X1 главы "Хаджи-Мурата".

"Ищут пожарные, ищет милиция... ищут везде и не могут найти"¹⁰ — потрясло в детстве и сейчас. Русский характер. Искали, к несчастью, не тех и, уж конечно, находили. Разработать сюжет очерка о русском и русско-советском в хорошем смысле характере.

Смысл (полный) слов Г. Владимова: "Серые начинают и выигрывают" — вплоть до физической смерти противника и только; это еще не окончательная победа; окончательно (см. Владимов же: "чувство истории") не выигрывают вообще. Что есть конец? Эндшпиль? В шахматах — да; в жизни — еще не конец: чувство истории — Марголин.

Католич. церковь: нет спасения вне церкви.

Талмуд: у праведников народов мира есть доля в загробном мире.

Отмечу, что благородно-демократическая традиция в иудаизме, безусловно, фундаментальна: "люби труд и ненавидь богатство" (Талмуд, Поучения отцов, гл. 1, 10)

Тут Марголин отсылает нас к знаменитым словам Гилеля: "Там, где нет людей, постарайся быть человеком" (Талмуд, Поучения отцов, гл. 2, 5).

Анатолий Якобсон. Родился в 1935 году в Москве. Филолог и литератор. Известен как участник правозащитного движения в России с начала 1966 г. С 1973 г. — в Израиле. Работает в Иерусалимском университете.

3.4. Живая, мертвая речь (как живая и мертвая вода). Вот главный словоразличитель, словораздел.

Я: "Сексуальный бандит".

Л. перевел для себя произвольно, спонтанно: "Сексуальный маньяк". Перевод живой речи на мертвую.

6.4. Если чувствуешь, что у тебя мания, так сказать, антидепрессия — выжать из нее все, что можно!

12.4. Майка: "Единственное оправдание Бога в том, что Его нет". (Это не атеизм; атеисты не считают нужным Его оправдывать, т. е. размышлять о нем, о Его бытии).

Со слов Марьи (Розановой) (здесь, у нас, в Иерусалиме) Л. Чу-

ковская (в связи, кажется, с Марамзиным) : “Еще от Синявского не отмылись”.

13.4. Л. Толстой (темперамент, крайности) .

1). Биологический дуализм — плоть-дух. Аскеза — крайнее (как во всем, всегда) насилие над плотью, ее подавление во имя духа — чтобы не вышло наоборот.

2). Природный (экологический, антииндустриальный инстинкт.

3). Гуманистический инстинкт (во многом — вопреки “зверности”, жесткости собственной природы), предчувствие небывалой эпохи (эскалации насилия. NB: предчувствие грядущего фашизма-коммунизма у Герцена, Толстого, Достоевского) .

21.4. Мамино: жалко умирать...

1.5. Талант Маяковского, м. быть, весь в интонациях, напр. (цикл “Америка”) : “Даст он, черта с два” — и т. д. — то есть: опять же д е т с к о е — и только, и все.

“Душа в заветной лире мой прах переживет”. Где здесь традиция? Где сам Пушкин? Сравнить с другими “Памятниками”. Вот пушкинское — материалистическое, видите ли — понимание бессмертия. Вот как.

Может, самое страшное в смерти — неизвестность: что п о т о м? Очень надеюсь, что н и ч е г о нет, н и ч т о. Сильнее, чем жажда полноты бытия, может быть только жажда полноты небытия, покоя.

15.5. Что такое конечность вселенной с точки зрения современной физики?

“Насмешка над безумием жизни начинается с насмешки над самим собой” (У. Чеймберс)

“Жизнь страшна, безумна и бездонна” (Блок) . Последнее всего страшной людям. Это невыносимо, им нужно дно (либо крыша) — это и есть боженька.

“Ни дна тебе, ни покрывки” — проклятие.

10.6. На поверхностный — хоть и верный — взгляд страдания либо облагораживают человека, либо, напротив, уродуют его. Более глубокая точка зрения состоит в том, что страдания резко выявляют, подчеркивают то, что есть в человеке, что заложено в нем природой, обнажая благородное или безобразное начало. Путь страданий — путь поляризации личностей (яркий пример тому — теща). А бывает ли так, что страдания утрируют все лучшее и все худшее в одном человеке — одновременно? Вряд ли. Утри-

рованное добро — добро ли это? А уж утрированное зло — точно зло.

28.6. Койка — покой — покойник. От-дых. Отдышался окончательно, отмаялся, отмучился.

Подлинная полнота — полнота небытия. Нет ничего страшнее мысли о загробном инобытии. Ужас, если н е в ничто, н е в никуда, н е в никогда.

Борис Чичибабин

Сними с меня усталость, Матерь-Смерть.
Я не прошу награды за работу.
Но ниспошли остуду и дремоту
На мое тело, длинное, как жердь.

На лоб и грудь дохни своим ледком,
Дай отдохнуть — светло и беспробудно.
Я так устал — мне сроду было трудно
То, что другим привычно и легко.

Мне книгу зла читать неважно,
А книга блага вся перелисталась.
О, Матерь-Смерть, сними с меня усталость:
Покрой рядом худую наготу.

Я верил в дух, неистов и упрям,
Я Бога звал — и видел ад воочью.
И бьется тело в судорогах ночью
И кровь из носу хлещет по утрам.

Я так устал. Мне стало все равно.
Ко мне всего на три часа из суток
Приходит сон, томителен и чуток,
И в сон желанье смерти вселено.

Одним стихам вовек не потускнеть...
Да сколько их останется, однако.
Я так устал, как раб или собака.
Сними с меня усталость, матерь-Смерть.

1965

1.7. Коммуникации, контакты людские. Исаак рассказал, что кембриджские девочки ездили в экскурсию в Москву — так вот, их поразило, что бабки, сидящие с детьми на бульварах, разговаривают между собой; а у них — не разговаривают.

Исаак намекает: “Впереди Иисус Христос” — свет с Востока,

дескать. Я сам писал в "Конце трагедии", что эти слова означают веру в Россию, которая и .посейчас не у всех иссякла. Но вера — она и есть вера; и только. А какво неверующим душам? А как в Китае или Уганде — разговаривают бабушки или нет? А, с другой стороны, во Франции или в Германии? Или в Штатах? Неужели род людской столь же низменен, сколько неизменен? Человек — гордое звучанье! — ошибка эволюции (Кестлер), жалкое недоживотное... Что делать? Или: чего не делать?

6.7

А этот летний месяцочек
Вступил под левый под сосочек.
Башка от лютого хамсина
Растрескалась, как древесина.
Мозг плавится. Иного ада
Нам, грешникам, уже не надо.

10.7. Видел телепередачу — американский кукольный театр "Куклы с улицы Сюрпризов". Великолепно. Куклы и еще мульт, т. е. гротеск, — вот что осталось нам в современном искусстве. Вот, что уцелело, избежало распада. И еще: это то, что адресовано детям, что интересно им. Видел мульт — "Фантазию" Диснея. Куклы и мульт — звери, добрые чудища. В противоположность, например, "Рома" Феллини — люди-чудовища, монстры, схваченные глазом супермонстра, слишком человеческим — при справедливости того, что человек — недоживотное, т. е. уже нечеловеческим, бесчеловечным глазом современного антиискусства.

30.7. Шофер Эгеда, не впусивший в пустой автобус (конечная 25-го) двух арабов — бедного, деревенского вида, с узлами, старика и женщину.

Временами думается — и чем дальше, тем чаще — что Израиль для меня имеет смысл только негативный: это антиосвенцизм, отрицание, невозможность Освенцима — и все. А положительное — духовное — содержание жизни народа для меня не более важно и значительно и, весьма возможно, менее благородно, чем бытие народа, скажем, португальского или бельгийского, чтобы не сказать — люксембургского. Принадлежность моя к этому племени — на уровне субъективного осознания — состоит в том и только в том, что какой-нибудь португальский хам и скот не вызвал бы у меня в аналогичной ситуации т а к о г о гнева и т а к о г о стыда. А стыдятся — всегда за себя.

Сколько взорванных террористами бомб на совести арабских лидеров-убийц — это можно вообразить. Но за сколько взрывов и смертей ответственны эти чугунно-фалафельные морды, на каждом шагу торчащие и сеющие ненависть, — вот вопрос (...).

31.7. Могу заниматься религиозной пропагандой:

Тот, кто в Бога не верит,
Тот не пьян и не сыт,
Хорошо не посерит
И легко не посыт.

10.8. Очень жалко, что у меня нет души, а то бы я вынул ее, как зубы, и положил в воду, и у меня бы ничего не болело. Почему это ничто так болит?

16.8. Ольга Ивинская в "В плену у времени", стр. 189, цитирует Цветаеву: "Самоубийство есть "трусость души, превращающаяся в героизм тела. Героизм души — жить, героизм тела — умереть". Откуда это?

Там же, стр. 179 (из письма Пастернака) :

"...его сводный брат, о котором он только знает понаслышке и всю жизнь считает своим заклятым врагом, приведет в порядок бумаги покойного..."

Там же, стр. 209 (из письма С. Д. Спасского к Пастернаку о романе): "Заколдованный перекресток" (ср. "Судьбы скрепченья")¹¹).

ПРИМЕЧАНИЯ

1. О первой депрессии.

2. А. Якобсон считал, что из депрессии он вышел, работая грузчиком на мельнице, куда его устроил И. Авербух.

3. Из собственных стихов А. Якобсона 60-х годов.

4. Снова — о первой депрессии.

5. Речь идет о том, что впереди еще предстоят депрессивные состояния.

6. Г. Суперфин. В это время находился в лагере.

7. Дмитрий Сегал и Омри Ронен возглавляли, в то время — оба, теперь — один Сегал, Центр исследований славянских языков и литератур Иерусалимского университета, где работал А. Якобсон.

8. "Крыши университетские. Все балконы..." — то, что во время депрессии манило покончить с собой. "Лопнувшая веревка" — об одной из таких попыток, после которой пришлось лечь в больницу.

9. А. Якобсон перевел стихотворение А. Мицкевича "К русским друзьям" с помощью подстрочника, сделанного В. Фромером. Об истории создания стихотворения и о переводе его А. Якобсоном см. статью В. Фромера в "Континенте", 1984, № 41.

10. "Ищут пожарные, ищет милиция" — стихотворение С. Маршака.

11. Запись сделана во время последней, оказавшейся гибельной, депрессии.

Владимир Фромер

"Он между нами жил"

(К десятой годовщине смерти Анатолия Якобсона)

Я не знал Анатолия Якобсона в его звездные часы, в расцвете жизненных сил, в те почти четыре полновесных десятилетия, отпущенных ему в России. Мне довелось близко общаться с ним в пять последних, горестных и печальных лет его "овидиевой" жизни в Израиле. Оговорюсь сразу, не Израиль повинен в трагическом финале его судьбы. Эту страну он по-своему любил, чувствовал свою генетическую, что ли, связь с ней. Не раз говорил, что если вне России, — а это для него означало вне жизни — то только в Израиле он может существовать и даже работать. "На Западе я не прожил бы и месяца", — сказал как-то Толя, и его единственная поездка в Париж показала, что он был прав.

Он был воспитан на русской литературе, любил ее неистово, до полного самозабвения. Весь строй его души был сформирован ею. Но культура для него была не абстрактным понятием, а тем, чем является для растений чернозем, пропитанный влагой и питательными солями. Она включала всю окружающую среду, и вырванный из нее, утративший точку опоры, он шел уже не прежней твердой походкой, а прерывистой и неровной, как Агасфер, гонимый непреодолимой силой. Не случайно, конечно, роковая болезнь атаковала его сразу после отъезда из России. В том повинен ненавидимый им всю жизнь режим, вытолкнувший его из единственно возможной для него среды...

На первый взгляд может показаться, что он не так уж много сделал за 43 года своей жизни. Все написанное им составит два тома. Книга "Конец трагедии", несколько литературоведческих работ, эссе, переводы. Вот, пожалуй, и все. Но разве количеством написанного измеряется воздействие настоящей личности, которой предначертано примером своей жизни увлечь других? Сократ, Христос, Магомет вообще не написали ни одной строчки.

А. Якобсон был лучшим, ярчайшим представителем своего поколения, блистательного и несчастного, первым осмелившимся на открытую борьбу с режимом после глухой ночи, длившейся долгие годы. Он всегда и при всех обстоятельствах был человеком абсолютно внутренне свободным, и этого не могли ли не ощущать все, кто с ним соприкасался.

Да и литературное его наследие весьма весомо. Книге "Конец трагедии" суждена долгая жизнь. Это — книга о судьбе русской интеллигенции, о невиданной по масштабам трагедии, постигшей русскую культуру. И одновременно — это одна из лучших чисто литературоведческих работ о Блоке. Филология и писательство? Да, но слитые в прочнейший сплав, который редко кому удавался до него.

Шаг за шагом проследил Яковсон последствия безумной катастрофы, обрушившейся на Россию. Он показал, что с концом человеческой трагедии Блока полной безысходностью завершилась и духовная трагедия русской интеллигенции. Кто только ни призывал ее отречься от себя? Гоголь — во имя монашеской кельи, Толстой — ради опрощения, Бакунин — для революции, Достоевский — во имя смирения, Соловьев — во имя Премудрости Божьей, Солженицын — ради раскаяния. Русская интеллигенция отреклась от себя во имя равенства. Ей казалось, что стремление к равенству создает исполинских людей и титаническое искусство. Но люди превратились в адскую челядь, а искусство в словоблудие. И наступил конец трагедии. И все же книга Яковсона не оставляет впечатления безвыходности. Надежда для него и для нас, замороженных словесной магией и неотражимостью логических построений автора, кроется в предсмертных словах Блока: "Мы умираем, а искусство остается. Его конечные цели нам неизвестны и не могут быть известны. Оно единственно и нераздельно".

* * *

"Конец трагедии" я прочел в 1973 году, вскоре после выхода книги в издательстве имени Чехова. Слушал я тогда курс университетских лекций по теории литературы у Омри Ронена. Маленький, рыжий, похожий на Азазело, обаятельный Омри как-то сказал: "Яковсон приезжает в Израиль. Мы с Димой (Сегалом) уже добились его зачисления в академический штат нашего факультета". Я удивился и обрадовался. И тут же спросил: "А как тебе его книга?" "Литературоведческая часть безупречна", — ответил Омри.

А потом грянула война Судного дня. Две с половиной недели длились военные действия, но полгода еще Израиль и Египет, как два ковбоя, уже вложившие в кобуру пистолеты, зорко следили друг за другом, опасаясь пропустить зловещий блеск в глазах противника.

Первый отпуск мне удалось получить лишь весной 1974 года. Приехав в Иерусалим, уже не помню где, кажется у Сегала, встретился с Омри Роненом. От него узнал, что Яковсон приехал, живет в центре абсорбции. И вот мы поднимаемся по крутой лестнице. Я волнуюсь. Для меня Яковсон был уже не только автором замечательной книги, но и одним из творцов легендарной "Хроники". Человеком достойного подражания мужества.

Открыла Майя. Познакомились. Толя вошел через несколько минут и сел в кресло. Темные аккуратно зачесанные назад волосы. Тяжелые, усталые губы. Неправильные, броские черты лица. Но нет блеска в глазах, и веет от него холодной угрюмостью. Посидели полчаса. Майя расспрашивала о войне. Я отвечал. Толя не произнес ни одного слова. Уходя, я поду-

мал, что он просто замкнутый человек, который не терпит контактов с людьми с улицы.

Прошло три месяца. Я демобилизовался и шел, уже не помню куда, по одной из центральных улиц. Был вечер. Закатное небо зажигало крохотные малиновые искорки на матовой скорлупе еще не светящихся фонарей. Вдруг ко мне, как сорвавшись с привязи медведь, бросился какой-то человек и схватил за руку. Уходящее солнце било в глаза, и я не сразу разглядел его лицо. "Ты — тот самый солдат, который приходил ко мне и рассказывал о войне", — сказал он, и я сразу узнал его. "Я тогда был болен. Не мог говорить. Но я все помню. А теперь я совсем здоров. Смотри". И, чтобы продемонстрировать свое здоровье, он тут же попытался поднять за рессоры одну из стоящих у обочины машин. Через пять минут я чувствовал себя так, словно мы были знакомы всю жизнь. Почти до рассвета пробродили мы по узким, кривым иерусалимским улицам, размахивая руками и перебивая друг друга. И почему-то значительной и важной кажется мне эта наша встреча, хотя и не упомяну уже, о чем мы тогда говорили. Может быть потому, что в тот вечер почувствовал я в нем человека огромного дарования, любящего и страдающего.

Потом он приходил чуть не каждый день. Дверь у нас обычно не запиралась, и он сразу врвался в комнату, заполнял ее собой, огромный, грузный, и одновременно изящный и быстрый, как кавалер Глюк. К радости моего сына Амира, пушистым белым шаром вкатывался вслед за ним пес "Том с хвостом", всюду сопровождавший тогда хозяина.

Осваиваясь, Толя ни минуты не сидел спокойно. Подходил к полке, снимал какую-то книгу. Читал. О чем-то рассказывал роковым громким голосом, одновременно разыгрывал со мной партию в шахматы. Наконец, надолго устраивался в своем любимом кресле, как путник, дождавшийся желанного отдыха.

Чувство юмора, без которого не существует полноценного человека, было у него развито в высшей степени. Хвастался, что в какой-то компании ему когда-то удалось перешутить знаменитого московского остролова Зяму Паперного. Любил острое словцо, хорошую шутку, солений, но не скабрезный анекдот. Его шутки часто носили характер стихотворных экспромтов. Он даже изобрел новый жанр — двустиише, в котором первая строка русская, а вторая ивритская. Как-то выдал, печально глядя на пустой фиал за накрытым столом: "Глаза косит, нигмера косит" — т. е., "опустела рюмка". Был он добрым, тонко чувствовал чужую боль, чужое страдание. Но никогда не был добреньким, таким всепрощающим "христосиком". Мог и вспылить, и нагрубить, и проявить бестактность. Но сам же страдал от этого и мирился потом бурно, радостно. Любил делать друзьям разные мелкие подарки. Ему нравился сам процесс дарения, приятно было доставлять людям радость. У меня висит подаренный им, неизвестно кем сделанный портретный силуэт Ахматовой. Ее медальный горбоносый профиль четко вырисовывается на фоне Невы и Петропавловской крепости.

К детям и женщинам относился бережно, с рыцарским бескорытием. Они это чувствовали и одаривали его преданностью и привязанностью.

Как-то я пересказал своему пятилетнему сыну Амиру басню "Стрекоза и муравей". Выслушав ее, он спросил: "Папа, а правда, муравей был пло-

хой?" Толя, узнав про это, сказал: "Как сильно развито в детях чувство справедливости! Как жаль, что у большинства из них оно проходит, когда они вырастают".

Пил он много. Но в его пристрастии к алкоголю не было ничего патологического. И в последние годы в России, когда он ходил по лезвию, и здесь, в Израиле, выпивка взбадривала его, помогала держаться. На самом же деле в опьянении ценил он застолье. Как-то сказал: "Сколько я встречал людей угрюмых, неразговорчивых, которые, выпив рюмку-другую, превращались из побутильников в прекрасных собеседников". Не помню уже точно его слов, но за смысл ручаюсь.

Как-то пришел очень довольный: "Слушай, Фромер, нашел я такую забегаловку, такой колорит! Там собираются настоящие иерусалимские алкаши. Айда!" И мы отправились. Забегаловка эта, расположенная напротив рынка Махане Иегуда, являла собой маленькое, узкое, как туннель, помещение, в котором рядом с дурно пахнущим прилавком с трудом была втиснута скамья. На ней, прижавшись друг к другу, как пингвины на айсберге, сидели человек семь. Были там старики со слезящимися глазами и типы с такими физиономиями, словно каждый из них поджег сиротский приют или, по крайней мере, ограбил нищую старуху. "Нафтали!" — приветствовала эта братия Толю, подняв стаканы с араком. Он втиснулся сам, втиснул меня и беседовал с ними на своем ужасном иврите с такой непринужденностью, словно находился на собрании в Пен-клубе, членом которого, кстати, состоял. Когда мы выходили, я спросил: "А у вас в Москве есть такие кабаки?" "Там все такие", — ответил Толя со сдержанной гордостью.

После его смерти, гонимый ностальгией, я посещал несколько раз эту забегаловку. А потом ее закрыли.

Меня всегда ужасало количество его знакомых, просто невероятное. Володя Гершович совсем недавно сказал мне, что до сих пор он встречает десятки людей, знавших Толю и сохранивших о нем благодарную память, хотя общались они с ним, может, раз или два в жизни.

* * *

"Толя, — сказал я как-то, — хочешь свежий литературный анекдот?" "Валяй", — оживился он. "Два интеллигента входят в московский книжный магазин. Первый спрашивает: "Может ли один человек нажать себе брюшко на дистрофии другого?" "Ты о чем?" — удивляется второй. "А вот", — и первый указал на лежащую на прилавке толстенную книгу: Лева Задов "Жизнь и творчество Александра Блока".

Толя усмехнулся, раскуривая трубку: "Ну, какой же это анекдот? Знал бы ты, сколько этих трупоедов я перечитал, работая над книгой о Блоке". И тогда я задал вопрос, давно вертевшийся на языке: "Толя, а почему ты в "Конце трагедии" полемизируешь с этими трупоедами, осужденными на вечное, глухое забвение? По-моему, это единственный недостаток твоей книги". Он ответил сразу, не задумываясь: "Я не мог этого избежать. И не с ними я полемизировал, а с силой, стоящей за их спиной".

Сегодня я жалею, что не записывал его блестящих импровизаций, не вел дневника. Многого утрачено безвозвратно. Лишь обрывки чего-то вдруг

всплывают со дна памяти, появляются, как те огненные буквы, начертанные на стене невидимой рукой.

О книге Шаламова "Колымские рассказы", вышедшей незадолго до Толиной смерти: "О страшном надо писать просто, а о простом страшно. Это один из основных законов искусства". О поэзии Вознесенского: "Конечно, в простоте суть. Но простота его стихов хуже воровства". О Пушкине: "Непостижимо абсолютное совершенство его поэзии. Для русской литературы он навсегда останется линией горизонта".

Анну Андреевну Ахматову он боготворил. Охотно говорил о ее поэзии, но не любил рассказывать о своих встречах с ней, считая это почему-то чуть ли не кощунством.

"Толь, — прошу, — расскажи про Анну Андреевну". "Ну, что там рассказывать, — отвечает неохотно. — разве можно описать, какой она была? Ну, любила хорошее вино. Я приходил к ней с бутылочкой, которую мы потихоньку распивали. Но так, чтобы нашего "загула" не видела Лидия Корнеевна Чуковская. Анна Андреевна побаивалась своего "капитана". Часто я ее просил: "Анна Андреевна, давайте почитаем стихи. Вы мне — Ахматову, я вам — Мандельштама".

С Лидией Корнеевной Толя дружил, много переписывался, часто звонил ей в Москву. Обычно из моего дома. На моих глазах ненадолго пробежала между ними "черная кошка". Толя пытался убедить Лидию Корнеевну, что человек, пользующийся ее безусловным уважением и доверием, этого не стоит. Но разве можно добиться такого на разделяющем расстоянии в тысячи километров? Толя очень переживал.

Из современных поэтов выше всех ставил Давида Самойлова, и не потому, конечно, что тот был одним из его любимейших друзей.

Бродского после 1967 года не любил. Не принимал. Я спорил до хрипоты, убеждал, доказывал. "Ну, прочти вслух стихи, которые считаешь гениальными", — предлагал Толя. Я читал. Якобсон морщился: "Вместо поэтики движения — риторика, ораторство. У него форма управляет фантазией, а дело ведь не в технике, пусть даже восхитительной. Нет у него прозрения, без которого не может быть великой поэзии".

Незадолго до смерти он, продолжая наш незавершенный спор, прочитал мне отрывок из последнего письма Лидии Корнеевны. Точно помню, что там было сказано. И цитирую по памяти: "Не понимаю, что сделало Бродского первым поэтом своего поколения. Почему во многих интеллигентных домах Москвы и Ленинграда висят его портреты. Передо мной лежат четыре его сборника. Мне его стихи кажутся на грани гениальности и графомании. Разъясните, пожалуйста, в чем тут дело".

"Ну, — спрашиваю, — и что же ты ей напишешь?" "А то и напишу, что грань перейдена, только не в ту сторону", — сердито ответил Толя.

* * *

Был он первоклассным переводчиком. Стихи Лорки, Эрнандеса, Готье, Верлена в его переводах равнозначны подлиннику. Работая по подстрочникам, Якобсон изумительно чувствовал взаимосвязи между звуковым обликом и тематикой, между размером и смыслом, и воспроизводил

их с блистательной виртуозностью. Он находил точные русские эквиваленты для передачи особенностей оригинала: ресурсов образности, ритма, колорита и т. д.

В Израиле Толя только один раз вернулся к любимой когда-то работе. По моему подстрочнику в последний год жизни он перевел стихотворение Мицкевича "К русским друзьям", шедевр европейской лирики. Это был, что называется, классический перевод.

* * *

Как я уже отметил, знакомых у него была уйма. А вот друзей близких здесь, в Израиле, не так уж много. До конца близким ему человеком была Майя. Привязан он был к Володе Гершовичу, который знал его еще по той, Московской, жизни. Был у него "медовый месяц" с Ильей Люксембургом. Помню, пришел он и с порога: "Илья написал крепкий рассказ "Боксерская поляна". В глазах светилась радость за товарища. А однажды явился какой-то странный. "Я сейчас с Ильей дрался", — говорит. "Как — дрался?" "А так. Предложил ему подержать меня на лапах. Побоксировать. Ну, надели мы перчатки. Работаем в салоне. Все нормально. Вдруг Илья — бац, бац — наносит несколько молниеносных ударов поверх моих перчаток. И смотрит с любопытством. Как, мол, прореагирую? Кровь бросилась мне в голову. Ладно, думаю, минуты две я продержусь. И ринулся в рубку. Картины полетели. Ханка завизжала". "Ну и дальше что?" — спрашиваю. Мне уже интересно. "Илья, конечно, не провел своего знаменитого аперкота, — с каким-то даже сожалением говорит Толя. — Прекратил бой". Так рассказывал московский боксер-второразрядник Анатолий Якобсон о единственном своем бое в Израиле. И не с кем-нибудь, а с самим Ильей Люксембургом, мастером спорта, полуфиналистом Союза, встречавшимся когда-то на ринге со знаменитым Агеевым.

Потом их дружба пошла по каким-то ухабам, опрокинулась, разбилась. Очень уж они были разные.

Любил он и Гришу Люксембурга за по-детски наивное и чистое восприятие мира и жизни. Гриша брал его в армию. Толя возвращался посвежевший, поздоровевший. Всем с гордостью рассказывал, что был на сборах. ЦАХАЛ считал удивительным инструментом, созданным еврейским гением.

* * *

"К предательству таинственная страсть, друзья мои, туманит ваши очи", — процитировал я, когда мы говорили о Хмельницком. Меня интересовала эмбриология предательства. Толя, хорошо знавший Хмельницкого в молодости, усмехнулся: "Да ничто ему глаза не туманило, — сказал он с явной неохотой. — Просто не было в нем того стержня, на котором держится душа". "Но все же, — не уступал я, — как пошел на такое человек умный, талантливый? Ради чего он загубил и свою жизнь?" "Да не ради чего", — Толя уже стал раздражаться. Он не любил говорить на эту тему. "В юности, еще в школе, поймали его на крючок. Вызвали куда надо, запугали, взяли под-

писку. Вот он и стал стучать. А вырваться из капкана — души не хватило. Вот и все". Для Толи Хмельницкий был похоронен и залит бетоном.

Но иногда, засидевшись за бутылкой, Толя читал по моей просьбе стихотворение Хмельницкого, которое я, находясь под воздействием алкоголя, тщетно пытался запомнить:

Все мы, граждане, твердо знаем,
Что в начале седьмого века
Под веселым зеленым знаменем
Шел Пророк из Медины в Мекку.

.....
И на конях мчались номады
На рысях, дорогой короткой,
За посланником Махоммадом,
Молодым, с подбритой бородкой.

И так далее. Удивляюсь, почему Хмельницкий не включил эти действительно прекрасные стихи в свою подборку, публиковавшуюся в "22". Я же пишу здесь об этом лишь потому, что чувствую своей обязанностью изложить все, что еще хранит о Толе начинающая сдавать память.

* * *

В последний год жизни Толя женился на Лене. Было в ней что-то inferнально-мрачное, вызывающее глухое раздражение и беспокойство. Один известный поэт даже назвал ее роковой женщиной. Дней ему оставалось уже немного, и она внесла в них радость, пусть печальную, похожую на тонкий луч, скользящий по стылой глади осеннего пруда. Ей, а иногда и Глебу, огромному сенбернару, к неудовольствию Тома откуда-то появившемуся в их маленькой квартире, писал Толя шуточные стихи, составившие целый сборник. И не такие, впрочем, уж шуточные. Помню, меня поразило и заставило задуматься одно из стихотворений, написанное за три месяца до смерти.

Диалог

Не жить хочу, чтоб мыслить и страдать,
А поскорей хочу концы отдать.
Горька, сладка-ли — чарочка испита.
Откинуть бы, не суетясь, копыта.
Но кто-то востроглазенький и злой
Подмигивает: "Значит — с плеч долой?
Определим сюжетец: дезертиру
Приспичило в отдельную квартиру".

* * *

Я благодарен Диме Сегалу, выбившему Толе ставку в университете, избавившую от нужды. Но боясь чего-то, вероятно, его болезни, Толе наглухо закрыли общение с аудиторией, не дали читать лекции. А ему это было жизненно необходимо. Он так любил живое слово, был превосходным импровизатором, умевшим держать своих слушателей в постоянном напряжении, о чем бы им ни рассказывал. Его монументальной чеканки статья "О романтической идеологии" в первоначальном виде была лекцией, прочитанной в Москве, в школе для особо одаренных детей. За кажущейся легкостью его импровизаций крылась колоссальная эрудиция и огромная подготовительная работа.

Толя "ушел в подполье", стал организовывать научные семинары у себя дома. Но получать даром деньги в университете он тоже не хотел. Не из тех Толя был людей, которые удовлетворяются синекурой. Он, не выносивший новые литературоведческие школы, — структуриализм, прочие "измы" и вообще все попытки "поверить алгеброй гармонию", в последний год жизни дал оппонентам сражение на их поле и выиграл его. Изначальной силой своей природы преодолевая болезнь, написал Толя совсем не "якобсоновскую" работу "Вакханалия" в контексте позднего Пастернака". Вот она лежит передо мной с надписью автора:

Когда я, изгнанный со службы,
Пойду в запое по миру,
Припомню, как во имя дружбы
Дарил такое Фромеру.

Работа эта отличается академичностью и холодным оточенным мастерством. "Смотрите, — как бы говорит Толя своим оппонентам, — я могу делать то же, что и вы. Только лучше". В "Вакханалии" Якобсон вскрыл один из существеннейших мотивов широкого многоголосия поэзии Пастернака, составляющего живую ткань его поэтической вселенной.

* * *

Болезнь прогрессирует, причиняя ему ужасные, почти непрерывные мучения. Его болезнь — это физическая боль души. Уже не освежает короткий сон, похожий на забытие. Страдания непрерывны, пронзительны. Но безмерному страданию соответствует неизмеримая сопротивляемость. Постепенно она начинает ослабевать.

Близится роковой день 28 сентября.

Периоды депрессии становятся все тяжелее. Все реже сменяет их иллюзорная, ненадежная, не дающая отдыха душе эйфория.

В тот последний день я работал с 12-ти. В 11 позвонил Толя. "Вовка", — произнес он и замолчал. Через пять минут я был у него. Он открыл спокойный, побритый, с ясными глазами. С обрадовавшей меня убежденностью сказал: "Мне уже намного лучше. Зачем ты приехал? Тебе ведь — на работу. Заходи вечером". "Да ладно, — говорю. — А Ленка где?" "На базаре". "Я, пожалуй, ее дождусь". "Не стоит. Ну, если хочешь,двигаем шахматешки". Сели к столу, и он прибил меня быстро, в блестящем стиле, с жерт-

вой коня. И я успокоился. И ушел. Не насторожило и то, что в дверях, прощаясь, он вдруг обнял меня...

Потом мы вычислили, что повесился он в тот короткий период в 40 минут между моим уходом и возвращением Ленки. Поздно вечером Майя нашла его в подвале, висящим на поводке Глеба.

По словам Игоря Губермана по Москве кружила версия, что в свой последний день Толя играл в шахматы с товарищем, проиграл, потом долго искал его, чтобы взять реванш, и, не найдя нигде, повесился.

Свидетельствую, что последнюю шахматную партию в своей жизни он выиграл.

* * *

Приблизительно через месяц после его смерти поздно вечером приехал ко мне Гриша Люксембург. "Пошли на кладбище. Навестим Толю". Вижу, в кармане у него бутылка. "Ну что ж, айда. А не поздно?" — спрашиваю. Гриша пожал плечами.

Кладбище на Масличной горе под ночным небом, похожим на опрокинутую черную чашу, расцвеченную равнодушными огоньками далеких звезд. Угрожающе бесформенные очертания памятников, напоминающие серых животных. Ищем могилу наощупь. Нашли вроде. А вдруг не она? Темно, жутковато. "Гриш, — говорю бодрым голосом, — тут же Толя. Он нас в обиду не даст". "Да, — подхватывает Гриша, — пусть только попробуют. Он их так причешет!". Гриша разлил и выплеснул остаток на сухую, каменистую, давно остывшую землю.

* * *

Он пришел ко мне через полгода. Во сне. Квартира, в которой полно народу. Какая-то вечеринка. Вдруг входит Толя — быстро, по-бычьему нагнув голову. Он в синей курточке. Ворот рубахи расстегнут. На шее — багровый рубец. Все его радостно приветствуют, никто не удивляется. Завязывается оживленный разговор. Он медленно, с наслаждением, набивает трубку. Закуривает. Я не могу глаз оторвать от его лица. Молчу. А он меня как бы и не видит. Вдруг все исчезают. Мы одни. Он взглядывает на меня исподлобья и спрашивает: "Ты ведь знаешь, что я умер?" "Знаю, — говорю, — я ведь тебя хоронил". Делаю движение к нему, пытаюсь обнять, но он знаком показал, что этого — нельзя. Тогда я тихо произношу: "Ты даже не представляешь, как я рад тебя видеть. И значит, есть загробная жизнь?". Он ответил быстро, словно ждал этого вопроса: "Есть, но совсем не такая, какой ее представляют люди".

Я: "Хорошо ли тебе там?"

Он: "Фигово. Нельзя ни выпить, ни бабу поиметь".

Я: "А ИХ ты видишь?"

Он: "Кого?"

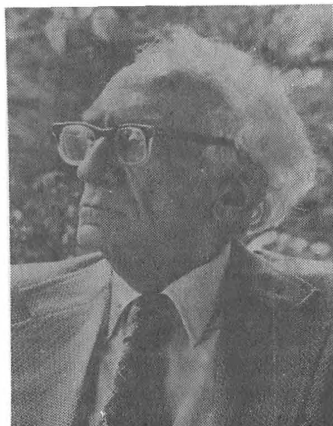
Я: "Анну Андреевну. Маму".

Он не ответил, наклонившись, раскурил трубку и вдруг исчез.

Трубочный дым еще долго поднимался к потолку, но его уже не было. Я думаю, что он приходил предупредить меня.

Вскоре началась самая тяжелая полоса в моей жизни.

СУДЬБЫ ИДЕЙ



*Иммануил
Великовский*

Михаил Вартбург

ВЕКА В ХАОСЕ, МИРЫ В СТОЛКНОВЕНИЯХ

(окончание; начало см. №№ 59—61)

Зигзаги судьбы. Взлеты и падения теории Великовского сами по себе составляют увлекательный роман. Перипетии его судьбы пришлось бы впору герою авантюрного повествования. Редко кому выпадало на долю столько ослепительных надежд и столько же глубочайших разочарований. Редко кому приходилось долгими десятилетиями сражаться за научное признание. О, разумеется, он знал и успех, и шумную славу — но не тот успех и не ту славу, которых жаждал. Что поддерживало его в титанической борьбе с научным истеблишментом? Только яростная вера в свою правоту и неукротимый темперамент бойца. Любопытно, — на его счету были и сочувственные отклики некоторых ученых. Но увы — лишь немногие из них были убежденными сторонниками его теории. Другие осторожно оставляли место сомнению. А большинству были попросту отвратительны методы критиков из своей же научной среды. Ибо методы эти были, мягко говоря, далекими от принятых в науке. Поначалу, в конце 40-х — начале 50-х годов книги Великовского пытались задушить, что называется, "в пеленках" — с помощью самого недостойного давления на издательства. Позже, когда это не удалось, Великовского пыта-

лись высмеивать как невежественного и безграмотного шарлатана. Затем против его гипотез был направлен мощный огневой залп так называемых научных аргументов, в которых по-прежнему сквозило высокомерное неуважение к обсуждаемому предмету и столь же высокомерное сожаление о времени, затрачиваемом на его обсуждения. С поля сражения за версту разило несправедливостью. Неудивительно, что симпатии “демократической” американской публики были на стороне Великовского: он казался жертвой научного истеблишмента, который пытается заткнуть рот инакомыслящему глашатаю неприятной истины. Юпитер грохотал со своего ученого Олимпа — стало быть, Юпитер был неправ.

Рядом с наукой, в блеске ее открытий, то и дело возникают квазинаучные гипотезы — то о летающих тарелках, то о следах пришельцев на Земле. Как правило, научный мир просто игнорирует эти несостоятельные посягательства. Первую реакцию ученых на гипотезу Великовского еще можно было объяснить ситуацией: маккартистские времена “охоты на красных ведьм” не располагали к снисходительности в отношении теории, которая казалась прорывом религиозного “мракобесия” в обитель рациональных истин. Но “охота на Великовского” продолжалась и в конце 50-х годов, и в начале 60-х, и в их середине, и в конце — почти до самой его смерти. Маккартизм давно уже был похоронен и забыт, и значит — что-то иное заставляло ученых снова и снова возвращаться к увлекательной облаве. Разумеется, тот факт, что Великовский последовательно “подгонял” все свои космогонические и исторические построения под утверждения Библии и мифов, был постоянным источником раздражения: наука требует иных доказательств правоты. И разумеется, тот факт, что он ни разу не вооружился математикой, чтобы подтвердить свои “безумные идеи”, тоже не мог не приводить в бешенство: ему невозможно было возражать. Что бы ни говорили о расчетах, которые опрокидывают его предположения, он тотчас находил новые соображения, чтобы подкрепить свою пошатнувшуюся было постройку. А поскольку все эти его “соображения” были качественными, они оказывались почти неуязвимыми для строгого анализа. В самом деле: что можно ответить на всевозможные “а может быть”? Воистину — убийственный аргумент. Верно, вероятность планетарных столкновений чудовищно мала, но вот ведь недавние наблюдения показали, что в глубинах космоса то и дело происхо-

дят столкновения галактик; так почему не может быть столкновений и в Солнечной системе? Действительно, троекратная встреча планет кажется невероятной, но ведь их орбиты лежат в одной плоскости; так почему не предположить, что это увеличивает шанс такой встречи? Разумеется, трудно согласовать остановку Земли с законами небесной механики; но почему не принять, что тут играли роль другие — например, электромагнитные — взаимодействия между сталкивающимися планетами? Правильно, при мгновенной остановке нашей планеты на ее поверхности ничего бы не уцелело; но почему не допустить, что остановка происходила постепенно, в течение нескольких часов? И так далее, и тому подобное. Широкой публике эти простые, наглядные соображения, не требующие никаких расчетов и апеллирующие единственно к “здравому смыслу”, были куда понятнее, чем высокоумные ссылки ученых на непонятные уравнения и формулы. Кто его там знает, что это за формулы, а вот если машину затормозить не резко, а плавно, то ведь и впрямь не занесет...

Эта война с постоянно ускользящей тенью, эта необходимость опровергать все новые и новые — и каждый раз ничем (кроме “а почему бы не предположить...”) не подтверждаемые — “соображения”, эта заранее обреченная попытка доказать “общественности”, что этого нельзя “предположить”, потому что нельзя никак — все это не могло не превратить теорию Великовского в самую ненавистную и одиозную тему в научных кругах. Но кроме таких, по существу психологических, причин ненависть эта имела и другие, более глубокие корни. И даже борьба с новоявленным глашатаем абсолютной правоты Библии занимала среди них не самое главное место. В конце концов, мало ли верующих было среди самих ученых?! Нет, подспудный пафос этой многолетней борьбы с ее взлетами, падениями и новыми взлетами состоял в ином. Научный мир признавал, что Великовский нащупал его уязвимое место. Теория планетарных столкновений была всего лишь частным выражением общего принципа, который отрицал — не более, не менее — все то, на чем была основана современная наука, во всяком случае — наука последних веков: ее понимание устройства мира.

Катастрофизм и униформизм. На что же замахивался Великовский своей теорией столкновений? В 1955 году он опубликовал третью свою книгу — “Земля в конвульсиях”, — в которой развернуто изложил свои общенаучные взгляды. Широкая публика почти не заметила этой книги: в ней не

было сногсшибательных гипотез, которыми изобиловали "Миры в столкновениях", или дерзновенной увлекательной атаки на общепринятую историю человечества, как в "Мирах в хаосе". Но по отношению к научному миру Великовский в этой книге наконец-то выступил с открытым забралом.

Приведя в начале широкий фактический материал самых разных научных дисциплин, от геологии до палеонтологии, Великовский далее утверждал, что возраст Земли значительно меньше, чем предполагает современная наука. Тем не менее, продолжал он, несмотря на этот укороченный возраст Земля успела претерпеть за свою жизнь множество катастрофических "конвульсий". Некоторые из них происходили уже на памяти человечества, даже в самое недавнее (конечно, исторически недавнее) время. Одной из таких катастроф было как раз постулированное им в предыдущих книгах столкновение Земли с Венерой и Марсом. Но сейчас Великовский не намерен задерживаться именно на этой специфической катастрофе. В конечном счете, она была всего лишь одним из эпизодов общей "катастрофической" истории Земли. Еще одно заурядное событие в цепи аналогичных катаклизмов, образующих биографию планеты.

Слово произнесено, и слово это — "катастрофизм". Оно имело давнюю историю, восходящую еще к восемнадцатому веку. Именно тогда Кювье впервые выдвинул концепцию, согласно которой биологические виды формировались в ходе сменявших друг друга земных катастроф. Этот взгляд на историю планеты был впоследствии отвергнут в пользу "градуализма и униформизма", которые в палеонтологии защищал Ламарк, в геологии — Лайель, а в биологии — великий Дарвин. Постепенно принципы градуализма и униформизма стали ведущими в современной науке. Они легли в основу научного мировоззрения. Можно сказать, что они образовали основу нашей нынешней культуры, нашего взгляда на мир. Все мы подсознательно предполагаем, что основные условия бытия в природе сохраняются неизменными (униформными) в течение космически-длительных промежутков времени, а на фоне этих неизменных условий происходит постепенное ("градуальное") и плавное развитие, имеющее характер неуклонного "прогресса" ("эволюции") — будь то усложнение космоса вплоть до появления в нем живого, усложнение живого до появления человека или совершенствование самой человеческой жизни.

В свое время "эволюционный принцип" сыграл явно плодотворную роль. Он позволил преодолеть концепцию "катастрофизма" с ее неизбежным ожиданием неминуемых апокалиптических катастроф. Этот "катастрофизм" несомненно был порожден религиозным мировоззрением и являлся одной из форм выражения того благоговейного ужаса перед "неисповедимостью путей Господних", которым пронизана любая религия. Эволюционизм отверг этот иррациональный ужас в пользу рационального оптимизма. Это позволило двигаться вперед в познании. Но это же внесло в человеческое познание элемент иной пассивности. Теперь неизменность космических и природных условий стала бездумно восприниматься как надежная гарантия будущего благополучия. Надежда на возможность прогрессивного развития постепенно превратилась в бездумную **уверен-**

ность, почти в догму. История, природа и космос оказались закованы в железные обручи неизменных — извечно и навсегда — “законов”, отклонения от которых невозможны. Любая неожиданность, катастрофа, “внешнее вмешательство”, нарушающее эволюционный ход вещей, стали восприниматься как “внеучные” и “незаконные”, мысль о них — как возврат к религиозному апокалиптизму, как “мракобесие”, в лучшем случае — невежество. Когда Лаплас гордо заявлял, что в своей небесной механике не нуждается в такой “гипотезе”, как Бог, он выражал не только свободный дух рационалистической научной мысли, но и ее убежденность в том, что все в мире управляется “вечными” и “неизменными” законами мироздания.

Своей “теорией столкновений” Великовский бросил вызов этой лапласовско-ньютоновской в е р е . Он не ставил под сомнение сами законы Ньютона: ведь и его “столкновения” управлялись, в конечном счете, этими законами. Под сомнение он ставил “плавность”, постепенность эволюции мира. По существу, он неявно возрождал “катастрофизм” Кювье.

“Земля в конвульсиях” не оставляла сомнений в том, что атака Великовского идет именно в этом направлении — на фундаментальные п р и н ц и п ы современного научного мировоззрения. В этой книге она развертывалась уже по всему фронту. Чтобы доказать свой тезис “глобального катастрофизма”, Великовский обращается к данным о гибели доисторических животных. Никакими эволюционными гипотезами, утверждает он, нельзя объяснить внезапное исчезновение целых видов — мамонтов в Сибири или носорогов в Канаде. (К этому списку мы могли бы добавить знаменитых динозавров пустыни Гоби.) Многие из этих погибших животных вмерзли в лед так быстро, что их размороженное мясо и сейчас еще годится в пищу собакам. Значит, их гибель была результатом глобальной — космической, геологической или климатической — катастрофы. Некоторые данные по-видимому убеждают, что такие горы, как Гималаи, появились уже в историческое время — а рождение целой горной цепи не могло не быть катастрофическим явлением. Гигантские трещины в океанском дне — другое свидетельство недавних геологических конвульсий нашей планеты. Развалины древних городов, “отступивших” от морского побережья, — признак недавнего смещения морей под воздействием гигантских сдвигов земной поверхности. Изменения климата, обнаруженные учеными в прошлом Земли, могут быть объяснены только как результат резких потрясений, смещавших земную ось. Следы массового падения метеоритов в различных местах земного шара означают, что Земля претерпевала катастрофические столкновения с метеоритным роем или огромными кометами — и возможно, неоднократно. Все эти факты говорят в пользу “катастрофизма” против “эволюционизма”. Космическая история Земли была историей катастроф. Ее геологическое прошлое было чередой катаклизмов, а не плавным развитием. Становление биологического мира определялось последовательностью катастрофических исчезновений одних и появлением других видов, а не эволюционными принципами и естественным отбором по Дарвину. Вся современная научная картина мира покоится на ошибочных представлениях — и потому должна быть пересмотрена.

Кто сказал "А"? Казалось бы, именно после "Земли в конвульсиях" спор вокруг идей Великовского должен был вспыхнуть с особой силой. Как ни странно, произошло обратное — он стал затихать. По какой-то непонятной прихоти массовой психологии популярность Великовского пошла на убыль. Может быть, выветрилась первоначальная сенсационность. Может быть, сам спор стал слишком детальным и утомительным для неспециалиста. Как бы то ни было, во второй половине пятидесятых годов "дело Великовского" сошло со страниц массовой прессы — и со сцены вообще. Но тут, как я уже сказал, началась "космическая эра".

Однако прежде, чем следовать дальше за зигзагами этой удивительной судьбы, вернемся ненадолго к оставшемуся нерешенным вопросу: кто же был прав в споре ученых "эволюционистов" с новоявленным "катастрофистом"?

Героя Козьмы Пруткова застигли врасплох вопросом: какая из дочерей хозяина ему нравится? Растерянно отведя взгляд и обежав им все в комнате в поисках ответа, он, в конце концов, пробормотал: "Мне нравятся о б о и" — и с этим бросился вон. Я мог бы сказать, что мне "обои" не нравятся. Великовский был неправ, обвиняя современную ему науку в абсолютном непризнании катастроф. Уже в начале XX века квантовая механика узаконила принципиальную непредсказуемость (в ньютоновском смысле) поведения микрочастиц, открыв, что оно управляется законами вероятности, случая, то есть, "микркатастроф". А к середине века биология дополнила теорию эволюции Дарвина принципом, утверждавшим, что появление новых признаков является следствием случайных мутаций — тех же "микркатастроф", только на биологическом уровне. И даже пресловутая небесная механика Ньютона-Лапласа не исключала возможности катастроф в своей, космической епархии. Ни один здравомыслящий ученый не стал бы отрицать возможности столкновения Земли с другим небесным телом. Не исключено, что падение знаменитого Тунгусского метеорита было именно таким столкновением и притом — уже на нашем веку. Сегодня считается, что массовая и внезапная гибель динозавров могла быть действительно вызвана космической катастрофой — вспышкой близкой к Солнцу сверхновой звезды или встречей нашей планеты с гигантским роем метеоритов. Совершенно очевидно, что именно многократные, в течение миллионнолетий, столкновения с метеоритами или даже более крупными телами сформировали нынешнюю поверхность Луны, Марса, спутников гигантских планет. Не замечая этого, Великовский ломился в открытые двери.

Слабость современной научной картины мира и его истории состояла не в том, что она не признавала катастроф и их роли, а в том, что она относилась к ним, как к чему-то периферийному, полагая, что "магистральный путь" природы лежит все-таки на линии градуализма и униформизма. Иными словами, она была слишком оптимистична — и слишком долго. Не исключено, что эта ее "установка на исторический оптимизм" была поздним отголоском того чувства, которое некогда сопровождало собой становление буржуазного мира, неразрывно связанное и со становлением самой современной науки. XX век — век мировых войн, социальных катастроф и революций, угрозы "ядерной зимы" — окончательно истре-

бил это благодущие. И во второй половине века в науку все настойчивей стала пробиваться мысль о реальной возможности таких "рукотворных" и нерукотворных катастроф, которые могут положить конец не только нашей оптимистической вере в "прогресс", но и нам самим и жизни на Земле в целом. Свидетельством того, насколько легитимной стала эта идея в науке конца века, может служить хотя бы недавно появившийся сборник под немислимим прежде названием — "Катастрофы и история земли". В его многочисленных статьях утверждается, что все важные границы в геологическом прошлом Земли связаны с крупными катастрофами космического масштаба. Например, последовательные выпадения крупных метеоритных потоков образуют график, сходный в своих общих чертах с графиком повторяемости землетрясений. Это сходство позволяет вычислить, когда в прошлом происходили грандиозные атаки метеоритов, способные радикально изменить ход эволюции. Вычисления показывают, что последняя такая катастрофа была на границе мезозойской и кайнозойской эпохи, 65 миллионов лет назад, как раз во времена вымирания динозавров. Понятно, что новая катастрофа такого масштаба может покончить с существованием нынешней жизни на Земле, — если человечество не примет меры предосторожности.

Так не был ли все-таки Великовский трагически непонятым провозвестником новых путей в науке? Увы, ему нельзя подарить такую честь. И дело не только в том, что он не придал своим рассуждениям убедительную для научного мира математическую форму графиков и таблиц. И даже не в том, что он пришел со своими "катастрофическими" идеями "со стороны", а не "изнутри", как современные неокатастрофисты. Конечно, какую-то роль его непричастность к замкнутому научному клубу несомненно сыграла. В прошлом веке ученые с такой же насмешкой отвергли гипотезу движения континентов, выдвинутую Вегенером, — и не в последнюю очередь потому, что Вегенер был не геологом, а ... метеорологом. Однако в конце концов гипотеза Вегенера стала общепринятой — ибо не противоречила законам и подтверждалась фактами. "Неокатастрофизм" в современной науке не предлагает, как это делал Великовский, полностью отказаться от прежнего "униформизма": цитированная мною книга имеет подзаголовок "Новый униформизм". В самом вычерчивании "графиков повторяемости катастроф", по существу, содержится признание неких "законов", действующих в длительных интервалах времени. Ничего этого не было в старом, как Библия, "катастрофизме" Великовского. Более того, возрожденные им (в почти неизменном виде) идеи Кювье преподносились вдобавок в самой неудачной "упаковке" — в виде теории планетарных столкновений. "Подтверждаемых" к тому же не столько реальными фактами, сколько "свидетельствами" Библии и мифов. К тому же — столкновений совершенно не да в н и х (а ведь у неокатастрофистов речь идет, что ни говори, о м и л л и о н н о л е т и я х). Нет, катастрофизм Великовского не был тем неокатастрофизмом, который включила в себя современная наука. Великовский шел иным путем, а это как мы сегодня знаем, не всегда приводит к цели.

Звездный час героя. К концу 60-х годов научному истеблишменту удалось — хотя и с потерями для своего “эволюционизма” — отразить атаку Великовского. Ценой согласия на “новый катастрофизм” она отвергла посягательства автора теории планетарных столкновений. Имя Великовского на время ушло в тень. Сенсация выветрилась, споры затихли. Ситуация вернулась к типичному для таких историй сюжету: наука игнорировала притязания Великовского, а рядом с ней, в тени вечного “а может быть все-таки...” существовал он сам и его многочисленные поклонники. И вдруг все снова изменилось. Линия судьбы сделала неожиданный и резкий зигзаг, опять вынося Великовского и его теорию в центр всеобщего внимания. Как я уже сказал, началась космическая эра.

Первые же исследования со спутников и космических зондов, а затем экспедиции к Луне, Венере, Юпитеру принесли неожиданные результаты. И результаты эти были тем более поразительны, что, казалось, один за другим подтверждают предсказания теории планетарных столкновений.

У планет Солнечной системы был обнаружен остаточный магнетизм. Но теория Великовского как раз и утверждала, что у небесных тел существуют электромагнитные поля. Более того, — по утверждению Великовского эти поля должны были генерировать радиоизлучение, особенно у крупных планет — и вот исследования обнаружили радиоизлучение Юпитера. Земля оказалась окруженной “поясами” захваченных в “электромагнитную ловушку” частиц — так называемыми “поясами Ван-Аллена”. Не справедливее ли назвать их “поясами Великовского”, который предсказал нечто подобное на основании все той же гипотезы о планетарных электромагнитных полях? Выяснилось, что облака Венеры содержат соединения углерода. Но разве не это следует из предположения Великовского, что Венера — бывшая комета? Разве не Великовский истолковал выпадение “манны небесной”, как выпадение углеродных соединений из кометного хвоста при его столкновении с Землей? Советский зонд, посаженный на поверхность Венеры, обнаружил там чрезвычайно высокую температуру. Но ведь Великовский как раз предсказывал, что в результате своего сближения с Землей, а затем с Солнцем бывшая комета должна остаться весьма разогретой!

Внушительный список. Даже одного-двух таких предсказаний хватило бы, чтоб обессмертить теорию и ее создателя. Не говоря

уже о научных степенях и прижизненной славе. Неудивительно, что слава Великовского снова стала расти, как на дрожжах, — особенно в студенческих кругах. В Орегонском университете появился даже специальный студенческий журнал “Пенсе”, издаваемый поклонниками Великовского и в десяти своих номерах напечатавший множество статей в защиту его теории от “заговора ученых”. Открытые дискуссии Великовского с его оппонентами возобновились, дополненные на сей раз многочисленными лекциями самого Великовского. Его имя снова замелькало на страницах массовой прессы. Когда газеты напечатали отчет о результатах миссии “Маринера”, облетевшего Венеру, они снабдили этот отчет сенсационными заголовками: “Маринер подтверждает предсказания Великовского!” Привлеченные новой волной сенсации, зарубежные издательства одно за другим начали переводить книги непризнанного “ниспровергателя основ” на свои языки. Ситуация 50-х годов повторялась — с той разницей, что теперь Великовский явно был наступающей стороной. Это именно в те годы Айзек Азимов сказал, что он ближе всех “непризнанных пророков” подошел к тому, чтобы всерьез поколебать здание современной науки. Немалая честь для прежде безвестного врача-психоаналитика из Палестины!

Но поколебал ли он это здание действительно — или дело ограничилось всего лишь тем, что он “ближе всех подошел”? Та же мучительная загадка, что с Герценом, который, как известно, “вплотную подошел” к одному материализму и “остановился” перед другим. Всю жизнь я не понимал этих странных телодвижений великого мыслителя. С Великовским дело обстояло иначе. В ту пору он действительно тряс это пресловутое “здание современной науки”, как Самсон — колонны филистимлянского дворца. И шел в наступление, поддержанный бронетанковыми армиями новых открытий, подтверждавших его теорию, не только на космогоническом фронте. Он расширял прорыв и на другом участке своего эпохального сражения с научным истеблишментом — на участке историческом. По сути, это был единый фронт — и не только потому, что один и тот же противостоял ему противник. Фронт был един, потому что исторические “реконструкции” Великовского брали начало все из той же теории планетарных столкновений, которая была главным предметом споров и нападков. Все росло из одной-единственной догадки, некогда озарившей его сознание: догадки о катастрофе, пережи-

той Землей во времена библейского Исхода. Именно она вынудила Великовского искать подтверждение реальности этой катастрофы в причудливых блужданиях небесных светил, равно как и в рассказах Библии об истории еврейского народа. На небе он нашел это "подтверждение" в "планетарных катастрофах", на Земле — в ошибочности египетской и средиземноморской хронологии. Его грандиозные конструкции все еще висели в воздухе: планетарные катастрофы не признавались учеными, попытка пересмотреть историю Ближнего Востока в соответствии с "новой хронологией" не была доведена до благополучного конца. Но если небеса теперь были "за него", подбрасывая ему все новые свидетельства правоты его теории, то на земле ему еще необходимо было довести свою "реконструированную" древнюю историю до "конца" — до состыковки с "общепринятой". Как он сам объявил — до времен Александра Македонского. Стоило на этом пути возникнуть хотя бы одному-единственному противоречию между его реконструкцией и известными фактами, стоило ему наткнуться на один-единственный факт, который не удалось бы перетолковать в духе этой реконструкции (а не так, как его толковали раньше), как рухнуло бы все построение. А с ним — и объяснение Исхода. А с ним — и гипотеза катастроф. А с нею — и теория планетарных столкновений.

Поэтому наступать было необходимо. И именно всем фронтом. Вот почему в разгар новых боев за "новую космогонию" Великовский возвращается к "Векам в хаосе" и один за другим публикует следующие тома этой грандиозной исторической эпопеи. Если второй ее "узел", о котором мы подробно говорили выше, был посвящен эпохе Эдипа и Эхнатона, то в 1977 году появляются "Люди моря", где "историческая реконструкция" неожиданно перебрасывается к самому концу, чтобы доказать, что примерно с десятка последних египетских "династий", занимающих в "списке Мането" несколько столетий перед вторжением Александра Македонского, вообще не существовали (их "устранение" из истории как раз расчистило бы Великовскому то место, которое было ему необходимо, чтобы "приподнять", как он того добивался, поближе к нашим временам всю предшествующую египетскую хронологию); в 1978 — снова скачок, на сей раз вспять во времени: выходит уже упоминавшийся мною том, посвященный Рамзесу Второму; но и в нем провозглашенная во вступлении к "Векам в хаосе" величественная "реконструкция" все еще не

доведена до конца, потому что пропущены времена между Рамзесом и "последними династиями". Это беспорядочное появление в свет отдельных "узлов" исторической эпопеи, скачки и пропуски в ней, все нарастающая тяжеловесность изложения в последних опубликованных томах, которые к тому же выходят все чаще, как бы в лихорадочной поспешности, — все говорит о том, что Великовский ощущает усталость — и близость конца. Но не только возраст тому причиной. Усталость идет и от другого. Ибо именно в этот период, почти сразу после небывалого взлета "теорий космических катастроф", вызванного новыми открытиями конца 60-х годов, она неожиданно получает удар, от которого уже не может оправиться — ни она сама, ни ее автор.

Решающая битва. Странное дело: при всей — несомненной — дерзновенности замысла "Веков в хаосе" ни один их том не вызвал того накала страстей, который кипел вокруг теории планетарных столкновений. Ни один историк не дал себе труда сказать прямо и однозначно, что такое эти "реконструкции" древней истории, взламывающие общепринятое представление о ней, — гипотеза, которую можно обсуждать всерьез, или несерьезный, хоть и занятный курьез? Вот и стоим мы, простые читатели, в растерянности перед этой грандиозной эпопеей, так и не зная — верить нам в гиксосов-амалекитян, Хатшепсут-царицу Савскую и Эдипа-Эхнатона или счесть это всего лишь увлекательной игрой в исторические вероятности: "а что, если, на самом деле, все было не так, а этак..."

Теории исторических вероятностей не существует. Но в естественных науках теория вероятностей задает тон. Однако и здесь она не дает окончательного вердикта: кто же все-таки прав — Великовский с его теорией невероятных планетарных столкновений или его пожизненные — и посмертные — оппоненты? Ибо "невероятное" еще не означает "невозможное". Физические законы утверждают всего лишь и только, что вероятность закипания чайника, поставленного на холодную плиту, фантастически мала. Но если этот чайник все же закипит, ученые не покраснеют от стыда: их достоинство — и правота — будут спасены пусть и микроскопически ничтожной, но предусмотрительно упомянутой разницей между этой "невероятностью" — и нулем. Но что они будут делать, если вслед за чайником закипит вода и во всех прочих сосудах на той же холодной плите?

В начале 70-х годов казалось, что ситуация именно такова. Теория Великовского претендовала на все новые и новые совпадения своих предсказаний с космическими открытиями. Шум вокруг Великовского, усиливавшийся с каждым очередным таким совпадением, достиг апогея. И тогда-то ученые перешли в свое решительное наступление. Всеамериканская ассоциация содействия науке пошла на беспрецедентный в ее анналах шаг: созвала специальное заседание, посвященное "теории Великовского". Седовласый автор "Мир в столкновениях" и один из его немногочисленных сторонников из числа ученых получили приглашение выступить с докладами; затем слово было предоставлено оппонентам для подробного, серьезного, на сей раз — без заушательства, разбора этих докладов. Предполагалось, что все эти выступления будут опубликованы в сборнике, который позволит широкой публике рассудить наконец, кто прав. Однако в последнюю минуту Великовский и его содокладчик запретили печатать свои доклады. Сборник, тем не менее выпущенный в свет, получил естественное, хотя и одностороннее название "Ученые против Великовского". Центральное место в нем занимала пространная статья Карла Сагана (сменившего Шепли на роли главного противника Великовского). В ней были собраны все основные возражения против теории планетарных столкновений. Подсчеты вероятностей соседствования в специальном приложении с расчетами возможных планетных орбит, доказательства невозможности остановки, а потом повторного "раскручивания" Земли — со ссылками на законы образования небесных тел, соображения о ненаучности качественных "доводов" и мифологических "доказательств" Великовского — с указанием его фактических ошибок. Эти расчеты, по существу, перечеркивали все астрофизические построения Великовского. Но откуда тогда его "предсказания"? И вот вооружившись всем арсеналом современной физики, химии, астрономии и других наук, Саган в своей статье подробно доказывает, что так называемые "предсказания" Великовского в большинстве своем вообще не следуют из его теории, а являются чисто интуитивными догадками. Там, где они из нее следуют, они — по логике самой этой теории — должны быть совершенно иными и тогда не совпадают с новыми открытиями. А там, где совпадают, — это совпадение "с точностью наоборот". Великовский говорит об электромагнитных полях планет. Такие поля действительно обнаружены, но они ничтожны. Между тем, вся теория планетар-

ных столкновений держится, говорит Саган, на туманных "соображениях" Великовского о том, что именно эти поля сыграли решающую роль там, где теория входила в противоречие с полями гравитации. Венера действительно горяча, продолжает статья Сагана, но Великовский предсказывал эту нагретость, исходя из "соображений", что всякие тела при столкновении нагреваются; между тем такой нагрев Венера давно должна была утратить. Те температуры, которые на ней обнаружены, объясняются причиной, о которой Великовский не имел ни малейшего представления — "парниковым эффектом" плотных венерианских облаков, которые пропускают солнечные лучи к поверхности планеты, но не выпускают их обратно. Предположения о существовании радишумов Юпитера или углеродных соединений в атмосфере Венеры были высказаны в научных журналах задолго до Великовского и на совершенно других основаниях; как раз эти-то основания и были подтверждены наблюдениями со спутников. Короче, заключал Саган, "там, где теория Великовского верна, она не оригинальна; там, где она оригинальна, она не верна".

Это был суровый вердикт. И — для науки — окончательный. После публикации сборника "Ученые против Великовского" его "дело" было для науки закрыто. К нему больше не возвращались. Если у кого и были какие сомнения, они больше не ставились на обсуждение. Двери на научный Олимп перед Великовским захлопнулись навсегда.

Финал в до-минор. Разумеется, для его многочисленных поклонников "дело" не закончилось и не могло закончиться никогда. Слишком необычную, новую, грандиозную картину мироздания и истории он предложил, чтобы увлекающиеся всем загадочным умы не поддались соблазну вечного сомнения: "А может, Великовский все-таки прав?" Слишком правдоподобной казалась отстаиваемая им картина мира, чтобы не увлечь пылкое воображение. Слишком яростно и беспощадно отвергли его ученые мужи, чтобы простые читатели не заподозрили их просто в защите "чести мундира" любой ценой.

И конечно, "истина" продолжала волновать его самого. Было бы удивительно, если бы человек, отдавший почти тридцать лет жизни борьбе за свою — упорно непризнаваемую — теорию, не превратился бы, хоть отчасти, в маниакального глашатая своей

правоты. Для Великовского дело жизни не кончилось "последней битвой титанов". Отдадим ему должное: он сражался до конца — до самой смерти. И даже после нее. Его последней — уже посмертной — книгой были выпущенные его вдовой Элишевой "Звездочеты и гробокопатели" — история борьбы за "теорию планетарных столкновений".

Будем беспристрастны: сомнение толкуется в пользу обвиняемого. Не будь этих сомнений в пользу Великовского, не было бы смысла так подробно рассказывать всю эту давнюю и уже полузабытую сегодня историю. Но идеи Великовского еще и сегодня волнуют многих людей. Они слишком грандиозны, чтобы не увлекать воображение. И они, наверно, будут его увлекать до тех пор, пока не будет стерт последний вопросительный знак, и не будет рассеяно последнее сомнение. Но даже и тогда, окончательно расставаясь с его теорией, мы должны будем воздать должное ее создателю. Уважение к его беспримерному и бескорыстному поиску истины понуждает нас склониться перед его трудом в почтительном и грустном поклоне. Он не был политиком или идеологом, сознательным обманщиком или расчетливым демагогом. Он искал не славу и не деньги. Если он ошибался, то ошибался честно, без подлогов. Если окажется, что он невольно обманул многих, то ведь первым обманулся он сам. Если ему верили, то сам он верил больше всех. Если его идеи и не верны, то все-таки он был их мучеником и жертвой. Он умер восьмидесяти четырех лет отроду, в Принстоне, США, до конца своих дней так и не вкусив радости научного признания, которого жаждал больше всего в этой жизни. Мир праху его.

М. Вартбург (псевдоним) — автор ряда обзоров и очерков в "22".

КНИГОТОВАРИЩЕСТВО "МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ"

НЕЛЛИ ГУТИНА. "ЖУРНАЛ"

Впервые в русской литературе — уникальный "Журнал" одного автора с тысячью лиц, необычное путешествие во внутренний мир писателя под руку с его героями и читателями...

260 стр.

12 долл.

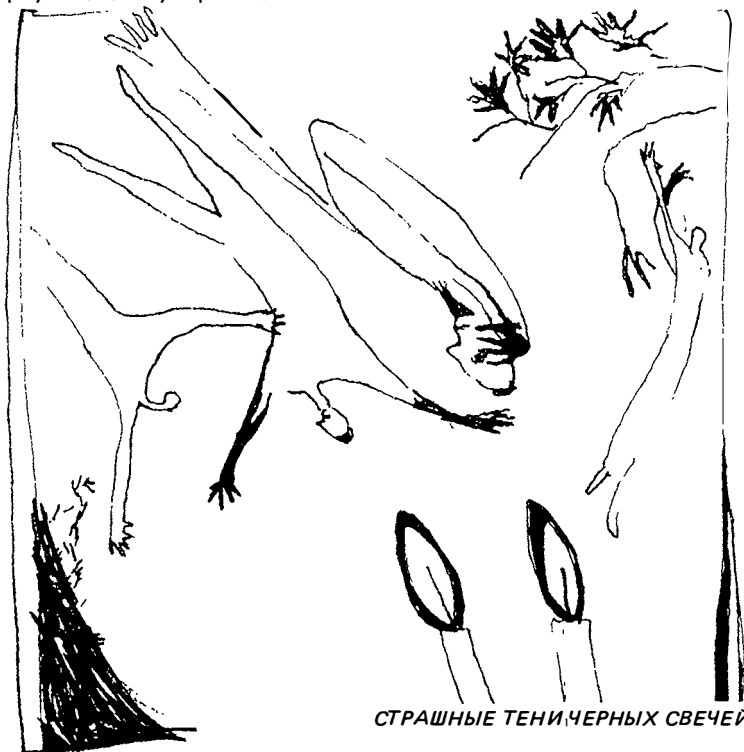
Заказы принимаются по адресу: "Москва—Иерусалим", п/я 7045, Рамат-Ган, Израиль.

МАСТЕРСКАЯ

Мария Брагинская

МОИ РИСУНКИ

В детстве я рисовала длинные приключенческие серии на 10–80 листов и бесконечно запутанные, из-за чего порядок страниц был даже не очень важен. Эти серии пугают меня и теперь — приходится вертеть лист то так, то этак, дабы новые ассоциации спасательными кругами летели мне навстречу и превращали его в новый рассказ, новую историю, новый намек, ясный лишь детективу. Таков путь рисунка. Но это относится ко всему. В том числе и к живописи. А началась она позже, и вместе с ней начались мучения. Рисунки продолжают веселить и вдохновлять меня и теперь, но живопись — это уже стихия, которая бушует и хочет поглотить художника, как море — рыбака. Тем не менее, оглядываясь, я замечаю, что иногда мне удается одержать победу, и тогда, выбравшись на берег, я начинаю разглядывать улов, ворошить влажных рыбок, что запутались в серых водорослях или зарылись в прибрежный песок. Иногда результат меня изумляет. А порой несчастные уроды вопросом вырастают из листа и хочется вышвырнуть половину картины.



СТРАШНЫЕ ТЕНИ ЧЕРНЫХ СВЕЧЕЙ

Маленькие рисунки — совсем иное дело. Их тонкие линии напоминают мне стихи или рассказы, они так же причудливы и многозначны. Язык уже сформировался, пользоваться им нетрудно, но кто его поймет? И как мало новых лаконичных идей!

Впрочем, идеями на самом деле наполнен воздух. И я, как фокусник, вытаскиваю из шляпы ленту на глазах изумленного мальчика, который, затаив дыхание следит, во что еще превратится эта лента, улетая за палочкой фокусника.

И этот мальчик — тоже я.



ФОКУСНИК



МАЛЬЧИК, ПОЛИВАЮЩИЙ ЦВЕТЫ

ЛЮДИ И КНИГИ

Михаил Хейфец

СИНТЕЗ ЛИФШИЦА С ЛОСЕВЫМ

*“В “Костре” служили в этом тусклом месте”...
Л. Лосев, “Чудесный десант”*

Трудно отвлечься от воспоминаний, рецензируя новый сборник стихов Льва Лосева “Тайный советник”*. Да и не хочется, говоря откровенно.

Когда-то я служил внештатно в редакции ленинградского журнала “Костер”, а после моего “изъятия из общества” это место занял Сергей Довлатов, тот самый (ныне американский) прозаик, который, по определению П. Вайля и А. Гениса, “как червонец, всем нравится... только в “десятку” попадает, а остальное безразлично... абсолютная точность высказанной мысли или наблюдения есть попадание в ритм”. Как лицо, сидевшее в довлатовском кресле и наблюдавшее его персонажей в том же ракурсе, свидетельствую: невидимое со стороны мастерство Довлатова поражает человека, знающего, каким тяжелым жизненным опытом приходилось платить за каждую фразу, за каждое слово, разбросанное им с такой точностью и щедростью таланта на страницах, например, его “Невидимой книги”.

Вот один из ее персонажей, некто Лифшиц. “Проработал в редакции четырнадцать лет, пережил трех редакторов. Относились к нему с большим уважением. Его корректный тихий голос почти всегда был решающим. Втайне он писал стихи, которые нравились Бродскому.

Его кукольные пьесы шли в двадцати театрах страны. Это приносило до шестисот рублей ежемесячно. Четырехкомнатная квартира, роскошная финская мебель – Леше были доступны все стандарты отечественного благополучия.

Неожиданно Лифшиц подал документы в ОВИР. Не буду сейчас говорить о причинах, вынудивших к этому.

В “Костре” началась легкая паника. Все-таки орган ЦК ВЛКСМ. Жаждали крови, требовали собраний. Однако не это поразило меня. В редакции повторялась одна и та же фраза: “Он же хорошо зарабатывал”. Людям в голову не приходило, что можно руководствоваться какими-то другими соображениями, помимо денежных. Ведь тогда каждый из этих людей должен был бы признать: “Человек убегает от нас”...

Довлатов почему-то не рассказывает о причинах, “вынудивших Лифшица к этому”. Мне же, как говорил Маяковский, “именно до искусства”, о чем и буду рассуждать.

Работая с Лифшицем бок о бок, я тогда не подозревал, что наш завспортом пишет стихи (может, он еще и не писал?). Но Леша показал мне

*Л. Лосев “Тайный советник”, изд. “Эрмитаж”, 1987 г.

свою первую детскую пьесу (“Неизвестные подвиги Геракла”), и я отчетливо помню, как, прочитав ее, подумал: этому парню уезжать надо! Пропадет иначе! Ведь этаким талант выпирает, а он его расходует на “Голы, очки, секунды”! Помню, максимум, что мог себе позволить Лифшиц, — вставить в заметку о витебской гимнастке Ольге Корбут, что, мол, не случайно в Витебске рождается красота, ведь оттуда родом Шагал! — помню, как выловил и уничтожил эту вставку главный редактор (между прочим, сам поэт). Да и высокое право сочинять и редактировать спортивную информацию Лифшиц тоже получил в форме высокой милости — за заслуги своего отца, известного детского поэта Владимира Лифшица (отец и придумал Леше псевдоним: “Двое Лифшицев в детской литературе слишком много. Будешь, — он подумал, — ..Лосевым”).

Чтобы не погибло то, ради чего Леша был рожден в мир Божий, ему и пришлось покинуть свою страну, свой город, свой язык. За океаном его дарования оценили быстро: бывший завспортом стал профессором-славистом в самом авторитетном славистическом научном центре США, в Дартмутском университете (одном из старейших в Америке, почти ровеснике МГУ). И одновременно появился русский поэт Лев Лосев, один из самых любимых и известных в русском Зарубежье, а это значит — один из лучших современных русских поэтов!

...Немало их работает на Западе, русских поэтов. Самый яркий, самый известный — безусловно Иосиф Бродский, чуждый суеты и всегда стоявший сам по себе, человек мастерства, которое иногда хочется назвать абсолютным. Но и Бродскому пришлось пройти неизбежной на Западе дорогой новой самоидентификации, и поэт, некогда живший у “еврейского кладбища около Ленинграда” и одновременно знавший, что придет умирать на Васильевский остров, переселился нынче в особое, “бродское”, всемирное пространство. И войдя в пространство мировой культуры, метафизики, истории, конечно, он чем-то пожертвовал — хотя бы страстью, тем юным огнем, который магически завораживал в 60-е годы его российских читателей.

Другой поэт, Юрий Кублановский решительно выбрал русскую ипостась: иногда мне кажется, что его стихи близки даже не россиянам, а только русским людям. А вот поэты в Израиле, пишущие по-русски, составили, напротив, как бы “дочернюю” школу по отношению к бывшей родине — примерно такую, как латиноамериканские литературы по отношению к испанской прамати.

На этой широкой “русскоязычной” поэтической карте Лев Лосев, по моему, занимает сегодня особое место.

С одной стороны, он живет прежде всего для России и воспоминанием о России, и все его зарубежные ассоциации и образы понятны лишь в российских связях:

Запустим-ка корни в подзол иностранной земли,
Чтоб шар этот черный они бы насквозь проросли,
Чтоб вылезли если не клейким листочком в земле земляков,
Хоть тощим росточком
Средь трещин асфальта, окурков, обрывков, плевков.

Лосев сознательно декларирует “почвенно-русскую” грань, которая отделяет его от того же Бродского:

Зачем Урания, Августа —
Чтоб в трепете зашелся жлоб?
А вот название “Капуста”
Для лирики не подошло б?
Но нет. И... не внимает,
Он из кармана вынимает
Опять латинский лексикон.
Его влекут богини, боги,
И прячем мы босые ноги,
Хоть любим бегать босиком.

Однако место Льва Лосева в сегодняшней русской литературе хоть и не уникально, но достаточно оригинально и ново.

Современная русская литература перестала быть чисто национальным феноменом. Я имею в виду не ее мировое значение и влияние, не наличие у нее множества дочерних литератур (включая, кстати сказать, и ивритскую: достаточно почитать Бренера или Хазаза...). Сейчас я говорю о, так сказать, внутренних ее качествах. Русская литература вовлекла в свою орбиту множество нерусских по происхождению писателей, которые обогатили ее “акцентами своих душ”. Здесь подразумевается не тот традиционный для России феномен, который связан с именем украинцев Гоголя и Достоевского, евреев Саши Черного или Бабеля, немцев Фонвизина или Пильняка. Эти-то писатели не только фактически были русскими (ибо культурная принадлежность писателя определяется не географией, не кровью, даже не языком, а тем читателем, к которому автор мысленно обращается). Вышеперечисленные и стремились быть русскими, они субъективно не мыслили себя вне русского культурного пространства.

Иная ситуация сложилась сегодня. Блистательный автор “Сандро из Чегема” — писатель несомненно русский, но он нисколько не скрывает, напротив, демонстрирует кровную и жизненную связь с тем народом, из среды которого вышел. То же относится к автору “Прощай, Гульсары” или к Василию Быкову из Белоруссии... Подобные писатели заняли особое и очень, кстати сказать, значительное место в сегодняшней русской литературе, открыто гордясь тем национальным акцентом собственных душ, который придал им своеобразие, обеспечивает им собственное место в русских литературных диспозициях.

...Несколько лет назад в “22” возникла полемика между В. Левитиной, которая утверждала, что еврей не имеет права слишком откровенно обличать недостатки собственного народа на виду у “коренной публики”, учитывая ее возможные антисемитские комплексы, и Н. Коржавиным, который, возражая Левитиной, справедливо указывал, что в подобной ситуации еврей перестает быть органичным писателем (то есть в любом случае писателем талантливым). Лев Лосев осуществил наконец синтез “органичного еврея” с нормальным русским писателем, тот синтез Лифшица с Лосе-

вым, который у нас в Израиле формулируется паролем "Москва—Иерусалим".

Вот, например, как поэт перелагает на свой лад сюжет "Песни о Вещем Олеге":

Крещение викинги поят болгар,
Обрезанных всадников Торы...
То гойку на койку завалит хазар,
То взвоят под гоем хазарка...
И так заплетаются судьбы Руси.

Или авторская декларация оттуда же:

Я пена по Волге, я рябь на волне,
Ивригогибрид, рыбоптица.
А. Пушкин прекрасный кривится во мне,
Его отраженья дробится.

А вот как в сонете нашего автора отразилось восхищение русского читателя поразительным лиризмом Фета*:

Читатель, вздувши самовар,
В раздумье чай свой допивает:
"Где этот жид раздобывает
Свой восхитительный товар".

В подтверждение тезиса о новом, на мой взгляд, феномене — об органичности еврея, ощущающего себя неотъемлемой частью русской культуры и литературы и одновременно понимающего и с гордостью выявляющего свою в ней национальную особенность, можно цитировать десятки стихов Лосева. Сомневающимся — советую перечитать хотя бы цикл "Крещеный еврей" ("Ой, шнурок на колене черном, Едет жид на коне леченом") или стихотворение, скажем, "Памяти поэта", посвященное К. Льдову (Розенблюму).

Разумеется, я говорю не о тематике стихов только, но о том особенном лиризме, который пронизывает каждую строчку Лосева, с его специфической, сугубо еврейской самоиронией насчет отношения к родине ("А у меня ни пуха, ни пера, и кроме родины, ничем я не торгую, но не берут лежалую такую, им, вишь, не надо этого добра"), грустной дребезжащей интонацией культурного, ранимого сына России, уязвленного в своей отвергнутой любви к стране, с которой он был так преданно связан и которая вечно подозревала его в двуличии...

Разумеется, у человека, занимающего столь новую и непривычную по-

* Для лучшего понимания поэтики Л. Лосева сравните эти строки с той фразой Льва Толстого о Фете, которая их несомненно вдохновляла: "И откуда у этого толстого гусарского офицера берется такой восхитительный лиризм".

зицию, которая не в переносном, как у нас, а в прямом смысле слова описывается формулой "Москва—Иерусалим", должны неизбежно появиться противники: всякое подлинно новое явление и обязано вызывать нападки и реакцию, если оно действительно ново. Первыми на Льва Лосева успели обрушиться с еврейской стороны (за ставшую отныне знаменитой статью о Солженицыне, переданную в выдержках по радио "Свобода"; позднее она была перепечатана и в "22"). Но, на мой взгляд, Лосеву стоит ждать в будущем нападков и с противоположной, "русской стороны" — там обязательно должны найтись его ненавистники. Что ж, такова неизбежная, неотвратимая судьба всякого поистине значительного феномена в литературе, и если поэт хочет остаться в ее истории, он должен платить при жизни по тяжелым счетам.

А. Пташкин

ЗАМЕТКИ ЧИТАТЕЛЯ

(Э. Лимонов. "Подросток Савенко", Париж, "Синтаксис", 1983.

Э. Лимонов. "Молодой негодяй", Париж, "Синтаксис", 1986.)

Il faut plus que l'esprit pour être auteur.*

"Несправедливость" — однажды написал Эди-бэби на классной доске. — Это исчерпывающее объяснение того, как мир устроен".

"Эди-бэби строг по отношению к себе, и если он виноват, он не откажется".

Эти две фразы спрятаны во множестве других в романе Лимонова "Подросток Савенко". Затеряны как иголка в стоге сена, и любители сена, скорее всего, их не заметят. Но они там есть.

Два романа Лимонова рисуют Царство несправедливости. "Несправедливость" присутствует в них во всех мыслимых воплощениях: сексуальных, семейных, общественных, или, если угодно, культурных. Везде есть старшие; все хотят быть старшими; все корчат из себя старших.

У романов Лимонова есть сильный этический пафос, на мой взгляд — слишком сильный. Лимонов вполне моралист, и в этом смысле он очень русский писатель. Но Лимонов воплощает свой морализм технически слишком тонким способом. Он не декларирует его. И он не прибегает к приемам, которые легко узнаются "хорошо подготовленным" читателем, как профессиональный читатель любит теперь себя называть. Лимонов отказался от фигуры "положительного героя", "борца", "жертвы".

Довольно трудно воспроизвести по памяти мир подростка. Чаще всего авторы романов воспитания, основанных на автобиографическом материале, глядят на этот мир (но, как правило, не на себя) с высот "высоко-

**Мало возвышенного духа, чтобы писать книги (Лабрюйер).*

нравственной" "мудрости". Эта зрительная позиция приводит к впечатляющим результатам, однако, лишь в том случае, если это сознательный прием, и "высоконравственность" и "мудрость" подлинны.

Советская так называемая неподцензурная литература глубоко и бездумно прониклась сознанием своей "высоконравственности" и "мудрости". Поэтому она вызывает у читателя чувство неловкости; она иной раз очень смешна, глядя со стороны. Официальная литература, конечно, страдала тем же комплексом, но она долгие годы трудилась над усовершенствованием техники "высоконравственного" и "мудрого" повествования. Она добилась существенных успехов, главным образом избавившись от "авторской индивидуальности", добившись анонимности субъекта наблюдения. Она, конечно, поэтому не смешна, зато, наоборот, отъявленно скучна, что тоже не достоинство.

"Свободная" литература естественно ринулась от этого образца по пути индивидуализации "точки наблюдения", но довольно скоро стало ясно, что это, во-первых, псевдоиндивидуализация ("индивидуальность" у всех оказалась на диво одной и той же), а во-вторых, ущербная, потому что эта "стандартная индивидуальность" оказалась носителем в высшей степени неорганичного, несовременного, предрассудного и инфантильного сознания — я бы с удовольствием добавил к этому марксистский термин "ложное сознание".

Эта тенденция продолжает по инерции развиваться, охватывая теперь уже всю советскую литературу. "Сильные литературные личности" отталкиваются уже от обоих вариантов, пытаются нащупать иные возможности обращения со словом. В "Подростке Савенко" Лимонов попытался использовать примитивизм.

Мне кажется, что это был удачный выбор. Он логичен и политически оправдан. Логичен потому, что видение подростка и его артикуляция увиденного примитивны.

Этот выбор в то же время политически оправдан, своевременен. Потому что он бросает вызов господствующей в нашей литературе тенденции маньеризма. Во всех ее вариантах: от "высокого" (Бродский) до "низкого" (Войнович), включая, разумеется "средний" всех уровней (Аксенов, Битов и т. п.).

Примитивизм "Подростка Савенко" осуществлен очень последовательно, почти без срывов. Я думаю, это удалось благодаря одному чутко выбранному приему: повествование идет в "настоящем" времени.

Интересно, что к тому же приему прибег в свое время Джойс Кэри в романе "Мистер Джонсон". Ему, между прочим, пришлось оправдываться: "...критики жаловались, что я прибег к 'настоящему времени'". Я отвечал, что выбрал "настоящее", потому что Джонсон живет в настоящем, от нынешнего часа до следующего и только. Критики называли мой довод наивным и легкомысленным. Конечно, аналогия между стилем книги и складом героя кажется ложной. Стиль, говорят, дает атмосферу, в которой герой живет; стиль относится к нему как дом или отрезок времени к жильцу.

Я думаю, однако, что критики тут рассуждают со своей колокольни, откуда не видна позиция реального читателя. Да, для критика стиль это

атмосфера, в которой происходит действие. Для читателя книга — одно неразрывное целое. Глаз читателя не различает стиль, действие и характер...”

Джойс Кэри напоминает критикам, что писатель пишет не для критиков, а для читателей. Для тех, поясняет он, кто читает не для того, чтобы критиковать.

Идеальный читатель и идеальный критик — мечта писателя. К сожалению, в наше время кроме них с книгой знакомится преимущественно “критикующий читатель”. Это, конечно, совсем не новая фигура в литературном процессе, но в наше время решающая: именно ее голос слышнее всего и именно эта фигура чаще всего определяет судьбу книги. Особенно книги, не имеющей свободного доступа на широкий рынок, не вполне контролируемый вкусами активного, “критикующего” читателя. В русскоязычной литературе за рубежом практически нет аутентичного читателя. Поэтому писать книгу в расчете на него — опасная авантюра. В этом смысле Лимонов, конечно, литературный авантюрист. И я, как аутентичный читатель, хочу поддержать эту авантюру. Я надеюсь, что из дальнейшего будет ясно, почему.

Сперва я продолжу аналогию между “Подростком Савенко” и “Мистером Джонсоном”. Роман Джойса Кэри повествует о судьбе молоденького нигерийского негра, инстинктивного поэта. Он находится в странных отношениях со своей деревней. Он обучался в английской школе и поэтому “свой среди чужих, чужой среди своих”. Эди-бэби в том же положении.

Рассказ о судьбе независимого поэта в советской среде мог бы пойти по накатанной дороге: высокоморальный, духовный, “религиозный” (в силу благородного инстинкта), говорящий об эзотерических вещах на “словарно-энциклопедическом” языке, наследник “всего лучшего”, поминающий на каждом шагу Ахматовых-Мандельштамов. Он, конечно, становится жертвой бездарных, бесчестных и низких людей — учителей, цензоров, комсомольских карьеристов... Такова стандартная картина, которой ждут профессиональные читатели и иностранцы.

“Подросток Савенко” и “Молодой негодяй” это ожидание обманывают. Вместо всего этого набора мы видим очень цепко схваченный, но “плоский”, “фотографический” (ведь глазами же подростка!) мир полупролетарской полублатной “среды обитания”, стихийную смесь сентиментально-дружеских отношений и мелкого гангстеризма, доброжелательности и настороженности, взаимного поощрения и зависти, упрямой и изнурительной погони за ценностями — модными штанами, любовью, “заграничным”, престижем, статусом.

“Славка знает все. С ним не скучно и можно узнать многое. Потом он остроумный, когда не очень пьян. Потому Эди-бэби и сидит сейчас с ним на лавочке. Славка все время читает, и даже по-английски. Вот и сейчас у него из кармана торчит какая-то иностранная газета. Два года Славка проучился в университете, пока не выгнали.

— Уебывай отсюда, Эди-бэби, пока не поздно. И не водись ты со шпаной, у них путь один — в тюрьму, ты же совсем другой, — опять поет Славка и насильно тащит Эди-бэби к себе за отворот куртки. — Посмотри на меня! — требуется пьяно.

— Кончай, Цыган... — отмахивается Эди-Бэби раздраженно.

— Нет, ты посмотри мне в глаза! — настаивает Цыган.

Эди-Бэби смотрит Цыгану в глаза.

Славка пьяно улыбается:

— В твоих глазах светится интеллигентность и природное благородство! — возгласает он. — Чего во всех твоих Кадиках, и Карповых, и Котах — нет! И не будет! — кричит Славка”.

Чудесный диалог. Наивно-топорное умничанье двух советских подростков со всеми обязательными элементами: тут и рабская натура русского народа, тут и иностранная топонимика, которую так приятно произносить, тут и непереносимое поминание “интеллигентности”.

Так называемая “свободная” русская литература — продолжение этих разговоров. Мы присутствуем тут у ее истоков. В основном, между прочим, она так и не удалась слишком далеко от этих истоков. Она, собственно, представляет собой маньеристский вариант этого фольклора.

А вот еще один диалог.

— А почему, ты думаешь, Бах, так получилось, что реалисты захватили власть в советской культуре? В революцию и сразу после революции ведь авангардисты стали главными. Не реалистам, а Татлину с ребятами ведь поручили украсить Красную площадь к первой годовщине революции. (Татлин родился в Харькове. Автор проекта башни Интернационала, не долго думая, выкрасил все деревья на Красной площади в красный цвет. Из распылителей.) Ведь что творилось, Бах, какие люди тогда работали! Как же их оттерли, кто виноват?

— Кто? Коммунисты, конечно! Что ты, Эд, как маленький, не понимаешь, что ли?

— погоди, но ведь вначале-то коммунистам подходил авангард. Даже в провинциальном Витебске, в глуши, кто-то ведь назначил Марка Шагала, а не кого другого Народным комиссаром культуры. Да и Луначарский, что бы сейчас ни пиздели, понимал авангардное искусство. Только уже где-то в конце двадцатых годов стали оттирать авангардистов с общественной сцены за кулисы и лишать их куска хлеба. Но лет десять-то они продержались.

— Я думаю, эти десять лет ушли у коммунистов на выяснение собственных вкусов. Первые четыре года вообще гражданская война была, не до искусства было. Потом была “разруха”, как они говорят, а когда руки наконец до искусства дошли, тут они себя и показали, новые власти, свою козье-племенную сущность.

— А я считаю, Вагрич, что после гражданской войны, оттеснив постепенно сделавших революцию “шиз”, таких как мы, Вагрич, к власти пришли другие люди, совсем другие — функционеры. Профессия функционера — не разрушать государство, а управлять ими. Так как функционеры по природе своей консервативны и буржуазны, они и стали поощрять то искусство, которое им только и было близко и доступно — реализм.

— Все коммунисты одинаковы, Эд. И те, что делали революцию, и те, что потом пришли.

— Ни хуя подобного. Я тебя уверяю, Вагрич, что если бы мы жили не сейчас, а в то время, мы были бы с Лениным и его ребятами, а не с выжи-

вшими из ума ебаными господствующими классами.

— Ну и погиб бы ты в тридцатые годы в лагерях.

— Я не погиб бы... ..

— Ой не пизди, Эд, и не такие, как ты, сгинули в ГБ.

— Сгинули, потому что за власть борьба шла. Все были не ангелами..."

Этот диалог из "Молодого негодяя". Здесь Савенко (Лимонов) уже не подросток и среда его обитания тоже совершенно другая. Подросток перебрался в художественную богему. Уровень его рефлексии совершенно другой и техника примитивизма здесь уже не годится. К сожалению, Лимонов, вероятно, тяготеет к этой технике по складу своего дарования и рецидивы примитивизма случаются в "Молодом негодяе" довольно часто. Это нарушает стилистическую целостность книги; в отличие от "Подростка" второй роман написан не твердой рукой и, мне кажется, более или менее вслепую. Он чрезвычайно интересен фактурой, в нем есть восхитительные фрагменты (например, первые страниц тридцать романа), но, конечно, эстетически он уступает "Подростку".

Вот, например, диалог, который я процитировал. Он производит странное впечатление. Такие совершенно "письменные" обороты как "...после гражданской войны, оттеснив постепенно сделавших революцию "шиз", к власти пришли совсем другие люди..." или "Так как функционеры по природе своей консервативны и буржуазны...", перемешаны с чисто колористическими элементами разговора. Люди так не говорят. "Сырую", непродуманную стилистику этого диалога выдает такая мелкая, казалось бы деталь: появление в диалоге слова, взятого в кавычки — "шизы". Закавыченное слово в реплике — нелепость. То, что автор хочет сообщить "кавычками", в процессе разговора сообщается другими способами.

Хотя... Есть одно сомнение в пользу Лимонова. Дело в том, что устная речь интеллигенции пропитана письменными элементами. Можно допустить, что автор успешно передает здесь именно характерный стилистический эклектизм умственного разговора. Более тонкий анализ стилистики "Молодого негодяя" покажет, что тут на самом деле происходит.

Так или иначе, а технические проблемы автора несомненно возрастают и становятся иного рода по мере взросления героя и его движения из среды, которая на себя не рефлексирует и поддается поэтому чисто этнографическому восприятию, в среду, населенную уже не папвасами, а "этнографами" и более того — людьми, которые и папуасы, и этнографы одновременно. Технические проблемы меняются настолько, что возникает вопрос о возможности применить ту же технику повествования, что была применена в "Подростке".

Все же возможные неудачи Лимонова останутся в тени его достижений. Об одном из них я уже говорил: Лимонов бросил вызов маньеризму. Между прочим, этот вызов брошен с существенным опозданием. Если бы наша литература развивалась не в подполье, он был бы брошен намного раньше. Возможно, тем же Лимоновым. А возможно кем-то из тех, кто сегодня погиб под лавиной маньеризма.

Другое достижение Лимонова в том, что он перенес внимание — наконец-то! — с отношений советских людей к советской власти на отношения советских людей между собой. И показал при этом не борьбу хорошего с

плохим, как это принято в советской литературе (и в ее злополучном анти-советском варианте), а содержание жизни.

В двух романах Лимонова много правды. Но я хочу подчеркнуть не моральное достоинство "правдописи", а профессиональную эффективность Лимонова. Писатель достигает успеха не потому что он "любит" правду, а когда он в состоянии ее разглядеть и умеет изложить. Самообман — явление гораздо более распространенное, чем социальная лживость. Очень трудно обманывать других, предварительно не обманув самого себя. Il faut plus que de l'esprit pour etre auteur.

Роза Ляст

ИСТОРИЯ И АССОЦИАЦИИ

(Цви Явец. "Август — торжество умеренности". Изд-во "Двир", 1988.)

В июне на прилавках книжных магазинов появилась (на иврите) книга профессора Цви Явца "Август". В Израиле она мгновенно стала бестселлером. В книжном магазине Хайфского университета, например, ее в один день разобрали до последнего экземпляра. Автор книги, ученый с крупным мировым именем, написавший уже девять нашумевших книг, был немедленно приглашен на интервью в газету "Едиот ахронот". Вскоре после этого он стал гостем одной из самых популярных телепередач "Зэ а-зман". Что же случилось? Почему израильские интеллектуалы вдруг накинулись на "ученую" книгу, к тому же посвященную событиям столь, казалось бы, далекой древности? Какой интерес, кроме чисто исторического (что, конечно, тоже не мало), может представлять для нас, избалованных демократией, первый римский император и технология его власти? Что можно вообще сказать такого об Августе (о котором уже написаны тонны книг на всех мыслимых языках), чтобы возбудить интерес в стране, где "развлечений" и в пределах, и за пределами "зеленой черты" более, чем достаточно?

Нет слов, Август — одна из самых сложных и интересных фигур в истории, личность на самом деле почти мистическая. И дело не только в том, что он всегда остается загадкой, своего рода сфинксом, а в том, что он, как никто другой в истории, несет на себе печать вечности. Тень Августа стоит, на самом деле, за любым диктатором современности. "С приходом к власти Гитлера и Муссолини, — подчеркивает Явец, — историки прекратили писать о тоске масс по сильной власти". Когда в Союзе 60-х годов в одной из модных книг об античности (С. Утченко. "Древний Рим: события, люди, идеи") режим Августа описывался как государственная система, которая "совершенно сознательно и цинично выдавалась официальной пропагандой вовсе не за то, чем она была на самом деле", интеллигентному читателю было более, чем понятно, о чем идет речь. Но почему книга об Августе так взволновала интеллектуалов нашего израильского отечества, да еще сегодня?

Я беру книгу Явеца и на мгновение не верю своим глазам. Под крупным красивым заголовком: "Август" — я читаю: "— торжество умеренности". Но уже в следующий момент я испытываю состояние подлинного прозрения. Как же это мне раньше не приходило в голову? Да очень просто: я жила в другом измерении, другом политическом режиме, в другом интеллектуальном климате.

Могут спросить: какое отношение все это имеет к политику, который жил две тысячи лет тому назад? Разве что-нибудь изменилось в римском императоре Октавиане Августе с 1969 по 1988 годы? Может быть, открыты какие-то новые документы? Нет, ничего существенного за это время не найдено. Все факты общеизвестны, и они способны говорить сами за себя. Август наводнил Италию проскрипциями и казнил перед алтарем Цезаря 300 сенаторов и виднейших представителей муниципальной знати. Он возбудил к себе животную ненависть со стороны проскрибированных, которые именовали его не иначе, как "мучителем". Сокрушив своего последнего и самого могущественного врага Антония, он приступил к созданию политического режима, по поводу которого в исторической литературе сломано столько копий.

Сам Август торжественно величал свою систему правления *Respublika restituta* — восстановленная республика. Но даже древние четко понимали, какая роль была отведена в этой республике ее правителю. "Государь спрятался в одежды республики", — заметил в свое время Сенека. Мало кто из историков древности и современности не понимал единодержавной сути режима Августа. Тот, кто называл его тираном, диктатором, политическим лицемером, не слишком сгущал краски.

И вдруг у Явеца система Августа — это победа умеренности, терпимости, "политического такта" (вместо политического лицемерия). "Но существуют же факты, — скажет удивленный читатель, — Разве факты не говорят сами за себя?" "Не стоит пользоваться выражением: факты сами говорят за себя, — читаем мы у Явеца. — Факты никогда не говорят ни за, ни против. В истории только хронология и география объективны; дух времени, выбор фактов и их оценка совершенно субъективны".

Явец не скрывает и не передергивает ни одного факта. Он только чуть-чуть смещает акценты, и Август предстает перед нами прежде всего человеком, который положил конец непрекращавшимся и измучившим народ гражданским войнам, а вовне предпринимал только такие кампании, которые сулили беспроегранный успех. Явец не умалчивает о жестокости молодого Августа, но постоянно подчеркивает, что по мере взросления и укрепления своей власти, он все более ограничивал свои расправы только людьми, действительно ему угрожавшими. Ко всем же остальным, даже либерально настроенным, Август проявлял крайнюю умеренность и терпимость.

Книга Явеца — о механизме нарождающейся единоличной власти. Но все, что мы, прожившие жизнь в тоталитарном режиме, привыкли воспринимать в Августе как пропаганду и политическое лицемерие, высвечивается Явцом совершенно неожиданным образом. Явец подчеркивает, что Август действительно концентрировал в своих руках власть, не прибегая к насильственным приемам, и принимал только те атрибуты власти, кото-

рые ему настойчиво предподносили сенат и народ. Он с необычайным политическим тактом сохранил все то, что было дорого людям, воспитанным в республиканской традиции. Не будем спорить, соблюдал он тогда такт или попросту и цинично лицемерил. "О событиях в истории судят по результатам, а не по намерениям", — пишет Явец.

Итак, чуть-чуть сместились акценты исследования, иной стала страна, которой это исследование принадлежит, — и мы вдруг чувствуем запах иных ассоциаций. Этот запах становится особенно терпким, когда Явец рассказывает о времени, месте и обстоятельствах, в которых начинал Октавиан Август. "Давайте представим себе на минутку, — говорит Явец, — жизнь римского юноши, который родился в 76 году до н. э. Его дядя был убит во время проскрипций Суллы, отец погиб в Испании... он помнит рассказы матери об ужасах восстания Спартака... сам он не раз участвовал в сражениях и в 49-м году перешел Рубикон. В день, когда у него родился сын, его брат был убит при Акцуме... Он от всего сердца мечтал, что кто-нибудь положит конец этим бесконечным смертям и убийствам, и ворота Януса закроются навсегда..." Русскоязычному читателю, который не взглядел в этом описании своего израильского коллегу или соседа, стоит обратиться к интервью Явца газете "Едиот ахронот". "Вместо того, чтобы представлять себе римского юношу, родившегося в 76 году до н. э., о котором я пишу в своей книге, представим себе, — предлагает Явец, — юношу, который родился в Хевроне в 1925 году, отец которого был убит во время известных хевронских событий 1929 года... брат погиб в столкновении 1936–1939 годов, второй брат пал в знаменитую "ночь мостов", сам он был ранен во время войны 1948 года, а его сын погиб при взятии Иерусалима в 1967 году..."

История и ассоциации. "Каждый историк древности, — говорит Явец в своем интервью газете, — обязательно гражданин настоящего... Тот, кто думает, будто исторические аналогии подобны математическому тождеству, глубоко ошибается. Но если в ходе знакомства с древней историей у читателя не возникают современные ассоциации — это признак того, что книга не получилась". Мне думается, что это не совсем так и причина успеха книги Явца не только в этом. Я могу согласиться с тем, что факты сами по себе мертвы и оживают только под пером талантливого историка. Но историк, даже самый талантливый, не всемогущ. Историк, как и харизматический политик, должен прийти (написать) в о в р е м я .

Образ Августа знаком русской интеллигенции по книгам и эссе 60-х годов. Но кто сейчас помнит или вообще слышал об очень солидном и неплохом труде, написанном Н. А. Машкиным еще в 1948 году? Эта книга была переведена на немецкий и хорошо известна на Западе. Когда одна из моих коллег по Тель-Авивскому университету прочла эту книгу здесь, в Израиле, она была в полной уверенности, что для Машкина режим Августа ассоциировался со сталинской диктатурой. Но я-то точно знаю, что ни у автора книги, ни у тех, кто ее усердно штудировал на студенческих семинарах в 50-е годы, образ Августа и его диктатура еще никаких ассоциаций не возбуждали. Время не пришло...

А вот если сейчас наши израильские интеллектуалы накупились на книгу Явца, значит — она написана ко времени.

ПО ПОВОДУ...

...статьи Бен-Баруха "Тень" ("22" № 58) .

Отношение господина Бен-Баруха к Катастрофе, изложенное в его эссе, точно подпадает, по моему мнению, под анализ Майей Казанской поведения израильтян в безысходной ситуации: найти внутри общества "других", виноватых в этой безысходности. Бен-Барух предвидит возможность новой Катастрофы для Израиля и хочет этого избежать. Он верит, что нашел причину опасности в том, что Катастрофа стала идеологией Еврейского государства. В современной коннотации идеология воспринимается, в первую очередь, как система лозунгов, в которые не верят, но которые полезны для власти. Обвини Бен-Барух израильских политиков в профанации памяти Катастрофы для идеологических целей (сравнение палестинцев с нацистами или, с другой стороны, лагеря для заключенных террористов, Ансара-3, с Освенцимом), все было бы в порядке. Но вместо этого в эссе создается фантазмагорическая картина мистического и ритуального таинства, в котором участвуют не только Израиль, но и "замороженные мрачным культом Катастрофы" другие народы. Тут и "магия числа", и "сверхжертва", и массовая мистика, и апостольство, и слепые вожди Израиля, и грядущая мистическая и религиозная ненависть народов к Израилю, когда они освободятся от культа Катастрофы. Как стала возможной подобная картина – в стиле (не в духе) жидо-масонского заговора – у автора, хоть и склонного к игре с понятиями, но демонстрировавшего в прежних работах тонкость и силу мысли? Я думаю, ее породил страх.

Если что и характеризует отношение Израиля к Катастрофе – так это равнодушие. Равнодушие во время ужасных событий, равнодушие к жертвам лагерей смерти, равнодушие к нацистским преступникам. Это, увы, слишком известные и бесспорные факты. Что было в Израиле во время суда над Эйхманом, ни я, ни, думаю, Бен-Барух не знаем. Известно, что процесс привлек огромное внимание, известно также, что мало (если вообще) что изменилось в обществе после него. Но что происходит сейчас, на наших глазах? В отделе министерства юстиции, занимающемся делами нацистских преступников, – два юриста. Лишь из-за дела Вальдхайма израильский МИД обратился в архив ООН. И я почти уверен, что не будь особых обстоятельств в деле Демьянюка (лишение его американского гражданства), его бы так и не судили в Израиле. Никакой мистики в суде над ним не было. Не только в этом, но и в любом уголовном процессе обвинителем является государство, так что не целый народ требует Демьянюка к ответу, а – закон. Но и закон о преступлениях против еврейского народа лишен приписываемой ему Бен-Барухом мистики. В составе преступления Ивана из Треблинки есть и обвинения по закону о преступлениях против человечества, и обвинения в убийстве. В то же время преступления против евреев в лагерях уничтожения совершались против них не как личностей, а как представителей народа, и сравнивать закон о преступлениях "против еврейского народа" с Нюрнбергскими законами можно лишь при весьма извращенном воображении.

Катастрофа – наследие исторической памяти многих народов. Это на-

следие непереносимо для человеческого сознания, и большинство отвергается от него. В том числе, и большинство евреев. Думаю, что и израильтяне в целом хотели бы от нее отвернуться, как делали это в годы войны и в первые послевоенные годы. Но ощущение смертельной опасности неразрешимого арабо-еврейского конфликта возвращает Катастрофу в нашу память. Честно и мужественно принять ее как реальность еврейского существования, которая может – в других формах – повториться в отношении Израиля, – очень трудно. Легче – раздражаться телевизионными передачами о ней, высокомерно связывать ее с галутом или с ашкеназами, либо – выдумывать миф о культе Катастрофы.

М. Аравна (Арад)

У каждого еврея – свой Иван. Рано или поздно он протягивает свою волосатую руку и наносит удар.

Как раненое дерево, человек падает замертво; а оставаясь жив, растет нередко вкривь и вкось – как, скажем, Казанович, Драгунский, Солодарь и иже с ними; если же, оправившись от удара, устремляется вверх, к небу, то рана, и зарубцованная, – не забывается всю жизнь.

Особенно чувствительны удары, полученные от Ивана в детстве.

“Явление Ивана”, видимо, касается не только еврея, но и человека любой нации. Просто на еврее – “лакмусовой бумажке истории” – оно отражается с особой силой.

И у меня был “свой” Иван. Даже не один. Иван Кадук, Иван Марценюк, Иван Буря, Иван Ковбэль...

Детские годы я провел в селе Писаревка.

Стоит прикрыть глаза, и ясно вижу в предрассветном сумраке, плотно уткнувшемся в маленькое окошко убогой хаты, фигуры двух женщин, старой и молодой; одна, освещенная огнем полыхающей в печи соломы, наклонилась над корытом, другая, с пергаментно-желтым лицом, склонилась над “сидуром”, таким же старым и морщинистым, как она; вижу высокую, стремительную фигуру отца, несущего в ведрах дымящееся пойло для коровы и свиньи; вот-вот взойдет солнце...

Необыкновенная, сказочная природа этого края – вишневые сады, бескрайние поля жита и зеленые огороды вокруг побеленных, крытой желтой соломой хат, и тополя, тополя, почти что упирающиеся в небо – все это скрашивало, смягчало и очеловечивало для меня, для моего детского сердца страшную действительность села.

Я был моложе своих приятелей почти вполтину – и в силу вековой ненависти к “пархатому жиду” меня били, угнетали, надо мной смеялись, меня унижали, а при случае – я это знал точно – могли и вовсе убить, задушить, зарезать, как это сделали петлюровцы, махновцы, а может, и буденновцы с моим дедом Шимоном в восемнадцатом году – и село не спрятали его, не спасло, хотя было в неоплатном долгу перед ним: три года дед кормил крестьян из своих средств во время “голодухи” – и это знал каждый в селе.

Каждый Иван моего детства издевался над беззащитным “жиденком” и делал это добросовестно, в меру своих возможностей и сил.

Как этот Иван — гориллообразный, страшный, прозванный “Грозным”. Конечно, не в пример меньше — по масштабам; просто — не было еще, где и как развернуться. Но по сути — так же.

Может, и не стоит рассказывать подробно, но память — жива, горит...

Село, где жили мои родные, дед и прадед, было — моим отечеством, но — и моим лагерем; моей родиной, но — и Треблинкой моего детства.

Чаще других и нещадней, но как-то беззлобно-равнодушно, словно по обязанности, бил меня Иван Кадук. Просто потому, что это было с руки — наши хаты стояли неподалеку одна от другой, на одном “кутку”. Я никогда и никому не жаловался, только трепыхался и отбивался. Это мое товарищеское благородство он ценил.

В 1972 году я вместе с детьми побывал в Писаревке. Прошрое, отечественное новой явью и раздумьями о судьбе — моей и, вообще, еврейской, — пахнуло в лицо и ударило в сердце.

Мы встретились с Кадуком. В памяти был огромный детина с кулаками, казавшимися мне большими и твердыми, как арбузы, с ногами длинными, как у коня: в минуту он меня догонял, как бы далеко я ни был, — а ступни ног, помнится, были больше моих вдов.

Как же я удивился и даже смутился, когда увидел человека обыкновенного, даже ниже меня, среднего роста, крепкого еще, но с усталым лицом и синими глазами, спокойного, деловитого и ко мне очень дружелюбного. Он тоже смутился. Потом это прошло, мы просто общались, вспоминали далекое прошлое, общих знакомых, жизнь в селе, голод, войну. Вспомнили Катьку, соседскую девочку — ее зарезал и съел Гринько, сельский активист, “лэдар”, выступавший на всех митингах и кричавший громче других: “Хай живез Ленин!” Я обнаружил ее голову и кишки, завернутые в хустку, плывущими по реке...

А заявился я в Писаревку — после почти полувекового отсутствия — не без умысла. Прошрое свое, свое детство я призвал на помощь будущему. Решался вопрос — быть или не быть, ехать — не ехать.

Внутренне, где-то в подкорке, ответ, видимо, уже был — нужен был только толчок извне, чтобы неосознанное стало определенностью.

Я ходил по селу, заново узнавал и показывал детям знакомые уголки, вдыхал полузабытый запах и слушал полузабытые звуки детства, снова влюблялся в то, что отлюбилось, вспоминал прежние боли и обиды, ненавидел, как прежде, своих обидчиков — а “вопрос” все не решался.

Уже на прощание, на сельской площади, возле клуба — когда-то, до революции, здесь была корчма моего деда, притом такая огромная, что помещение клуба было в одну ее треть, — у автобусной остановки собралась небольшая толпа крестьян, почти сплошь незнакомых.

— А чего жидя я знаю! — слышался чей-то густой, как в бочку, бас. На него зашикали. Видимо, человек был “выпимши”, “на пидпытку”. Впрочем, меня это не очень задело — я знал, с кем имею дело.

И тогда из толпы вышел Кадук, подошел ко мне. Глаза, казавшиеся мне в детстве такими жестокими и страшными, смотрели мягко, грустно.

— Шимонэ, слухай ... я хотиве тоби сказати ... не сэрдысь ... ну, за прошлое. Просты мэни.

— Что ты, Иван ...брась!.. Що було — загуло. — И неожиданно для се-

бя, я добавил: — такова жизнь!..

Одно доброе слово Ивана, продиктованное совестью, перевернуло во мне все.

Спасибо тебе, Иван! — ответ на мучивший меня “вопрос” явился.

Конечно же, я простил Ивану. И селу простил смерть деда. Я все простил. Потому что вина их была “половинная”, ну, может, даже в три четверти, — но остальную часть делили с селом, с Иваном Кадуком и другими Иванами я, и мой отец, и мой дед.

Просто потому, что мы были в селе чужаками, пришельцами. А любой организм старается тем или иным способом избавиться от инородного “тела”. Не держаться надо было за село, за “парнусу”, за богатство, — а ехать, уезжать на свою Родину. Любым путем! И если не дед должен был это сделать, то еще раньше — прадед или прапрадед. Отсюда — к себе. На свои земли. Бросить все! И держаться там, держаться зубами. Вопреки всему. Как они в селе держались у себя. А если дед не смог, то отец должен был. Отец не смог — я, его сын, должен это сделать. Обязан. Надо искупать свою вину, вину народа, недостаточно любившего свои родные пределы, дарованные Богом. Хватит — пожил с другими, погостевали! Пора и честь знать. Время пришло. Мне тут нечего делать. К себе! В дорогу...

Доброе слово моего Ивана освободило место объективности. А может — и неосознанному желанию простить. Да, Иваны были ко мне — к нам! — чересчур бесчеловечны, жестоки, неукротимо ненавидели нас. Пусть — как с нами, за грехи наши — за их грех с ними беседует Бог.

Я даже думаю теперь — беседовал! Суд над Иванами вершила сама судьба. Тут и голод, и разрухи, и войны, и революция, и коллективизация... Все было. Полной мерой. И видимо, пока колесо истории крутится — “суд” будет продолжаться. Ибо не может быть, чтобы грех ненависти не ударил бумерангом в творящего грех. Суд над “писаревскими иванами” — увы, был, есть и продолжается.

Но — я надеюсь, верю! — Бог милостив, милостивее, чем я, крошечный человек, миг простивший своему Ивану детское зло. За одно слово раскаяния...

Обычным, подчеркнуто-спокойным голосом судья Дов Левин объявляет об открытии очередного заседания: дело номер такой-то, государство Израиль — против такого-то...

Суд по всем дотошным нормам римского права и современной юриспруденции.

Я пишу это в преддверии исхода апелляции. Суд над Иваном Демьянюком — может быть, самым худшим из всех лютых злодеев, еще разгуливающих вольно по миру, мой праведный суд — состоялся.

Палач Треблицки — он! Но услышим ли мы покаянное слово, это “простите меня”, произнесет ли его грозный убийца, как произнес Кадук, “мой” Иван — или закоренелость его так глубока и страшна, что уж нет в нем ничего человеческого и не помогли этому годы и иная жизнь?

А если бы произнес — что ответили бы мы?

Можно ли учесть — его тогдашнюю молодость и обстоятельства гитле-

ровского плена и пропаганды, исторически сложившуюся национальную ущемленность и как следствие, сознание личной неполноценности и желание самовыражения, принимающего, нередко, патологические формы; впитавшуюся с молоком матери вражду к еврейству, а заодно к советской власти, повинной во многих преступлениях перед украинским народом; его теперешнюю старость?

Конечно — приговор должен быть суровым несмотря ни на что.

Но ... судить, доказать, раскрыть перед всем миром страшную картину убийств и греховности убийц — это одно, а исполнять роль тюремщика или — пролить черную кровь?..

Будь по-моему, я отослал бы Ивана Демьянюка — на суд и расправу — к украинскому народу, имеющему на это все права, во всяком случае, не меньшие, чем мы. Его грехи — их грех.

И не в советскую Украину — по причинам, всем известным, а скажем, в Канаду или иную авторитетную украинскую общину. И пусть бы с ним разговаривали и решали его судьбу. По совести и чести. Во искупление...

А вдруг оправдают? — могут мне возразить. Что ж, значит — судьи “не те”... В конце концов, всякая нация имеет то правительство — и, добавим, — тех судей, которых она заслуживает.

А пока что — перед всем миром, перед Тобой, многострадальный народ, возродившийся из пепла и мук Трехлиники, заседание во Дворце Наций — состоялось...

Нет, продолжается!..

Встать! Судитет... Идет суд над Иваном.

Ш. Розенберг (Безр-Шева)

...статьи М. Гробмана “Заметки на полях” (“22”, №60)

Мне не доводилось читать парижский журнал “Беседа”, который рецензирует М. Гробман, но вне зависимости от того, каков в действительности уровень этого журнала, стиль “Заметок” вызывает возражения.

1. Обозревая содержание поэтического раздела “Беседы”, критик упоминает: А. Кушнера (“Милые слабые комсомольские стихи”), В. Кривулина (“Культура и память мешают Кривулину, бездна образов и все словно декорации в театре”), Е. Шварц (“...любимица публики, Эклетика, осколки оберегутов, вагиновщина... уютная дамская психология”), О. Охалкина (“Чудовищная эклектика, помесь Ключева, Гумилева и многих других... романтически-религиозная смесь”), С. Стратоновского (“стихи полны невероятных банальностей, если не хуже”), А. Миронова (стихи которого, наоборот, “неоригинальны, полны красотей”) и, наконец, ленинградскую “школу” (кавычки М. Гробмана) поэзии как таковую (“умиляет попытками мимикрии под авангард”).

Допускаю, что в рассмотренных М. Гробманом номерах было немало неудачных стихов, но чтобы вот так, без единого просвета? И эти ярлыки... есть в них что-то мучительно знакомое... Может, у М. Гробмана и есть какие-то причины так гневаться на собратьев по поэтическому цеху, но в

любом случае ПРОРАБОТКУ, которую он им устраивает, никак нельзя отнести к разряду литературной критики.

2. Но "Беседа" еще и журнал с религиозным направлением, журнал неопитов, как сообщает нам критик. И он с подобающей язвительностью знакомит нас с появившимися в "Беседе" неопитскими откровениями; вот П. Рак описывает "путешествие на Афон и то, как он целовал лобную кость, оставшуюся от мученика Сергия", а вот Илья Кабаков повествует о "фаворском свете".

Действительно, зкая дикость! И мы бы рады вместе с М. Гробманом посмеяться над неопитами (это ж надо, к лобной кости прикладываться!) — да сомнение берет: а уместно ли вообще это залихватское разоблачение "православных предрассудков" на страницах интеллигентного израильского журнала? Ну, не нравятся М. Гробману неопиты, очень даже можно понять человека, — так разрядись на своих, на собственных! Представим на минуту, что кто-то из "внешних", путая талес с шамесом (как М. Гробман превращает Троице-Сергиеву лавру в Троице-Сергиевскую и для вящей убедительности переносит туда мощи из лавры Киево-Печерской), прохаживается по поводу обычая паломничать к местам захоронения цадиков и там, распластавшись на могиле, беседовать с душами усопших. Или насмеяется над историей, как один хасид увидел (через замочную скважину) светящийся нимб вокруг головы учителя. Не назвали ли б мы это бестактным? Думаю, что аналогичные мерки полезно применять и к собственным экзерсисам.

3. От частных неопитов критик переходит к глобальной проблеме (иудаизм и христианство), которую и решает на каких-нибудь полтора страницах. Трогательно, что после многолетней подрывной деятельности экзистенциалистов всех мастей кого-то еще интересует вопрос "чья вера лучше?" И вдвойне приятно, что у М. Гробмана получается, что "лучше наша".

Настораживает, однако (помимо общей бесшабашности аргументов), то, в каких выражениях критик отзывается о воображаемом оппоненте. Вот несколько образчиков: "Так христианство, выданное из рук евреев, погрузилось в готтентотский мрак доиудейской Европы" (?); "христианская цивилизация — это цивилизация слепых"; "христиане не стали иудеями, но и от своего онтогенетического (?) тоже не ушли. Тут вам и преступление, и наказание в одном лице. А не воруй" — и т. д.

Что тут скажешь? Приходят на память антиеврейские шедевры того же пошиба, вроде: "раввинистический иудаизм — оплот мракобесия" (а про "преступление и наказание" такое можно придумать, что мороз по коже). Хорошо, конечно, что представители нашей творческой интеллигенции освобождаются от гнета "христианского культурного империализма", но желательно все же, чтобы эмансипация эта имела пристойные формы.

Дело еврейской апологетики от этого, право, не пострадает. Совсем наоборот.

С. Рузер (Иерусалим)

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Еще раз о поэзии и правде

Мне не удалось разыскать в Реховоте М. Сегала, именем которого была подписана опубликованная в №61 реплика против статьи З. Бар-Селлы "Поэзия и правда" (об одном стихотворении И. Бродского). Зато в журнале "Время и мы" я обнаружил обзор И. Шамира из Тель-Авива, где в точности повторяются фразы и обороты упомянутой реплики. Однако независимо от того, хотел И. Шамир укрыться за маской "М. Сегала", чтобы свести давние внелитературные счеты с З. Бар-Селлой и журналом "22", или реплика принадлежит реальному М. Сегалу, поднятый ею вопрос нуждается, мне кажется, в редакторском разъяснении.

Многие читатели, в том числе и ряд членов редколлегии, расценили статью З. Бар-Селлы как "зачеркивание" всего творчества И. Бродского, и реплика "М. Сегала" по сути (я не вхожу сейчас в обсуждение ее конкретных, в основном ошибочных, на мой взгляд, претензий к автору) отразила именно эту точку зрения. Такая оценка статьи З. Бар-Селлы (переносимая некоторыми и на позицию журнала в целом) мне представляется результатом невнимательного чтения. В своей статье З. Бар-Селла, анализируя одно конкретное стихотворение И. Бродского, вполне убедительно, по-моему, показывает вторичность образов и поверхностность философии этого произведения. Общая же оценка автором творчества И. Бродского (к которой я могу лишь присоединиться) сводится к тому, что И. Бродский, будучи гениальным поэтом, платит — как всякий гений — за особенности развития его отечественной культуры.

Мне представляется, что этот нелицеприятный анализ и оценка демонстрируют вовсе не "зачеркивание" творчества И. Бродского (огромное значение которого как, надо думать, З. Бар-Селла, так, смею с уверенностью сказать, наш журнал полностью понимают), а, напротив, одну из высоких традиций русскоязычной критики, а именно: традицию внутренней свободы от лучшей из форм порабощения — порабощения почтительностью к истинному гению. Вспомним хотя бы, что В. Белинский некогда назвал "Пиковую даму" А. Пушкина "мастерски рассказанным анекдотом".

Этим замечанием я хотел бы подвести итоги недоразумения и спорам вокруг статьи З. Бар-Селлы и разъяснить позицию журнала по отношению к творчеству нобелевского лауреата.

Р. Н.

В октябре-декабре журнал поддержали пожертвованиями следующие читатели: А. Анер (Холон) — 20 шек., Х. Ботинко (Реховот) — 25 шек., А. Гинзбург (Безр-Шева) — 25 шек., Д. Зоар (Кирият-Моцкин) — 15 шек., Н. Кроль (Ришон-ле-Цион) — 15 шек., А. Коган (Петах-Тиква) — 35 шек., М. Козленко (Холон) — 25 шек., Э. Пихтеров (Иерусалим) — 15 шек., Л. Шенкар (Кирон) — 25 шек., Л. Фабрикант (Гило) — 25 шек., Г. Фридман (Гиват-Нешер) — 10 шек., Н. Ярон (Тель-Авив) — 10 шек., П. Хмельницкий (ФРГ) — 50 нем. марок., Я. Язловицкий (США) — 20 долл., Е. Светлова (США) — 50 долл., Е. Золбер (США) — 20 долл. Редколлегия выражает глубокую признательность верным друзьям журнала.

Главный редактор – РАФАИЛ НУДЕЛЬМАН

Редакционная коллегия:

**В. БОГУСЛАВСКИЙ, А. ВОРОНЕЛЬ, Н. ВОРОНЕЛЬ,
Э. КУЗНЕЦОВ, Ю. МЕКЛЕР, М. ХЕЙФЕЦ,
Я. ЦИГЕЛЬМАН, И. ЧАПЛИНА**

*заведующая редакцией – Мирнам БАРОР
технический редактор – Наталья РУБИНА*

*Всю корреспонденцию направлять
по адресу: "22", Р. О. В. 7045, Рамат-Ган.
Телефон редакции – 1031-394525*

Представители журнала за рубежом:

США: L. Khotin, 1518 Scenic Ave, Richmond, Ca. 94805, USA.

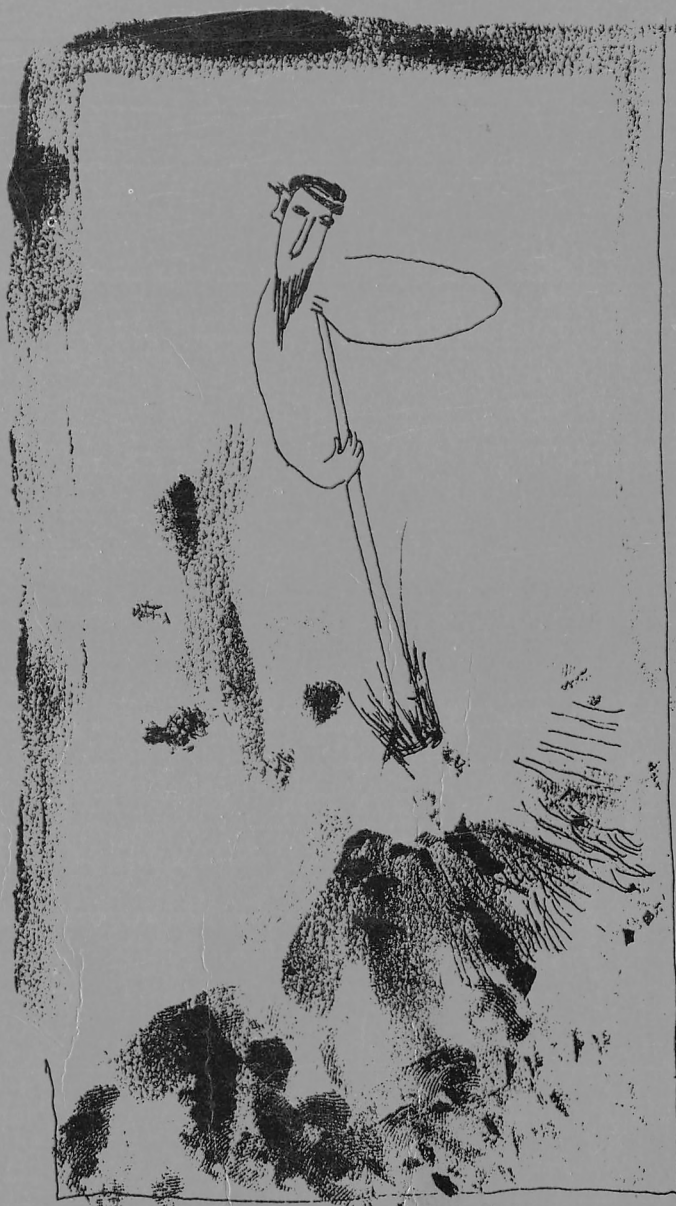
ФРГ: L. Roitman, 67 Oettingenstr. am Englischen Garten, 8 Muenchen 22, BDR.

Великобритания: R. Weisman, 1 Lodge Rd., Hendon, London NW4 4DD, England.

Все права на материалы журнала (за исключением особо оговоренных случаев) принадлежат издательству "Москва-Иерусалим" и их использование без ведома и согласия издательства не разрешается.

Стоимость годовой подписки в Израиле – 80 шек., для организаций – 90 шек., за рубежом – 60 долл. (авиапочтой в Европу – 72, в США – 77 долл.), для организаций – 75 долл.

Отпечатано в типографии "ЯКОВ-ПРЕСС", ул. Рош-Пина 22, Тель-Авив



Ворнин . 1986 . 47

И. С. С.